

№ 8 (942) · 1982

РОМАН- ГАЗЕТА

ISSN 0131-6044



МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ
ЧЕТЫРЕ БРОДА

**В 1982 ГОДУ
«РОМАН-ГАЗЕТА»
ПУБЛИКУЕТ:**

- А. ЧАКОВСКИЙ. Победа. Роман.**
Ч. АЙТМАТОВ. Буранный полустанок.
Роман.
А. АНАНЬЕВ. Годы без войны. Роман.
Ю. БАЛТУШИС. Сказание о Юзасе. Роман.
Перевод с литовского.
М. СТЕЛЬМАХ. Четыре брода. Роман.
Перевод с украинского.
В. ЛИЧУТИН. Повести.
М. АЛЕКСЕЕВ. Драчуны. Роман.
Ю. СЛЕПУХИН. Южный Крест. Роман.
В. БЕЛОВ. Повести.
В. ЧИВИЛИХИН. Память. Роман.
Ю. БОРОДКИН. Кологривский волок.
Роман.
С. ЦВИГУН. Ураган. Роман.
Ю. СКОП. Техника безопасности. Роман.
А. КЕШОКОВ. Грушевый цвет. Роман.
М. ИБРАГИМБЕКОВ. И не было лучше
брата. Повесть.
С. АЗЕРИ. Первый толчок. Повесть.
Перевод с азербайджанского.
М. ГОРБУНОВ. Долгая нива. Роман.

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ ЧЕТЫРЕ БРОДА

Роман
(Окончание)

Авторизованный перевод с украинского НАТАЛИИ АНДРИЕВСКОЙ

V

Курилась, горела пшеница, поскрипывая ярмами, ревели круторогие волы, чернели красные мальвы, чернели седые деды, и неотвратимость приближалась к станции. Печально постанывая, словно не они несли смерть, а сами были ранены, пролетали снаряды, впереди и позади раздавались и раздавались взрывы. Пора бы взрывать станцию — и к своим. Но командир батальона снова сказал лейтенанту:

— Не паникуйте.

На что он только надеялся?

— Товарищ капитан, но немецкие танки от нас уже в каком-нибудь километре!

А в ответ насмешливый голос:

— У вас страх глотает километры?

— Правду говорю — километр, от силы полтора.

— Станцию не обстреливают?

— Нет.

— Ждите приказа до последней минуты!

— Есть ждать приказа до последней минуты!

«Кто только определит эту последнюю минуту?»

Ох, не научились мы еще воевать».

Недобрые предчувствия охватывают лейтенанта, но о них не скажешь командиру. Кириленко выска-

кивает через окно на перрон, удрученно смотрит на запад.

В золотом разливе подсолнухов, подминая их, ломаной линией шли, покачивались громады танков, жерла их пушек, ощупывая долину, раз за разом выбрасывали огонь. Танки били куда-то дальше, за станцию, в ту трепетную тополиную песню, к которой в белых сорочках жались перепуганные хаты и над которой всплывали барочные купола старой церкви. Оттуда ударил в набат колокол, взрывы снарядов приглушали стон меди, но он снова и снова поднимался вверх, напрасно моля о спасении. Опережая танки, на распятие степных дорог, словно куклы, выскочили мотоциклисты, неистовый грохот и пыль раскололи степь, раскололи голову.

— Слезайте — и по коням! — темнея лицом, крикнул лейтенант Ромашову и Магазаннику и растерянно посмотрел на Бондаренко: — Что же делать, председатель?

Данило, словно ото сна, оторвал взгляд от битой дороги, взглянул на станцию.

— Взрывать! Немедля!

— Без приказа?

— Уже поздно ждать его. — Еще раз взглянув на поднятую пыль, в которой расплывчато мелькали мотоциклисты, вздымая ее впереди и позади себя, Данило метнулся к станции, чтобы поджечь бикфордов шнур. И только огонь зарделся в руке, как ноющая неуверенность охватила человека: «А что,

если каким-то чудом наши отгонят фашистов? Тогда тебе и припомнят все...»

Он подавил страх, грустно посмотрел на дорогу. Она катилась к нему темной, как туча, вихрь пыли, которую перегоняли и перегнать не могли мотоциклисты-автоматчики.

«Теперь вряд ли успею проскочить к коням», — взглянул Данило за колею, что плавилась на солнце, приложил пеньковый шнур к бикфордову и, когда тот покрылся разгорающимся огнем, метнулся по перрону к коням, к которым как раз добежали Кириленко, Ромашов и Степочка. Вот они уже схватились за поводья, отвязывая их. Лейтенант махнул ему рукой: мол, скорее беги!

И в это время:

— Халт! Халт! Халт!

Скошенным от напряжения глазом Данило уже видит на перроне запыленных, потных, с закатанными рукавами мотоциклистов, что мчат прямо на него. И даже «халт» они кричат не грозно, а весело: куда же деться их добыче?

«Опоздал! — сжимает холод голову. — И не дождется тебя твой конь. Что будет, то и будет...»

Не останавливаясь, Данило из-за пояса вырвал гранату, зубами сорвал кольцо и швырнул ее в автоматчиков. И еще он заметил, как их веселые лица сразу вытянулись от страха, как бешено покатились от него врассыпную колеса и усеченные мордочки пулеметов, как что-то с грохотом взлетело с перрона и раздался неистовый крик. Но взрыва своей гранаты не услышал: именно в это мгновение гроыхнула взрывчатка — и облако дыма и огня отделило его от немцев, а позади оборвался отчаянный рев волов. Охваченный тошнотворно-сладковатым угаром, он соскакивает на полотно железной дороги и, неся в распухших ушах тяжесть взрыва, петляет к своим.

Когда Данило добежал до лесной полосы, лейтенант Ромашов и Магазаник уже сидели на норовистых конях. Выворачивая влажные, с кровавыми прожилками белки, кони становились на дыбы и перепуганно ржали. Одним взмахом ножа он перерезал повод и вскочил на гривастого гнедка. И только теперь со станции по ним брызнули автоматные очереди, на дорогу упали сбитые ветки и кора.

— Аллюр три креста! — крикнул лейтенант и во весь карьер пустил своего вороного.

Припав к коням, слившись с ними, они помчались под густыми ветвями акации, которая безжалостно рвала их одежду и тело. И какой только умник придумал сажать акацию там, где нет засухи?

Из посадки выскочили на чистое поле, оно встретило их тишиной, настоящей на красной пшенице, розовой гречихе и золотобухих подсолнухах. «Курлы-юрлы, курлы-юрлы», — по-журавлиному пели копыта коней, и от бешеного лета вздрагивал на горячих волнах небосклон, вздрагивало солнце на пшенице, с гречихи взлетали пчелы, и отклонялись желтые головки подсолнухов. Перегоняйте, кони, смерть, перегоняйте! Да вот она снова подала голос позади. Подкосив тишину, отозвалась трескотней мотоциклов.

Скачите, кони, убегайте от смерти! И белая пена ключьями летела на розовую гречиху, на красную пшеницу, на черную дорогу. А смерть приближалась! Механические кони догоняли живых, целились в них тупоносными мордочками пулеметов. Но автоматчики еще почему-то не стреляли.

— Капут нам! — обернувшись, пробормотал Степочка, и лицо его покрылось испариной.

— Замолчи, трус! — оборвал его Кириленко, остановив своего норовистого жеребца, смерив расстояние до мотоциклистов. — На конях не убежим.

— Конечно, не убежим. — Степочка первым соскочил на землю, выпустил повод из руки. Вороной, почуяв волю, крутнулся и, сам не зная куда, помчался по загустевшим волнам гречихи.

— Быстро в поля! — приказал лейтенант. — Тут как-нибудь оторвемся от них.

Пригнувшись, они вбежали в пьянящую жарынь пшеницы, и теперь их стало настигать проклятое «халт», а потом — автоматные очереди. Затрепетали подкошенные стебли, но не падали на землю — их, словно раненых, удерживали усатые колоски.

То ли с перепугу, то ли споткнувшись, Степочка упал, запыхавшись, выругался и снова через несколько шагов упал.

— Не отставай! — перегоняя его, прикнул Данило.

Усевшись на землю, Степочка зло скривился и как-то неуверенно ответил:

— Сейчас. Только сапоги сброшу, трут, заразы.

Данило подбежал к неглубокой, словно челн, ложинке, посреди которой стояла прибитая грозой дикая груша, оглянулся — и не поверил себе: посреди моря красной пшеницы, клешнеобразно подняв руки, одиноко ковылял к немцам Степочка. Недалеко от него, у дороги, кучкой останавливались мотоциклисты.

«Измена! Изменник! Вот и проходит душа проверку...» Данило в ярости сорвал винтовку, приложил к плечу, прицелился, выстрелил. У Степочки, будто у куклы, дернулась голова, дернулась рука, он быстрым движением прилепил ее к шее, оглянулся и скачками подался к немцам. Куда и хромота девалась!

— Бондаренко, не отставай!

— Я еще раз...

— Черт с ним... Вон немцы...

В пшенице зашуршали пули, по пшенице прошла дрожь.

На узкую полевую дорогу выезжали мотоциклисты, и теперь надо было брать левее, ближе к шоссе, которое, наверное, тоже топтало чужое войско. Тяжело дыша, они побежали по пшенице, надеясь, что мотоциклисты не смогут въехать в нее.

Через какое-то время автоматчики прекратили преследование, и они, усталые, вспотевшие, изнеможенно, как в марево, упали в горячее золото пшеницы, которой, казалось, не было конца-края... Дремота ли становится шепотом колосьев, или шепот колосьев становится дремотой, и все-все, даже

смерть, отдаляется от тебя, ибо есть возле тебя земля, а над тобой — колыбельная колоса. Колыбельная!

— Вот как оно, братцы, — наконец подал голос лейтенант. — Выходит, выскочили.

— Может, и выскочили.

— А вода у кого-нибудь есть?

— Нет ни капельки.

И только теперь они почувствовали, что умирают от жажды.

Данило поднялся, оглядевшись вокруг. Всюду виднелись знойные плесы пшеницы да седая, перестоявшая рожь, что начала осыпаться. Есть ли где-нибудь на свете вода? А ноги от усталости гудят, словно колокола в непогоду, и внутри все пересохло, и жаждет воды, хотя бы стоячей, хотя бы заплесневелой... Только где ее достать? Он бьет рукой по горячей фляжке, но выбивает из нее только сухой шепот металла...

На золотые невода полей вечер опускает синий сон. Тихо-тихо стекает на землю зерно — перестоявшие слезы степей, тихо-тихо бредут на восток солдаты, прислушиваясь, не подаст ли где-нибудь целительного голоса. Вода. Но не она, а только далекие моторы подают голоса — и на земле, и в небе. Как хотелось верить, что по шляху идут наши машины. И они добрались до шляха, но по нему шли и шли чужеземцы, лязгали гусеницы танков, тяжело подминали землю десятитонные «хеншели», что-то безмятежное играли чужие гармошки, резко перекликались чужие голоса, вспыхивали чужие огни.

— Даже фар не гасят.

— Где же теперь наши? — неизвестно кого спросил лейтенант. — Не молчите, хлопцы!

— А что скажешь, если от жары даже язык шелестит?

— Воды бы хоть глоток...

Они свернули от шляха, который все еще рычал чужим железом. И снова поля пшеницы, только не красной — черной, обугленной. И хотя бы капелька влаги на них. Как же тут живет перепелка, что вон подает голос: «Спать пойдем, спать пойдем»? Говорят, птица росу пьет. Но где же она? Или теперь и роса чурается земли?

Отяжелевшие ноги заплетаются в хлебах, трескаются губы, и густой зной жжет голову, жжет внутри. Хотя бы глоток воды! А где-то же есть и степные колодцы, и степные озерки, и печальный крик чаек над ними. Если бы только дойти... Передвигаешь ноги, словно колоды. И кажется, даже они, опухая, молят о воде.

Впереди зашелестели подсолнухи. И ночью они, как люди, смотрели на восток.

— Живем, братцы! — сразу повеселел голос лейтенанта.

— Воду почуяли? — с надеждой спросил Ромашов.

— Нет, подсолнухи!

— А что же у них?

— Что-то похожее на воду! — Лейтенант пригнул к себе голову подсолнуха, который и в темноте светился мягким золотом, провел рукой, вырвал несколько молодых зерен и бросил в рот. — И в сердцевине тоже есть вода. Блаженствуйте!

Они набросились на молоденькие семечки, на белую сердцевину подсолнухов, утоляя и не в силах утолить жажду. И все-таки наступило какое-то облегчение, а потом сон незаметно накрыл их своими руками.

И во сне они взрывали мосты и станции, отстреливались от врага, умирали и, умирая, слышали взрывы, рев волов. И во сне они страдали от жажды. От нее и проснулись на рассвете и увидели, что роса не чурается земли — она поблескивала в пазушках листьев подсолнухов и синей мглой дрожала над розовыми нивами.

— Где же теперь наши?..

И все трое молчаливо поглядели на полосу придорожных лип, из которых уже прорывался грохот машин.

Обессиленные, отупевшие от жары, подавленные угаром и ревом чужих машин, они только в сумерках выбрались из неводов степи в луга, по которым бежали волны нескошенной пересохшей травы. И хоть бы тебе один стог или копенка! Далеко на той стороне, под Чумацким Шляхом, как на забытой картине, из синего вечера прорастает одинокая хата-белянка, а возле нее дремлют несколько тополей и высокий колодезный журавль. Лишь молодого месяца не хватает над ними.

— Наконец! Вот где мы вволю напьемся! — хрипло вырвалось у лейтенанта, и, не ища тропинки, он напрямик пошел к хате, однако через какую-то минуту остановился возле высокого куста калины, пригнулся, повел ноздрями. — Водой пахнет!

Пригнулись и Данило с Ромашовым.

— Вот она, долгожданная! — даже засмеялся лейтенант. Он бросил на траву фуражку, лег ничком и припал поудобнее к луговой криничке, в глубь которой Чумацкий Шлях стянул одну-единственную звездочку. Кириленко спугнул ее и жадно, даже побряхтывая и постанывая от наслаждения, начал пить. Сейчас человек, кажется, забыл обо всем на свете, кроме воды. Изредка он отклонял голову от нее, чтобы перевести дыхание, и снова, захлебываясь, пил.

— Так всю криничку можно высосать, — подмигнул Данилу Ромашов, снимая с плеча винтовку.

— Хватит, товарищ лейтенант. Передохните.

В ответ только что-то забулькало.

Данило тоже положил винтовку на покос, готовясь припасть к криничке, и вдруг с удивлением и даже со страхом заметил, сколько Кириленко вобрал в себя воды: его тело, как на подушке, лежало на переполненном животе.

— Так и заболеть можно. — Он плечом оттер лейтенанта от кринички. Тот блаженно засмеялся, перевернулся на спину и снова засмеялся.

Пили бойцы и напиться не могли. Когда же наконец полностью утолили жажду, то почувствовали, что будто опьянели. А после этого опьянения заговорил и голод.

— Немного отдохнем и потихоньку потопаем к хате. А там люди добрые сразу же метнутся к печи, к посуднику, угостят вечерей — свежим хлебом, поставят на стол борщ да кашу. И мы ударим ложками в миски как в бубны, — продолжал шутливо болтать Кириленко, поднимаясь и снова падая на траву.

— А может, там возле хаты или в хате фашист отлеживает бока, и нам во весь дух придется драпать в степь, — в тон лейтенанту отвечает Ромашов, привлекательное, с девичьим румянцем, лицо которого даже зной и война не опалили.

— И это может быть, — уже хмуро соглашается Кириленко, порывисто выпрямляется и смотрит на другую сторону луга. — Если там будет несколько машин, то наделаем шуму! Подъем!

Поднялись, проверили винтовки и, пригибаясь, осторожно пошли низинкой, что, казалось, вобрала вместе все запахи луга и степи.

Вот сбоку, на невидимой воде, послышалось трепетанье птичьих крыльев, и стало тихо-тихо, будто и не было, будто и нет войны на земле. Почему же какой-то кучке ненавистных и жадных ко всему так хочется чьей-то смерти? За это все равно догонит своя, и скорее, чем могла бы догнать.

И снова трепетанье птичьих крыльев и шуршание перестоявшей травы, с которой соскакивают сонные кузнечики.

На глазах увеличиваются, вырастают тополя, и уже видно на хате гнездо аиста. На дороге нет следов машин, поэтому Данило смелее подходит к воротам. На просторном подворье возле приколодезного желоба стоит телега, возле нее жуют траву длинногривые лошаденки, а с желоба по капле стекает вода.

— Кажется, нигде никого, — шепнул Ромашов и вдруг встрепенулся, схватился за винтовку, а потом тихо засмеялся: это на хате поднялся сторожкий аист, завозились в гнезде аистята, но встать на ноги поленились.

— А что я вам говорил? — подходя к бойцам, посмеивается лейтенант. — Метнутся люди добрые к печи, к посуднику — и мы ударим ложками в миски, как в бубны, — и даже рукой показал, как он ударит ложкой.

— И откуда это видно, что тут живут добрые люди? — будто сомневается Ромашов, хотя ему так хочется верить в слова лейтенанта.

— Аист возле плохого человека не поселится, — уверенно отвечает Кириленко и открывает калитку.

Во двор они входят спокойно, даже почему-то просветляются, когда перед порогом видят старый мельничный круг, а на столбике с вбитыми колышками — надетые набекрень кринки.

— Выходит, и коровка тут есть.

— Вот жаль только будить людей, — вздыхает

Кириленко, нерешительно берет за щеколду и клацает раз-другой, а потом ухом припадает к дверям.

Вскоре из хаты слышится какое-то шушуканье, обеспокоенный шепот, затем скрипят двери, и из нее доносится неприятливый мужской голос:

— Кого там по ночам носит?

— Свои, человеке добрый, свои, — вполголоса откликается Кириленко.

— Те свои, что по ночам коней уводят? — еще больше неприязни слышится в голосе хозяина.

Кириленко на эти слова усмехается дверям:

— Да ваши кони возле желоба стоят и траву жуют. Простите, что разбудили. Откройте, пожалуйста.

Хозяин еще что-то недовольно забубнил, закашлял, зашаркал ногами и наконец открыл двери. Это был высокий пожилой человек, который, казалось, поднял взъерошенную голову не с подушки, а с самой зимы. Он становится возле косяка, изгибается, словно седло, кривит измятые губы и сердито спрашивает:

— Чего вам?

— Добрый вечер, — продолжает улыбаться лейтенант.

— Кому вечер, а кому и иочь. Воры как раз в такую пору людей обкрадывают.

— Да вы что? — оторопел Кириленко. — Может, принимаете нас за разбойников?

— Ни за кого я вас не принимаю и никого иочью не пушу, — отрезал хозяин. — Идите себе откуда пришли и не беспокойте понапрасну людей.

Наступила тишина. И вдруг в ней тихо зазвучал насмешливый голос Ромашова:

— А люди добрые метнутся к печи, к посуднику, подадут на стол свежую паляницу, поставят борщ да кашу...

Лейтенант обернулся, сердито взглянул на бойца, а хозяин загнусавил свое:

— Вот и ищите себе таких добрых людей. Они вам к борщу и каше, может, и чарку поставят, а у меня ничегошеньки нет.

— А совесть у вас есть?! — не выдержал Кириленко.

— И совести нет, — подумав, ответил хозяин. — Теперь на всех ее не напасешься.

Клубок возмущения и обиды подступил к горлу простосердечного Кириленко, а его круглое лицо начало наливаться гневом, и он перешел на зловещный шепот:

— Так для нас в твоём змеином гнезде не хватает совести? А для фашистов хватает? И кто ты? Кулак, оборотень или церковный староста, что от тебя так воском несет? Думаешь, фашисты принесут тебе ладан и смиру? Хворобу и гибель принесут они вам, всем холоумам и предателям!

И вдруг хозяин выпрямился, дружелюбно посмотрел на разъяренного командира, странно улыбнулся, а потом тихонько засмеялся. Это было так неожиданно, что Кириленко осекся, вытаращил глаза и чуть было не покрутил пальцем возле лба.

— Чего это вы, почтений пан, так развеселились? — снова перешел на «вы».

— Потому что теперь вижу истинно своих. Добрый вечер, товарищ командир. Добрый вечер, хлопцы.

— А перед этим кого вы видели? — с недоумением спросил лейтенант.

— И не спрашивайте, — махнул костлявой рукой хозяин и снова нахмурился. — Сегодня утром прибились ко мне два верзилы с оружием при себе. Принял их как людей, накормил, напоил, торбы харчами набил, а они, песиголовцы, потом и придрались: почему я даю пристанище красным? «Мы тебя так припечем, что смалец закапает», — вызверился один из пришельцев да начал меня куда-то тянуть со двора. Так старуха насилу слезами и харчами откупилась от них. Вот теперь я и подумал, что снова кого-то из своей шатины подослали. Пойдемте же в хату, перекусите, там найдется и хлеб, и борщ, и каша, и еще что-нибудь. И не гневайтесь на старика. И не кулак я, и не перевертыш, и не церковный староста. А воском пахну потому, что весь век возле пчел прожил...

В сенях что-то зашелестело. Лейтенант схватился за оружие, но сразу же и опустил руки: из темноты тихонько вышла невысокая босоногая женщина, черный скорбный платок покрывал ее печальное лицо.

— Сыночки, деточки... — зашептала со слезами в голосе. Она обвела всех взглядом и припала к Ромашову. — Такой молоденький, а уже должен воевать.

— Мне ведь, мама, скоро будет девятнадцать лет, — смущенно сказал Ромашов.

Женщина вздохнула:

— И моему самому младшему девятнадцать минуло на Купалу. Иваном его звать, Иваном Чернобривцем. Случайно не слыхали или не видели?.. — и подняла руки, как подбитые крылья.

Данило вздрогнул: ему показалось, что он из прошлого услышал голос своей матери, которая и на дорогах, и в спелом серебре жита, и возле бродов так же выпрашивала о своем муже... Когда это кончится на белом свете, на черной земле?

— Входите же, деточки, в хату, переоденетесь, поужинаете, а я вашу одежду постираю. Входите... — Она опустила голову, на ее хилых плечах вздрагивала скорбь.

VI

Не доезжая до лесничества, Магазаник поворачивает коней в березнячок, что по колени стоит в мягкой траве, распрягает их и уже в который раз думает: попасться ли на ясные очи лесничего или скрыться от них в каком-нибудь лесном закутке? Появшись — непременно найдется для тебя какое-то указание, а не появшись — как отбрешешься, коли сам лесной царь — Иван Соболев — застучает тебя? Давно они недолюбливали друг друга, и давно

бы лесник полетел вверх тормашками из леса, если бы не поддержка Ступача. А что ему будет за эту поддержку, если и сюда придут немцы? Разве ж знает человек, на чем может повиснуть его жизнь? Жил при большевиках — была одна стена страха, а теперь приближается другая, и мечется между ними нутро, словно затравленный заяц. Может, попроситься в эвакуацию? Так разве можно оставить, что нажил за всю жизнь и работой, и хитростями? Если бы ему кто-нибудь навеки подарил покой в этом мире, то он дал бы обет жить только возле золотой пчелы и никого не трогать даже в помыслах.

Только теперь он понял, почему в свою осень так увлекался пчелами его покойный отец. Разные могут быть безумства в жизни, да мудрость на безумстве не прорастет. Вот отхватить бы тот старый отцовский хуторок с шестью десятинами, поставить там пасеку, разыскать Марию и Оленку да и доживать с ними век на отшибе. Так на тебе — война и новые тревоги.

Неторопливо подойдя к стоячему, с карасями, ставку, где осокорник вымахал метра на три, Магазаник не сворачивает к лесничеству, а спускается к воде, на которой дремлет полузатопленный, почерневший от времени челн. Возле него звездой расцвела белая лилия, а на ней синяя стрекоза сушит прозрачные крылышки. Давно ли в таком челне он ребенком плескался в своем хуторском ставочке, где так хорошо лепетали, перечищались воды. Тогда к нему на берег выходила русоволосая мать, и тешилась, и боялась за свое дитя, и напевала себе: «Пливе човен, води повен». И куда теперь повернет твой беспокойный челн?

С маревом далеких лет Магазаник становится на челн, почти совсем потопляет его, для чего-то срывает лилию и вдруг застывает: далеко-далеко на западе слышится глухой гром.

Лесник еще не верит себе, испуганно, цветом вниз, бросает лилию, выскакивает на берег, оглядывается вокруг. Над лесами, исходя зноем, трепетала поблекшая голубизна неба, в которой таяли тонкие льдинки белых облачков. В воздухе и не пахло грозой: и небо, и леса застыли в дремотной передышке лета. Да снова где-то за казацким бродом прогремел гром, тот, что своими цепями безжалостно обмолачивает жизнь... Вот, считай, и переходишь ты во что-то иное, как на другую планету. И пусть сгорит теперь лесничество со всеми его заботами, со всеми начальниками и подначальниками! Хватит надрываться на них. Теперь надо подумать и о своей шкуре, ведь она у него одна.

Вытапывая пестроту разнотравья и цветов, он, пригнувшись, добежал до коней, поправил на них упряжь и погнал во весь дух к своему лесному жилищу, а за плечами его все колыхался и колыхался тот страшный гром. За что же хвататься теперь? За припрятанное золото, или за свиней, что разбрелись по лесам, или за мед, что уже в третий раз надо качать? Когда только была такая пропасть меда!

Между деревьями замаячила статная фигура с карабином на плече. Магазанник придержал коней и с удивлением узнал военкома Зиновия Сагайдака. Чего или кого он теперь ищет в дубравах? Лесник привстал и почтительно поклонился начальству.

— Может, подвезти, Зиновий Васильевич?

— Обойдется,— подходит к нему военком. Под черными ресницами его темнеет печаль, и Магазанник понимает: человек видит не его, а что-то иное, верно, то, что колобродится за лесами.

— Вы уже слышали? — понижает голос и кивает головой на запад лесник.

— Слышал,— отвечает военком не ему, а, должно быть, своим мыслям.

— И что вы скажете на это?

— Трудно что-нибудь на это сказать.

— Отобьем иемца?

— Что отобьем, то отобьем...

— Только неизвестно где... — подсказывает Магазанник. — Говорят, страшной машинерией прет. От первого удара падают некоторые державы.

— Это правда, что машинерией прет. Чуть ли не вся Европа работает на него. — Сагайдак так смотрит на запад, будто хочет разгадать его неразгаданные судьбы.

«Да что ты разгадаешь? Когда-то перед саблей твоего казачества дрожал запад. А что теперь перед силой-силицей сабля или винтовка? Детская игрушка, да больше ничего. Проморгали что-то те, кто оружие кует».

И снова загремело вдали.

— Вот и подходит уже война к нашему порогу,— склонив голову, говорит Магазанник. — Садитесь, скорее домой доберетесь.

— Я не спешу домой: никто не ждет там — женой нет, а сыновья уже воюют,— и не прощаясь пошел в леса.

Только зачем они ему теперь? Правда, военком и раньше любил бродить по чернолесью: зимой приезжал на лыжах, весной приходил собирать подснежники, каких тут было как росы, а в осеннюю пору — грибы. Когда много было рыжиков и груздей, он солил их в кадушках лесника, а потом щедро делился с ним. Собирая грибы, военком был похож больше на доброго сельского учителя, чем на грозного вояку, что когда-то саблей с ходу мог врубиться во вражеские полки. А сабля у него — точно молния. Да, как ни удивительно, а настоящим воином был этот с виду спокойный человек. Когда-то ходила громкая слава о нем, а что теперь останется от нее? И все-таки зачем ему сейчас бродить в дебрях? Может, партизан собирает? Но что они против танков и всей дьявольской машинерии? Только игра в войну. Но если недолго погонит человека на такое дело, то должен и с винтовкой идти против танков. Такая уж у него планета... Да бог с ним, а то и от своих хлопот гудит голова, словно дуплянка.

За разными заботами, что терзали и тревожили его. Магазанник и не заметил, как кони дотрусили до низинки, отделявшей узкой полосой одно урочище

леса от другого. Тут как раз белой волной сладко цвела гречиха, колыхая над собой или в себе теплую музыку лета. Теперь сюда за взятком летят и его пчелы. Не первый мед, как делают другие пасечники, а вот этот да липовый оставит он пчелам и себе на зиму, а то в первый насекомые часто приносят медвяную росу.

Господи, о чем думает в такую годину и доживет ли еще он до зимы? И невольно повернул голову к западу: не услышит ли снова оттуда страшный гром? Да не услышал — увидел: в гречихе, безбожно вытаптывая ее девичью красу, бродили чьи-то породистые, упитанные коровы. Нашли выпас! Магазанник за свою жизнь не раз видел, как скотина топтала молодое жито, пшеницу овес, ячмень. Но даже самый отъявленный потравщик не загонял скотину в гречиху, так как что-то беззащитное и святое было в ее цветении. И вот теперь стадо коров пожирало, смешивало цвет с землей и оставляло после себя черные стежки. Вот таким было для него первое видение войны.

Магазанник догадался, откуда взялась эта приبلудная скотина. Вчера, уже под вечер, фашистские самолеты пролетали над татарским бродом и ударили из пулеметов по стаду и гуртоправам, что как раз развели огонек у воды, собираясь варить ужин. Теперь там, где мерцал мирный огонек, чернеет могила, а раеная и уцелевшая скотина разбрелась во все стороны. Что же делать с этим стадом, которое забилось в гречиху и немилосердно вытаптывает ее?

Вдруг неожиданно воровская мысль перекосила лицо Магазанника: война приносит неисчислимые потери, так пусть принесет и какую-то прибыль. Вот он и загонит это стадо пока что к себе на скотный двор, напоит, а там видно будет: найдется хозяин — хорошо, не найдется — еще лучше.

Лесник повернул коней в лес, распряг, спутал их и вошел в гречиху, брызнувшую роем пчел. Даже теперь жаль было вытаптывать нежные стебли и цветы. На его шаги и голос коровы подымали головы и, будто что-то припоминая, начинали реветь. А у некоторых коров на гречиху даже сочилось невыдоенное молоко. Кое-как он собрал стадо в одном месте и быстро погнал на свое подворье.

Еще не кончилась гречиха, как его встретил рыжеватый Влас Кундрик, тот, что чуть ли не всю жизнь торговал в соседнем селе. Был он таким изворотливым в накопительстве, что мог даже решетом воду носить. И не только в торговле соображал проходимец — умел складно выступать на разных собраниях и празднествах, умел всюду так вернуть свое слово, чтобы и о его заслугах не забыли, ведь в гражданскую и он, рискуя жизнью, помогал партизанам. Правда, злые языки болтали, что в революцию Кундрик служил и нашим, и вашим, и еще чьим-то, но с трибуны разглагольствовали не они, а красноречивый Влас, который тоже знал, кого и чем можно взять за печенку или селезенку.

Лавочник увидел лесника, поглядел лукаво на стадо коров, что-то прикинул всей паутиной морщин

своего лица, и изгиб притворной улыбки зайграл на его спесивых губах, у носа и в бороздках возле глаз. Остановившись, он, усмехаясь, спросил:

— Так что, дорогой Семен, уже втихара подрабатываешь на людском горе? Не слишком ли рано?

Магазанника даже затрясло. Кто бы уж говорил ему о честности, только не этот брехун, бабник и гешефтмахер, который пальцы протер на скользком рубле. Набывчившись, лесник молча выходит из гречи на выбеленную, как полотно, стезю и наотмашь бьет лавочника словами:

— На это, недорогой, на твою болтовню, я могу сказать только одно: не запускай с наскака свои когти в чужую печенку. Вот бери мой кнут и, если совсем не обленился, скорехонько гони скотину в село, а то у меня и без того хватает военных хлопот по линии лесничества. Вот и мотай отсюда к ста ветрам!

На лицо Кундрика сразу легла пелена обиды, а на мясистом, с горбинкой носу выбились две ямки — ни у кого Магазанник не видел на носу таких ямок.

— С тобой, вижу, и пошутить нельзя, — наконец как-то неуверенно обороняется торгош и укоризненно покачивает головой.

— Даже теперь тебя сдуру на шутки тянет? Разве не слышал, что делается там? — И Магазанник повел глазами на запад.

— Почему не слышал? — не очень предается печали Кундрик. — Неужели дойдут до нас?

— Чего не знаю, того не знаю, только в душе и глазах померкло — людоед не пожалеет нас, — умышленно говорит так, для Кундрика. — А ты чего в лесах шатаешься? Дома или в лавке работы нет?

— Помолчим о работе, когда война на дворе, — растерянно ответил Кундрик.

— Потому и решил прогуляться тут? Не маевки ли вспомнил? — добивает язвительностью продавец.

— Тебя только зацепи, — не знает, что сказать, Кундрик. — Шипишь, как сало на сковороде.

— А может, ты здесь партизанить собрался? Что-то я краем уха слышал об этом.

Кундрик встревожился:

— Какое уж там партизанство, если нет мочи даже на любовь.

— Выходит, молодому коню — к бою, а старому — к гною? — подсмеивается лесник. — Что ж, может, хоть поможешь загнать стадо в стойло? А там пусть уж забирают его власти, — отводит от себя всякое подозрение.

И знает лавочник, что хитрит лесник, и знает лесник, что не верит ему лавочник, но упорно сохраняют на лице видимость чистой правды.

— Какие же славные коровы были у людей, — погодя говорит Кундрик. — Вон у той вымя словно квашня.

— До самой земли отвисло, молоко само сочится. Природа! — внимательно вслушивается лесник в слова Кундрика и уже догадывается, куда клонит тот.

— Вот мне бы займать такую коровку, а то у моей только рога красивые.

Магазанник делает вид, что ничего не понимает.

— И я не отказался бы от такой.

— Так в чем же дело? — не выдерживает лавочник и ощупывает лесника жадным взглядом. — Загони самую лучшую корову в глухомань, где какой-нибудь ручеек журчит, обей деревья жердями, пусть там постоит несколько дней, да и попивай молочко на здоровье.

— Оно бы и можно, а если дознается кто? Я дал себе зарок не трогать чужого, — внешне мрачнеет, а про себя посмеивается Магазанник. Разве ж у него на уме одна корова? Он цену прикинул и всему стаду.

— Кто теперь будет горевать по корове, если уже и по людям не горюют? Может, Семен, и мне по знакомству одну коровку отпустил бы? Окажи услугу.

Магазанник как бы заколебался, покряхтывая, полез рукой к жирному затылку.

— Соблазняешь ты меня, Влас, в грех вводишь. Недаром говорят: где поп с крестом, там и черт с хвостом.

Лавочник не рассердился, а засмеялся:

— Вот не знаю, кто из нас с крестом, а кто с хвостом. Так отпустишь одну коровку? Вот хотя бы эту, что молоком брызжет? — подставил руку под соски, потом лизнул молоко. — Жирность-то какая!

— Искуситель и лиходей ты, Влас, — еще будто колеблется Магазанник. — И тебя жаль, и своего огузка жаль, а то перепадет ему в военное время.

— Чего ты, дорогонький Семен, сомневаешься, если уже гремит над нами? — прикидывается преданным другом продавец. — Какие ни были года, а тебя никогда не подводил, — и кладет руку на кошелек.

— Года — как вода: прошли — и нет, — загрустил Магазанник. — Что ж, бери, Влас, коровку, за бесценок бери, упрячь где-нибудь подальше от людского ока, а мне привези из своей лавки соли: по всему видать, туго будет с ней. Мы же с тобой хорошо знаем, как жить без соли.

— Тогда я сейчас и смотаюсь за ней.

На западе снова глухо заговорили пушки, и даже коровы подняли головы на тот далекий гром.

— Вот как оно... — не знает, что сказать, Магазанник. — Так погоним коров.

— Ты уж сам орудуй, а я на твоих ветроногах крутнусь за солью. Зачем тратить время попусту?

— И то дело, — согласился лесник. — Только не перегони скотину на мыло. С солью ж езжай не к хате, а в сад — теперь лучше подальше от лишних глаз.

— Верно, Семен, — чему-то обрадовался Кундрик, видно, и ему теперь хотелось забиться в какой-то закуток.

Через пару часов лавочник привез шесть мешков соли, привез и две бутылки горилки. Лесник собрал в саду кое-какой ужин и сел с гостем побаловать

душу горилкой,—зачем заранее сушить мозги, что будет, то и будет, а живой должен думать о живом и посматривать по сторонам.

Кундрик, прислушиваясь к лесу, налил чарки, полупешотом сказал:

— Твое здоровье, Семен!

— И твое.—Правой рукой поднимает чарку, а ухом прислушивается к вечерней тишине: что только может проклянуться из нее?—А зачем, Влас, ты бродил по лесам?

— Опять двадцать пять. От твоих слов и горилка, и закуска вкус потеряют.

— Если не хочешь, не говори. Я тут кроме тебя и Сагайдака видел.

— Давно?—встревожился Кундрик.

— Еще днем. Почему-то с карабином был... Слышишь, как режут коровы!

— Молоко горит. Может, они тоже войну чувствуют? Земля горит, и молоко горит,—словно затужил продавец, да сразу же грусть перебилась торгашеством:—Поделить бы их втихаря—тебе большая часть, мне меньшая. А соли я тебе еще привезу.

— Будут из тебя, нечестивец, черти в пекле сало топить,—крутит головой и посмеивается лесник.

— Это уж их служба,—не унывает лавочник и лезет рукой к покрасневшему уху, похожему на кошелек.—Так как ты насчитал коров?

— Не подбивай меня на мародерство. Не хочу я брать на душу грех или страх,—поучительно говорит Магазанник, поднимает стакан под болезненный рев скотины и неожиданно как молотом бьет продавца:—Так, выходит, попрощался с партизанами?

И Кундрик завертелся, словно в кипятке попал:

— И что ты только мелешь?! Зачем практичному человеку партизаны? Это пусть разные желторотые и очень идейные партизанят. Умоляю тебя, не терзай мою душу.

— Коли она у тебя есть, то не буду,—косится Магазанник одним глазом на продавца, а другим на леса.

VII

Неподалеку от лесного, наполовину пересохшего болотца пучком пламени проскочила лиса, ровно держа длинный красный хвост. Уже не первый раз Зиновий Сагайдак встречает в этом месте остромордую. Наверное, где-то поблизости у нее есть своя нора, свои детки. Значит, место для базы неплохое. Хотя какая это, в сущности, база? Восемь небольших ям, в которых запрятано несколько десятков пар сапог, ватники, штаны, шапки-ушанки, немного соли, муки, сала, сахара, пшена, крупы, патронов и аммонала.

Из-за той спешки, которую вызвало неожиданно быстрое продвижение немцев, не успели взять и части добра из магазинов райпотребсоюза. Теперь оно сегодня или завтра попадет к тем, у кого не очень стыдливые глаза и руки.

Но не это тревожило Сагайдака, ох, не это. Куда же делись те, что должны были наладить подполье? Как он их ждал! До самого первого пушечного грома ждал—и не дождался. Что же с ними? Уже пушки молотят окрест его района, а он и представления не имеет о своих будущих помощниках. Неужели попали в лапы врага?

Тревожило и другое: правильно ли они делают, что сегодня, когда немцы подошли к их местности, расходятся по своим домам и конспиративным квартирам? Он настаивал, чтобы партизаны уже сейчас были в лесах, но победила иная, осторожная мысль: прокатится фашистский вал—и уже тогда начнут действовать народные мстители. Может, эта осторожность и необходима. А что, если она пагубно повлияет на некоторых слабовольных? Нет, если он партизан настоящий, то свою судьбу должен встречать не в хате, а в лесу. Но что решено, то решено, и он сегодня тоже пойдет на свою конспиративную квартиру.

Еще раз осмотрев ямы, поправив свеженарезанный дерн на них, он перепрыгивает через голубой, словно цвет сон-травы, ручеек и вскоре останавливается на пригорке, который стал местом их собраний. Тут, на траве возле старого, в три обхвата дуба, его уже ждут партизаны. Зиновий Васильевич здоровается, пересчитывает их глазами и настораживается:

— А почему я не вижу Власа Кундрика?

— Опасаюсь, что мы и не увидим Кундрика,—после долгого молчания отвечает учитель Марко Ярошенко, который так просился и все почему-то боялся, что его не возьмут в партизаны. Еще со школьной скамьи жил партизанской романтикой и теперь вне партизанской борьбы не видел смысла жизни.

— Почему вы так думаете?

— Потому что мы немного знаем Кундрика,—медленно, будто нехотя, откликается невозмутимый силач Петро Саламаха, над которым подсмеиваются, что с тех пор, как он женился, так все и носит жену на руках.—Кундрик, думается, из той гнусной породы, которая все хочет взять от жизни, но ничего не хочет дать ей.

— Проверим,—неизвестно для чего бросает Сагайдак шаблонное слово. Разве не становится проверкой эта тяжелая година? Будет она проверять всех его хлопцев и голодом, и холодом, и огнем, и свинцом. Никто еще из них не знает, что такое война. А в книжках не вычитаешь о том, что везет она на своих стальных конях и как расправляется в своих застенках.

Вот и загоревал он над судьбой побратимов, только о себе не горевал, так как все испытал в свое время: и под расстрелами стоял, и с эскадроном врезался в полки, и, окровавленный, с мертвыми отходил на тот свет, и снова отчаянно мчался на коне, открывая саблей новые миры.

Прошли годы, как вешние воды, и снова будто юность смотрит тебе в глаза глазами молодых побратимов. Один только есть среди них пожилой че-

ловец — непоседливый завхоз, который правдой и неправдой вырывал что-нибудь для партизан и вырвать не мог, так как почти никто из хозяйственников не поддержал его, а некоторые возмущались: как это можно без законных оснований и бумаг взять что-то со складов? Сегодня, наверное, и они нашли бы закон, да уже поздно.

Даль снова прогрохотала пушечными громами. Партизаны молча переглянулись, молча потянулись к кисетам, а на их лицах отразилось раздумье. И все равно еще верилось и не верилось, что это уже смерть становится на их порог. Сгинь, проклятая...

«Недалеко, где-то у водораздела», — прикидывал Марко Ярошенко, который знает каждое урочище, каждую речечку своего района...

— Может, у кого-нибудь есть вопросы? — погода спрашивает Зиновий Васильевич.

— Пока что нет, но, видно, будут... — многозначительно промолвил чернобровый весельчак Демко Бойко, и у всех появились улыбки. С чего бы это?

И это порадовало командира. Славные подобрались хлопцы у него. Славные! Такие и в червонных казаках вырывали долю из лапищ недоли.

— Так что ж, товарищи, послушали чужого грома — и к своему дому. А ровно через восемь дней собираемся тут. Если что-нибудь изменится, связные дадут знать.

— Не выкопать ли на всякий случай землянку? Лопаты у нас есть, и даже отточенные, — полушутя-полусерьезно говорит приземистый Михайло Чигирин, который и теперь сушит голову хозяйственными заботами.

— Оно бы и можно было, да подождем.

— Зачем же, Зиновий Васильевич, ждать?

— Чтобы кто-нибудь не наскочил на землянку и не устроил засаду.

— И это может быть, — посетовал Чигирин, — теперь не знаешь, с какой стороны ждет тебя лихо. Ой, не знаешь...

Грустную речь завел завхоз, да не грустят хлопцы, блестят глаза у близнецов Гримичей, даже подсмеиваются они над своим запасливым дедом-морозом, как прозвали в отряде Чигирина, и это радует командира.

— А теперь песню на дорогу.

— Какую же? — встрепенулся веселогубый Демко Бойко, у которого был не голос, а голосина.

— Да нашу же: «Ой, пушу я кониченька в саду».

И тихо-тихо зазвучала старинная песня, в которой был совет отца-матери молодому воину, где войско запорожское шло, хоругви реяли, а впереди музыканты играли... И хотя гремят сейчас чужие громы, но еще будут реять наши хоругви, где и не реяли — будут реять!..

По-братски обнимаются партизаны, а то кто знает, какой будет эта неделя, и исчезают за молчаливыми, разомлевшими высокими дубами; среди них в розовых платяцах стоят черешни, у которых больше ягод, чем листьев.

«Всего уродило в этом году».

Возле командира остаются только Роман и Василь Гримичи да Петро Саламаха. Под черными козырьками бровей тракториста таится тревога.

— Что вас беспокоит, Петро?

Саламаха невозмутимо смотрит на командира.

— Все он, бесов Кундрик. За таким и чистая вода замутится.

— Пустите нас к лавочнику! — одновременно тряхнули огнистыми чубами горбоносые, крепкотелые, словно из меди отлитые, близнецы.

— И что вы думаете делать с ним?

— Поговорим. А если надо, тряхнем душу, как грушу.

— А если он заболел?

— Только хитростью, — уверенно ответил Саламаха. — Это скользкий человек. Он, когда я шел сюда, таился или вертелся в лесах, но к нам не пришел, на каких-то весах взвешивал день сегодняшний и день завтрашний. А Кундрик взвешивать научился и мерить тоже.

— А разве раньше об этом нельзя было сказать? — нахмурился Сагайдак. Он до этого времени Кундрика не знал, слышал только, что тот всегда был под крылышком у председателя райпотребсоюза. Сам он не помог партизанам, а Кундрика подбросил, как кукушка яйцо.

Саламаха поглядел в сторону.

— Об этом шальном скажи что-нибудь, так будешь полвека оправдываться. И, во-вторых, подумалось: в такое время отлетит погань даже от Кундрика. Да, видать, не отлетела...

Сагайдак повел плечом и сам себя спросил:

— Тогда не знаю, почему он так настойчиво просился в партизаны?

— Также искал выгоды: чтобы в армию не взяли. Кундрик без выгоды шага не сделает. А вот услышал, что гремит, — и в нору. И еще неизвестно, каким он будет, когда вылезет из норы.

— Бойтесь? — И сам боится высказать то, что внезапно пронзило, — мысль об измене.

— Опасаюсь оподлившегося. Пойти к нему? — И Саламаха сжал кулаки, и еще больше изогнулись темные навесы бровей.

— Подождите. Еще подумаем над этим.

— Лишь бы потом, Зиновий Васильевич, не было поздно, — нахмурились близнецы.

Что им сказать, молодым, зеленым?

— Я сам наведуясь к нему.

— Вам виднее.

Обнявшись, они прощаются. Близнецы и Саламаха поворачивают на дорогу, а Сагайдак еще долго провожает их взглядом.

Вот и крути мозги да просеивай догадки: кто же этот Кундрик? Трус, который потихоньку запрячется в уголок, или негодяй, который может продать всех? Вот и мотай к нему, будто у тебя нет других забот. И Сагайдак легким, охотничьим шагом идет лесами, переходит через потравленную скотиной гречиху, миует Магазанниково жилище и выходит на шлях.

Мимо него проскочило несколько машин с пехотинцами. Это к фронту. А от фронта прошла санитарная, в которой лежали и сидели раненые бойцы, и кровь чернела на их свежих бинтах, и боль отражалась на их юных лицах.

В селе Балин Зиновий Васильевич, расспрашивая людей, добрался до жилища Кундрика. В огороженном жердями садике он увидел девушку, у которой на смуглом лице так неожиданно сияли выразительные серые глаза; у чернявой на ногах были легкие сморщенные постолы, а на голове какая-то цветастая косынка. Что-то трогательное было во всей ее тонкой ладной фигуре, в обиженных припухших губах, во взгляде, в котором чередовались задумчивость и печаль.

— Здравствуй, девушка.

— Здравствуйте и вам,— поклонилась, подошла к ограде чернявая.— Вы к нам? Тогда заходите во двор.

— Если так просишь...— улыбнулся Сагайдак, открыл калитку и зашел на широкое подворье, где все — и большая, под цинковой крышей, хата, и клуны, и конюшня, и амбар, и сытое хрюканье в хлеву — говорило о достатке.— А где твой батюка?

— Вы кого спрашиваете? — почему-то всполошились ресницы, всполошились ямки на округлом лице.

— Власа Кундрика.

— Это мой муж,— стыдливо вспыхнула темным румянцем смуглянка.

— Муж? Да не может быть! — растерялся Зиновий Васильевич.

— Да... Я у него третья жена,— грустно, вполголоса сказала она и скинула с головы свою яркую шелковую косынку. («Не этим ли или иным тряпьем соблазнил твою молодость затасканный черт?») — И не думайте, что я такая молодая,— мне уже двадцать четыре года.

— Вот никогда не сказал бы!

Кто-то прошел по улице, узнал товарища военкома, поздоровался и позавидовал Ольге, что у нее такой гость.

— Вы товарищ военком?! — удивилась хозяйка, всплеснула руками.— А где же тогда мой?..

— Об этом я и хотел у тебя дознаться,— пристально смотрит на молодницу, которую и молодницей трудно еще назвать.

— Так он сказал, что пошел к вам в леса. Попрощался со мной, словно на фронт собрался, даже глаза рукой потер.

— Я не дождался его.

— Ой, лишенько, каким же он путем пошел в такое время? — И лицо молодницы стало жалостливым.— Не случилось ли чего? Или, может быть, по дороге встрял в какую-нибудь коммерцию? Ведь если она, подлая, случается, он, чтобы кого-то околпачить, забывает все на свете. Заходите же в хату, подождите его. Если он был в лесах, то приплетется домой. Я вам поесть приготовлю.

Зиновий Васильевич с сочувствием посмотрел на Ольгу:

— Хоть жалеет он, помогает тебе?

— Такое скажете! — снова вспыхнула молодница.— Разве он, ворчун, может что-то? Он только и знает, что привередничать да колоть глаза тем, как ему готовили первая жена да вторая.— И передразнила голосом Кундрика: — «Первая лучше тебя готовила борщ, лапшу и все из белого теста, а вторая, как для паря, жарила индюшку и утятину с яблоками».

«Да, не знала ты, кому принести свою молодость и красу».

— Выходит, искалечила жизнь? — спросил Сагайдак с сочувствием.

— Иskalечила,— потупилась Ольга.— Не жаль было бы жизни, если бы он не был с головы до ног торгашом. Я ведь поверила ему такому, каким он был на трибуне, но не знала, какой он без трибуны. Уже совсем вознамерилась бросить его, так вот же война началась, а он сказал, что в партизаны пойдет. И снова жаль стало его, крученого да верченого.— И вековая женская мудрость, мудрость сострадания, жертвенности, выразилась на ее опечаленном лице. Откуда только это и берется у женщин?

— Какая ты хорошая, Ольга,— коснулся он рукой ее тугого плеча, и у молодницы беспомощно задрожали длинные полукружья ресниц. Наверное, она давно уже не слыхала доброго слова.

— Пойдемте же в хату.

В хате его поразила картина, на которой ветер росисто вихрился и взрывался в утренних клубах ивняка и верб, за которыми вставала на дыбы потемневшая вода. Ветер был выписан так, что казалось — его можно было взять в охапку.

— Откуда у вас такое диво?

— Кундрик когда-то обменял эту картину на десять фунтов муки... Я тогда еще не знала его.

И замолчали оба. От картины Ольга метнулась к печи, выхватила ухватом один и другой горшок, налила борща в миску, на ободке которой неровным письмом кто-то молил, чтобы бог дал счастья людям.

— Вам поперчить?

— Перчи так, чтобы язык три дня вертелся во рту, как вьюн.

— Такое скажете.— Ольга поставила миску на стол, отхватила несколько косарских ломтей душистого хлеба и села у края стола, по-матерински глядя на гостя.

— Почему же ты не обедаешь?

— Спасибо. Я уже.

— Ох, и вкусный борщ у тебя!

— Правда? — уже по-детски улыбнулась она, потом что-то вспомнила, опрометью выбежала из хаты и не скоро пришла, смущенная, грустная.

— Что с тобой, добрая душа?

— Ничего,— поставила на стол горилку.— Вот забежала в лавку, а сторож сказал, что приезжал верченый, нагрузил подводу солью и куда-то подался. Видать, на спекуляцию. Перекаати-поле, не знает, что такое настоящий корень. Брошу его обманщика, хоть и война...

Солнце уже начало спускаться по ветвям старой раскидистой яблони, когда Сагайдак поднялся со скамьи, над которой все бушевал и бушевал живописный ветер.

— Я пойду, Ольга. Пора.

— И я тоже! — Решительность и волнение выразились на лице молодежи.

— Куда?

— К своей маме. Пропавши он пропадом со своим добром, со всеми хитростями! — Она бросилась к сундуку, выхватила оттуда полинявший, еще, видно, девичий платок, повязалась им, засуетилась по хате, собирая свою одежду. — Говорили мне сестры: «Не выходи за него», а я, глупая...

— Какие сестры? — удивился, даже насторожился Зиновий Васильевич, так как перед тем Ольга сказала что у нее никого нет, кроме матери.

— В больнице. Только я начала работать сестрой, как туда привезли Кундрика с аппендицитом. Кем он только не прикидывался тогда передо мной, чтобы обмануть, и все-таки обманул. — Она тоскливым взглядом окинула хату. — Вот, кажется, и все. Ничего не взяла его. Пусть теперь ищет себе четвертую жену.

Что сказать на это, Сагайдак не знал. Жаль было этой едва расцветшей юности, попавшей в лапы торговца и не познавшей хоть сколько-нибудь женского счастья. А недоброе предчувствие томило и томило, ведь от Кундрика, верно, всего можно ожидать. Как часто нас предадут те, что вертятся на виду да нашептывают о ком-то и взглядом недоверия ощупывают весь мир. Было это прежде, есть это и теперь. И он когда-то знал такого же кундрика, который еще в червоинном казачестве все не доверял ему. А потом, когда в молодой ржи стоял перед смертью, увидел того кундрика среди своих палаток.

— А вы чего опечалились? — спросила и доверчиво подошла к нему Ольга. — Это я вас огорчила?

— Все, зиронька, все понемногу, — невольно привлёк к себе женщину, которую и назвать женщиной нельзя было, сама молодость дышала в ней.

Она всхлипнула, а он успокаивающе положил руку на ее плечо, как положил бы своему ребенку. Жаль все же, что у него не было дочки.

— Вы, Зиновий Васильевич, снова пойдете в леса? — из-под влажных ресниц глянула на него.

— Да.

— Так я вам покажу свою хату. Может, придется когда-нибудь забежать. Мы бы вам белье постирали. А то как же там без наших рук? — уже заговорила по-женски рассудительно.

— Спасибо, Ольга.

— Не забудете нас и фамилии нашей — Ткачуки?

— Не забуду. А ты как сестра, когда сможешь, раздобудь бинтов, йода — первую помощь партизанам. Дать тебе денег?

— Нет, нет. Я сегодня же сбегаю в нашу аптеку — там моя подруга работает. — И еще раз взглядом

прощания обвела жилье. — Ничего не жаль, жаль только бросать здесь эту картину.

— Так заberi с собой.

— А потом Кундрик будет трясти мою душу.

— Я напишу ему записку, что картину взял себе, — и начал вынимать из рамы бушующий ветер. — Если прибежит за ней, уплачу десять фунтов муки...

Ольгина хата стояла на юру возле низинного луга, поросшего осокой, ивняком и кустистыми ольхами. За лугом начиналось то гнилое болото, где он не раз охотился на птицу. Иногда тут и зимовали утки, сбившись на болотном озерке. А как пройти к этому забытому озерку, его научили Стах Артеменко и золоточубый Миколка, у которого были синие, со степной задумчивостью глаза. И откуда такое у ребенка?

Они остановились возле стареньких ворот, точеных, такие были и у Данила Бондаренко. Где он теперь?

Ольга открыла калитку:

— Зайдите хоть на минутку к нам.

— Не могу.

— Непременно зайдите, а то я загадала, — по-детски умоляло все ее лицо.

— Коль загадала, то что поделаешь, — развел руками Зиновий Васильевич.

В сенях его удивил новый сак, выглядывавший из проема, ведущего на чердак.

— Это кто же у вас ловит рыбу?

— Я, — смутилась Ольга. — Когда была малая, то целые дни плескалась в воде, а как подросла, то только вечерами, чтобы люди не смеялись. Мать называла меня заправским рыбаком.

Он заходит в обычное крестьянское жилище с татарским зельем на глиняном полу, со скамьями вдоль стен, с ржаным хлебом и солонкой на столе, с рушниками и старыми иконами в углу. Матери не было дома.

— Она в колхозе дояркой работает. Уже и стада угнали на восток, а мать все ходит к коровам, которых нет, — сказала Ольга, бросилась в маленькую комнатку и вскоре вернулась с туго набитой полотняной торбой. — Тут вам на дорогу две буханки хлеба, кусок сала и несколько сушеных карасей. Хлеб я сама пекла.

— Не надо, Ольга.

— И не говорите такое...

— Спасибо, милая. — Он поцеловал ее в щеку, а она снова всхлипнула.

— Неужели вы нас оставите фашисту? — И такая печаль была в ее голосе, что и у него задрожали ресницы, и он на себе ощутил тяжесть вины. Сдерживая боль, поклонился женщине, поклонился жилью или святому хлебу, что лежал на столе, и быстро вышел на улицу. Когда оглянулся, увидел Ольгу. Она махнула рукой и тоскливо припала грудью к воротам, и они тут же отозвались стоном. Такой и осталась в его памяти, а в душу заронила печаль.

За мостиком, по обе стороны которого стояли

старые развесистые вербы, Сагайдак свернул в пшеницу, что вот-вот должна была дожидаться косарей. Кого ты дождешься теперь? И ячмень уже склонил свои золотые перуны, только овес не печалился, непоколебимо держа колокольчики метелок. Какая жуткая тишина стояла на полях! Нигде ни души, даже перепелка не подаст голоса — тоже, наверное, чувствует лиху. Никогда бы нам не знать такой жатвы, такой страды...

Вечер уже сменил синюю кирю на темную, когда Зиновий Васильевич добрался до своего нового жилища, что не знало, куда ему приткнуться — к селу, или к дубраве, или к лугу, за которым вздыхала пригасшая речка. Возле хаты стоял рядок плакучих берез, опустивших ветви на изгородь, хата же имела два выхода: один на подворье, другой на улицу. Он зашел на заросший зеленым спорышом двор, где возле дровяника лежал старый вербовый челн, в расщелинах которого засыхала какая-то неприхотливая травка. На речке шлепнуло весло, испуганно пискнул кулик, а над головой, прямо к вечерней звезде, пролетела стайка уток.

Тихо-тихо к земле подкрадывался сон, а что будет завтра с тобой?

С огорода бесшумно вышла еще не старая женщина с кошелкой в натруженной руке. В кошелке краснела молодая картошка, ершились первые белоносые огурчики. Так когда-то выходила с огорода и его мать, радуясь первой картошечке, первым огурчикам.

— Пришел? Устал с дороги? — спросила, как близкого человека, скорбно улыбулась увядшими губами, вздохнула, и вздохнула за вербами уже невидимая вода. То ли человек вздыхает, как речка, то ли речка — как человек?

— Пришел, Ганна Ивановна. Не прогоните?

— Вдвоем будет веселее, хотя теперь не до веселья. Садись на завалинку, отдохни, а хочешь — в хату иди. Я сейчас картошечки со шкварками приготовлю.

Наглядевшись на подсолнухи, что только-только раскрыли золото цвета, он походил по огороду, потом подался на луг, запоминая все ходы к лесу. Темная безлунная ночь опустилась на чернолесье и село. А завтра в эту пору прорежется молодой месяц. И где, тут ли, в лесах ли, он увидит этот молодой месяц?

Тревожась, прислушивался к западу, но там было тихо, только в небе изредка, задыхаясь от натуги, тяжело дышали бомбовозы. Кому они через какой-то час принесут смерть? Выпустил ее, бесноватую, бесноватый... Но что потом будешь делать, когда она повернет глазницы на тебя? А ведь повернет же, повернет!

— Иди вечерять, сынок, — встала на пороге Ганна Ивановна.

Как давно его никто не называл сынком, как давно нет у него отца-матери, уже нет и жены, а будто и не жил еще на белом свете. Только все сбился жить, но за битвами, за восстановлени-

ми, за перестройками не было времени, а время уже и сорок лет отмерило ему и морщинами легло вокруг уст.

После немудреной крестьянской вечера, за которой вспоминалась и его тихая мать, Сагайдак ушел спать в другую комнату, откуда дверь выходила прямо на улицу. Положив под голову пистолет «ТТ» и две лимонки, он никак не мог заснуть. Думалось об ужасах войны, о кровавой резне в старинном Львове, которую учинили фашисты и националисты. Думалось и о своих друзьях: как они встретят суровые испытания? Болело сердце и о детях, что добровольцами попросились на фронт. О себе же меньше беспокоился, ведь не раз смотрел смерти в глаза. На дворе запели, захлопали крыльями петухи, предвещая новый день. Каким он будет, этот день?

Ходит по лесам уже седой Михайло Чигирин, и одолевает его не одна забота: в который раз обдумывает одно и то же — чем он будет кормить лесную семейку? Война войной, а есть надо! Как ни подкапывался к председателю райпотребсоюза, да разве у него что-нибудь выключишь без денег? Даже над казаном дрожал, словно родного отца отдавал. Вот и поблагодарят тебя, дурня, не партизаны, а фашисты. Буйная у тебя чуприна, да разум лысый. Наел на казенных харчах ряшку величиной с колесо, а а ума и росинки не упало на твои бараны мозги.

Не доругался Чигирин с глуповатым в его кабинете, так теперь молча доругивал в лесу и даже кулак показывал, а потом спохватился. Так-то оно так, да где бы напасть на какой-нибудь запасец? Невольно вспомнишь песню: «Коли б я був полтавським соцьким...»

Из синих одежек неба уже выпадала роса, когда он дошел до Магазанниковых владений и с удивлением остановился, — весь загон лесника был забит породистым скотом, на белой шерсти которого чуть ли не позванивали золотые заплатки. Откуда же у этого свиноподобного черта набралось столько добра? Не из вчерашнего ли стада, которое бомбили немцы? Конечно, из этого стада — по всему видно. Вот чертов Магазанник и наскочил на него, он нигде не упустит ни своего, ни чужого. Тогда и мы не упустим.

Оглядевшись вокруг, Чигирин начал кружить, все ближе и ближе, вокруг загона; так помаленьку докружил и до сада, откуда услышал пьяные голоса Магазанника и какого-то черта. Кому война, а у них, бессовестных, на уме один торг. Не испортить ли вам его?

Чигирин даже повеселел, подумав, чем кончится торг хитрецов, и сторожко направился к загону. Из изгороди вынул две жердины и потихоньку начал выгонять скот. Видно, теперь не придется ему идти домой. Кто же присмотрит за коровами? Да как-нибудь неделю перебежась в лесах, и не такое бывало в жизни, — и Чигирин пускает улыбку в седые усы. Вот жаль только жену. Она же его ждет сегодня. Не дождется до позднего часа, да и начнет убивать-

ся. Станет выходить на подворье, к двум тополям у ворот, и снова плакать, как и в двадцатом году, когда он, прибегая из лесов, еще напевал ей, что она самая красивая...

И очарование тех далеких лет нахлынуло на Чи-гирина, когда шел он, словно пастух, за отбитым скотом...

В позднюю вечернюю пору подвыпившие Магазанник и Кундрик подошли к загону и остолбенели — хотя бы один хвост остался на развод.

— Вот так диво! Что ты скажешь на это?! — первым пришел в себя Магазанник и подозрительно смерил взглядом пронырливого торгаша: не из его ли подручных кто-то угнал коров? Недаром даже два пол-литра привез. Расщедрился!

Кундрик тоже с недоверием взидал на лесника: он и не такую подлость может сделать, а потом еще и подсмеиваться будет, как над последним дурнем.

— Вот это да! — сверлит лавочник перекошенными от злобы глазами лесника.

— Эге ж, так, а не иначе, — ощупывает его с возмущением Магазанник. — Что ж теперь делать?

— Надо по следу идти.

— Нападешь на тот след ночью. Вот нашлись разбойники...

— Кто ж это мог нас так объегорить? — не верит Кундрик ни одному слову Магазанника. — И корова пропала, и, считай, соль корова языком слизала.

— Да ты что?

— Да я ничего. Вот что ты?..

— Поймал бы — размозжил голову.

— Только ж кому ее размозжить?..

Злые, как черти, они готовы были вцепиться друг в друга, но что это даст?

— Спасибо тебе, Семен, за гостеприимство, — наконец выдавливают Кундрик. — Как все случилось, не знаю, а деньги за соль отдай.

Магазанник вспыхнул, но сдержал себя, махнул рукой, а то кто его знает, что завтра будет.

— Хорошую имею коммерцию кое с кем.

— Вот так и я.

Они снова возвратились в сад, тут Магазанник на минутку зажег свечу, вынул из кошелька деньги и, жуя губами, рассчитался с Кундриком; не денег, а пощечин бы надавать ему, чтобы в голове зажужжали шмели.

Подминая траву и туман да распекая в мыслях лесника, лавочник подался в свое село. На шляху в темноте урчали наши машины, а в небе гудели чужие самолеты. Чьи же машины пойдут завтра по шляху? Ох, суета сует... И хоть человечество стало рабом войны, да каждому человеку надо как-то жить, хоть в норе, а жить.

Добравшись до села, Кундрик пошел не к своему дому, а в лавку, отпер ее и только тут почувствовал себя в привычной обстановке. От тяжелых забот лавочника отвлек дух селедок, ремней, печенья, кон-

фет, смолы — всего того, во что он вращался десятки лет. Вон те деревья за окнами вращались в землю, а он — в запахи деревенской лавочки. Что ж теперь из ее утробы перетаскать домой? По всему видно, что завтра сюда явятся новые хозяева. Сила силу ломит! Задумался Кундрик, но тут же его осенила мысль: а ведь гитлеровцы наверняка восстановят частную собственность, так почему бы и ему не открыть частной лавки? Тут он показал бы свои способности, ибо при большевиках все время приходилось дрожать над копейкой, добытой хитростями. Что только Ольга запоет? Сразу же уст: «Перека-ти-поле не знает настоящего корня...» А затем начнет собираться к матери. Нет ничего горше, чем идейная жена в доме.

IX

На рассвете с речки надвинулся такой туман, хоть ножом режь, и заскрипели под его тяжестью старые косточки вдовьего крыльца. А может, это беда уже подбиралась к жилью? С этой тревожной мыслью Сагайдак и погрузился в сон, и к нему снова вернулась молодость, и те дороги, и те кони, которых уже нет, — на них он с саблей в руке проскакал от Донца до Збруча.

Когда Зиновий Васильевич проснулся, в его комнате стояла белая как полотно Ганна Ивановна. От отчаяния кривились морщины на ее лице, вздрагивали обескровленные губы.

— Что?! — вскрикнул, вскочив с кровати, Сагайдак.

— Немцы проехали селом. На мотоциклах... — и заплакала.

— Сами видели?

— Сама. Веселые такие, что-то кричат, на губных гармошках играют. Смеясь, настреляли с десятка кур и поехали дальше. Что же мы теперь будем делать?

— Недолго будет веселиться наш враг. А вас, Ганна Ивановна, я попрошу дома теперь не ночевать.

— Это ж почему?

— Воевал я и в гражданскую, знаю, сколько выпало горя на долю тех людей, которые помогали нам. Так вот, днем вы хозяйничайте себе, вечером — к дочери.

— А что же я скажу ей?

— Скажите, что теперь боитесь одна ночевать.

— Пусть будет по-твоему. Пойду-ка еще на разведку, пусть бы никому не приходилось в нее ходить. — Открыв двери, она настороженно остановилась на пороге. — Слышишь, как гудит на шляху? Даже земле тяжко. Это уже пушки или танки пошли.

Замерев, он услышал рокотанье чужих машин, но все равно не мог поверить, что отныне его земля становится пленницей, что враги пришли отобрать

у людей неотъемлемое. И застонала его душа от тоски и бессилия.

Так прошла страшная неделя, когда день не был днем, а ночь — ночью. Но Сагайдак должен был ждать своего часа. По ночам он все порывался уйти в леса, а днем метался по жилью, как в клетке, не находя себе места от уныния и горьких мыслей.

И вот наступила новая неделя. Вечером Ганна Ивановна ушла ночевать к дочери, а он, как неприкаянный, слонялся от окна к окну, припадал горячей головой к стеклам, приглядывался к молодому месяцу и снова мерил шагами свою комнату. Пора бы уже и спать, да не приходит к нему сон, как приходил в гражданскую войну. Тогда он мог заснуть и в седле, и под дождем, и в снегу. Что значит молодость!

Вдруг послышалось гудение мотора. Сагайдак сразу схватился за оружие, сунул в карманы лимонки и прикипел к окну. К дому юрко подкатила темная машина, почти уперлась в ворота и остановилась. Хлопнули дверцы, из них выскочили четыре фигуры — трое военных в высоких фуражках, четвертый в штатском.

«Измена!» — как молотом ударило в голову единственное слово. И не испуг, а страшное негодование охватило Сагайдака. Он немного отвел голову от окна, пристально следя за тем, что делалось на улице.

Без суеты трое, пригнувшись, вошли на подворье, а четвертый с автоматом направился к дверям, что выходили к лесу. Этого он не тронет: если попытается уйти, тот сразу же скосит его из автомата. А трое уже встали на пороге и прикладами так начали колотить в дверь, что в хате задребезжали стекла.

— Открывай, партизан! Открывай!

«Измена!» — снова ударило в голову то же самое слово.

Однако спокойно, на удивление спокойно, он встал в сенях слева от дверей и ждал, когда они слетят с петель; пальцы до боли впились в рукоятку пистолета.

Еще удар. На него посыпалась штукатурка. Сагайдак наклонил голову, чтобы не запорошило глаза. Вот хрикнул, сломался деревянный засов, отскочили двери, и в рамке косяка шатнулся серп луны, зашевелились три фигуры, две — с автоматами.

Почти не целясь, Сагайдак всадил в них всю обойму. Послышался стон, ругань, вопли, глухой шум падения тел. Он перескакивает через них, цепляется за чью-то фуражку, чуть не падает, потом наталкивается на старый чеп и бросается в огородик, за которым спросонья вздыхает вода. Позади раздается автоматная очередь, а затем отчаянный крик. Наверное, тот, четвертый, увидел своих.

Сагайдак останавливается возле подсолнухов, переводит дух. И только теперь его пронизывает холод страха: а что же с остальными? И за ними также охотятся? И ничем же, ничем он не может по-

мочь... Нет, может! Должен! Знает же он адреса некоторых партизан. Немедленно к ним! Ближе всех отсюда к учителю Ярошенко. Так вот к нему.

Через пару часов Зиновий Васильевич добрался до небольшого, разбросанного на глинистых холмах села, которое славилось яблоневыми садами. Мертвая тишина стояла вокруг: ни тебе людского голоса, ни песни, ни даже собачьего лая. Только возле плотины несмело журчала вода, будто и она боялась кого-то.

С пригорка в овраг, из оврага на пригорок шел он к школе, где жил Ярошенко. Вот и школьное подворье, и четырехугольник молодых тополей, и пришкольный дом для учителей... и неутешное женское рыдание.

«Измена... Кундрик...»

Неужели на белом свете нет больше красавца Марка Ярошенко, что так грезил партизанской героикой? Да не с героикой, а с черной изменой встретился ты. Забирала она лучших людей когда-то, забирает и теперь.

Все уже было понятно, но все равно он подходит к учительскому дому и в двух окнах видит тусклый свет. В комнате мигает свечечка, а за столом надрывно плачут две женщины — старая и молодая. И никто уже не утешит их, никто, только, может быть, время как-нибудь зарубцует боль.

Поклонившись женщинам, Зиновий Васильевич рукою вытер глаза и повернул со школьного подворья. И снова — с пригорка в овраг, а из оврага на пригорок, и с той же ношей горя, которой бы никому не носить.

И хотя уже звенел рассвет, он все же направился туда, где жил Демко Бойко. Не скрываясь войдет в село. Он понимал, что не должен рисковать, понимал — и шел навстречу опасности.

Никто его не встретил на краю села, — видно, новая власть еще не успела выставить своих полицаев. Уже взошло солнце, когда он подошел к дому Бойко. Открыл калитку и заметил под навесом седого, словно вышедшего из какой-то сказки, деда. Сделал несколько шагов и тяжело остановился — старик с фуганком в руках подравнивал посизевший, бог знает когда сделанный гроб.

Неимоверным усилием Сагайдак оторвал ноги от земли и пошел к деду. В гробу кроме стружек он увидел зерна жита. Очевидно, гроб когда-то был сделан для старика, а пока он жил, в нем, по давнему обычаю, лежало зерно для нищих и обездоленных людей.

Дед услышал шаги, оглянулся, в выцветших глазах, в морщинах, в позеленевшей бороде его стоял печальный сумрак. Он положил потемневший от времени фуганок на скамейку, пристально посмотрел на Зиновия Васильевича, вздохнул.

— Ты к моему Демку пришел?

— К Демку, — снял фуражку Сагайдак.

— А его уже нет! И не будет никогда! Сегодня фашисты убили... И песню его убили. Думалось, по-

хоронит Демко меня, а должен хоронить его я. Так разве есть правда на свете? — Старик тихо заплакал, слезы его беззвучно падали на бороду и в гроб, на зернышки жита, которые тоже пойдут в могилу.

Молча заплакал и Сагайдак, чувствуя, как адский мороз начинает сковывать его сердце и голову. Даже солнце не могло вышибить из него холода. Что-то надо было сказать, чем-то утешить старика, но бессильно слово утешения в час скорби, в час прощания. Да и уста не слушались его — холод льдом лег и на них. Он обнял старика, припал к его сединам, ощутил их влажность и быстро пошел огородом, где буйно зеленели и цвели печальные купальские цветы.

Неужели страшная измена погубила всех его братьев, неужели он не увидит больше ни мудрого Чигирина, ни пылких близнецов Гримичей, ни озорного Бересклета, ни невозмутимого Саламаху? Нет, нет! Кто-то из них должен спастись. Спокойного Чигирина не так легко обмануть, а Гримичи собирались в эти дни раздобыть коней, тачанку и станковый пулемет... Сагайдак запускает руку в чуприну, хочет отогнать туман, холод, а в мозгу в который раз стучит одно и то же слово: «Кундрик! Кундрик!» Сегодня же он доберется до него. Сегодня. Но не Кундрика, а опечаленную Ольгу видит перед собой. Тоже судьба — не позавидуешь...

С огородов Сагайдак выбрался в поля, отыскал в высокой ржи стезжку и под дремлющими колосьями пошел к дубраве, чтобы оттуда добраться до того села, которое, как рана, вызывало теперь в нем боль и смотрело на него женской скорбью. Колоски касались его плеч, лица, словно хотели и не могли утихомирить страдания человека.

Через дорогу прошли две женщины с серпами на плечах, потом проехала немецкая машина, в которой на досках сидело несколько солдат с автоматами на груди. За чьим добром или за чьей душой торопитесь вы? А дальше виднелась и та дорога, что вела к Ольгиной хате.

Вот уже и зазеленел тот низинный луг, за которым начиналось гнилое болото, вот показался и деревянный мостик, по обе стороны которого стояли раскидистые старые вербы. Но почему так беспокойно кружит над ними воронье? Сагайдак настороженно остановился на краю поля, приглядываясь и к мостику, и к вербам, и к пересохшей дороге. Как будто нигде никого. А что это за нарост на крайнем, с сухой верхушкой, дереве? Еще прошел несколько шагов. Неужели это человек, привязанный к стволу? Так оно и есть.

Не доходя до мостика, он, пораженный, остановился: к старой, суховерхой, с потрескавшейся полусорванной корой вербе был привязан мертвый Кундрик. Из его обезображенного рта торчал кусок грязной тряпки, а с шеи свисала в рамочке под стеклом какая-то бумажка. Выходит, кто-то разобрался в темных делах торговца. Но кто? Сагайдак еще ближе подошел к лавочнику, который ботинками упирался в корневище дерева, вот только голова не имела опоры и

упала на грудь. Сагайдак старается не смотреть, чтобы не видеть обезображенного лица и грязной тряпки. Но в глаза бросаются буквы — наши и немецкие. Так это же разрешение, выданное новой властью Кундрику на право держать частную лавку. «Частную! Вот за какую плату ты загубил людей!» — ложится тень на лицо Сагайдака.

Позади послышался простуженный хрип или клекот. Сагайдак обернулся. На краю мостика стоял, опираясь на палку, в высокой бараньей шапке и пожелтевших сапогах сухощавый, хилый дедок, один из тех, которые жизнь провели чабанами в степях. У него были выразительные влажные глаза, а поверх его легкой, с проседью бороды красиво лежали еще темноватые корешки усов.

— Смотришь на грех? — спросил старик.

— На страшный, — кивнул головой Сагайдак.

— Вправду страшный, — и повел палкой в сторону Кундрика. — Всю жизнь хитрил, мошенничал, наживался да поедом ел людей. Но всему конец приходит, настигла и его кара. Поделом вору.

— Дедусь, не знаете, кто его?

— Спрашиваешь, кто его порешил? — пристально-пристально посмотрел на Сагайдака. — Об этом уже все село знает... Сегодня, как только солнышко взошло, открыл Кундрик собственную лавку. Дождался своего при Гитлере. Вот торгует, аспид, вьюном извиняется между людьми, задабривает краденным товаром, даже в долг дает, а должников в толстую книгу записывает. Как вдруг к его лавке нагрянула новенькая тачанка, а из нее соскочили двое — око в око, чуб в чуб — одинаковых парня, и при оружии, да и сразу к Кундрику. Увидел он их — и челюсть отвалилась, задрожал, дьявол, да и наутек через черный ход. Да там его хлопцы в четыре руки перехватили, скрутили, потащили в лавку и начали вытряхивать карманы.

«Не ищите денег, они там», — показывает взглядом Кундрик на прилавок.

Да, видать, не деньги нужны были хлопцам. Вот они вытянули из его кармана какой-то документик, развернули, глянули на него, осатанели и ткнули Кундрику в морду.

«Иуда!» — и снова в морду, которая сразу начала распухать.

Лавочник только взвыл и мешком повалился хлопцам в ноги. Те со всей силой оттолкнули его от себя сапогами, а всем, кто был в лавке, показали страшную бумагу:

«Люди, это удостоверение тайного агента гестапо».

— Тайного, — вздрогнул Сагайдак.

— Эге ж, эге ж, тайного. Значит, за эту иудину бумажку и за лавку Кундрик, говорят, продал партизан. Люди закричали: «Смерть ему!»

Кундрик заголосил:

«Простите и помилуйте. Не по своей вине вышло у меня, ой, не по своей... Увели меня на машине гестаповцы, а потом потащили к их главному... «С вами будет говорить шеф гестапо, — объявил мне

переводчик. — Если скажете хоть слово неправды, окажетесь там, — и ткнул пальцем в пол. — Туда приходят, но оттуда не возвращаются».

Глянул я на шефа гестапо — и чуть было не умер: его сапоги были забрызганы каплями свежей крови. Она и донесла меня... Под страхом смерти и вытянули из меня все».

«И агентом гестапо стал со страху?»

«Я страшно оробел перед гестаповцами. Простите и помилюйте, что я струсил и отдался врагу. Я еще пригожусь вам. Все мое добро забирайте даром...»

И тогда люди снова сказали:

«Смерть ему».

Как падал, выволокли хлопцы торговца за руки и за ноги из лавки, раскатали, бросили на тачанку, а тут и порешили его.

«Близнецы Гримичи судили изменника! Выходит, живы хлопцы!»

— Дедусь, а куда же те отчаянные делись?

— А кто их знает? Но думается — помчались карать врагов. Как ветры, полетели... А ты ж, сыну, издалека?

— Издалека, дедусь.

— Теперь столько ходит народу. Если нет пристанища, заходи ко мне. Мы тебе со старухой чабанских галушек наварим, а потом отдыхай в хате или в клуне на сене, как раз привез его с раскорчеванной лесной делянки — земляничкой и ромашкой на всю улицу пахнет.

— Спасибо, дедусь. А вы Ольгу, что за Кундриком, знаете?

— Почему не знать. Славное, доброе дитя. Билась, билась, как рыба об лед, с этим Кундриком и бросила его. Да разве ж у нас может любовь ужиться с жадностью? Так пошли ко мне, к моим галушкам, к моим целебным травам. Я тоже трех сыновей на войну отдал. Теперь только и слышу плач невесток.

— Дедусь, а как вас звать-величать?

— Зовут меня Миколой, а фамилия с деда-прадеда — Чабан. Вот искони и на веки вечные мы чабаны.

— Почему же на веки вечные? — удивился Сагайдак.

— Потому что пока светит солнце в небе, должен быть и чабан на земле, — поучающе сказал старик. — И хотя мой старший сын стал уже ученым, но и поныне не забывает ни отца-матери, ни степей, ни чабанов.

Х

С раннего утра и до вечерней зари гудит, прогибается, стонет черный шлях. На восток торопится чужое войско, чужая песня, чужое железо. Наделали же его тьму-тьмущую, да все на погибель людям.

Выйдет осторожно из леса Семен Магазаник, глянет, что делается на шляху, да так и не найдет

себе покоя; не знает, где ему теперь жить — в лесу, в селе или перебраться на старый хутор, где и до сих пор плодоносят наполовину выродившиеся яблоны и напевно перечнищаются воды. В лесах теперь страшно, с хутора могут прогнать, а жить в селе — на виду — тоже малое утешение. Что теперь будет с ними, грешными, и с обездоленной землей? Если бы хоть одним глазом можно было заглянуть в то время, что придет. У всякого о нем свои догадки, всякий по нему сеет свои думы и надежды, только ни мудрец, ни дурень не знают, кто станет жнецом.

Вот недавно заезжал в леса один такой исполненный злобы, спешил скорее захватить должность начальника районной вспомогательной полиции. Предаваясь обжорству, он поучал двух своих приспешников и хозяина, что теперь пришло время сильных и беспощадных варягов.

Тебе, прислужнику и вешателю, может, и нужны сильные варяги, а мне они ни к чему: уже видел, как эти варяги с гиком охотились на кур и из автоматов стреляли в самый большой улей с роем-сыпчак. Вот и пришлось пасеку перевезти в лес, к бортям, кур спрятать в сушилке, а коров и телок загнать в чашу. Да спрячешь ли все? Не было покоя при большевиках, нет его и при новой власти. Это только шляхетный огарок Безбородько все свои надежды возлагает на фюрера. Его же, Магазаника, надежды давно развеялись. И верит он теперь не людям и не властям, а только тем деньгам, из которых и время не вышибет золотой души. Вот и все, что светит ему теперь. Видать, года!

На западе предвечерье одевается в зеленовато-золотые ризы, а на шляху еще грохочут и грохочут машины, даже земле тяжело — и от колес, и от гусениц, и от чада.

«Освободители! — с насмешкой и в то же время со страхом говорит про себя лесник. — А где ваши отпы, которые «освобождали» Украину в восемнадцатом году? И они, и вы дали такую волю смерти, что и сами от нее не отделаетесь. Так оно всегда было. Но что теперь делать с собой? Что?.. Пора, пора, человеку, отшельником забиваться в уединение, на пасеку, присматривать за пчелой да ставить свечку перед богом за отпущение грехов, а то, как видно, не для твоей головы этот вертеж... Вот только за какие деньги теперь продавать мед? За бу-мажные — ненадежно, а золотых почти ни у кого не осталось. И над этим, пока живешь, надо ломать голову».

На подворье заскулил пес, — верно, кто-то из своих зашел. Только кто? Бросает отяжелевший взгляд на дорогу, прораставшую синевою.

Из сумерек тихо выходит его давняя утеша Василина; не спеша несет свою высокую утихомирившуюся грудь — то искушение, без которого тоже не проживет человек. Вот с кем он проведет вечер, прислушиваясь к ставшему теперь чужим шляху и к своей тревоге.

— Что тебе, Василина? — приглядываясь к по-

дернутому печально лицу, спрашивает постаревшим голосом.

— Тяжко, Семен,— вздыхает женщина, вздыхает тяжесть ее груди, на которой не почивало ни одно дитя, а почивали, наверное, только чубы мужчин, хотя и божится молодлица, что, кроме него, ни с кем не греховодничала. Так он и поверил, если один соблазн всегда проглядывал с ее округлого и до сих пор красивого лица, если в низком голосе таилась одна жажда утехи.— Тяжко,— снова вздохнула Василина.

Лесник скривил губы и не подумав ляпнул:

— С чего бы это и тебе тяжело? Твоих же детей нет на войне.

— Постылый! Так людские же есть! — неожидан-но вспыхнула Василина, круто повернулась и быстро пошла не к лесниковой хате, а назад, к селу.

— Куда же ты на ночь глядя? Что за чушь взбрела тебе в голову? — удивляясь, возмущился Магазанник. И, не услышав ответа, бросился вдогонку за женщиной. На поляне остановил ее и, запыхавшись, спросил: — Зачем тебе эта ссора?

И впервые непримиримость и презрение к нему блеснули в тех глазах, в которых всегда были то загадочность, то хмель любви.

— Прочь с дороги, ненавистный! — мотнула, зашелестела юбками и обошла его, словно зачумленного.

— И почему ты такой занозистой стала? — все еще хочет остановить ее.

— А потому! Как был ты Чертом со свечечкой, так им и остался! — в сердцах отрезала уже через плечо и гордо пронесла между деревьев и гнев, и злость — но не любви!

Эти слова о Черте со свечечкой оглушили Магазанника. Разумеется, он знал о своем прозвище, но чтобы услышать его от полюбивницы — такого еще не бывало. Вскоре шаги Василины затихают, но не затихают внутри обида и беспокойство.

И здесь, в разомлевших лесах, где еще не онемели чужие машины, он снова вспомнил зеленые глаза Марии и своей дочки. «Где они теперь? Разыскать бы их да и забраться втроем в уютный уголок, подальше от войны, от грызни, от политики. Так разве ж после всего пойдет ко мне Мария? Тоже отрежет тебе, что и черт на старости лет идет в монахи. Вот если война убьет ее мужа, тогда беда и поможет мне». От этой мысли невольно вздрогнул, — и вправду, так может подумать только дьявол.

С поляны Магазанник переходит в урочище, где живут барсуки. Тут в голодный год он закопал большие тысячи, которые наторговал за картошку. Потом на эти тысячи потихоньку накопил золотых червонцев, которые тоже запрятал возле барсуков. Еще есть у него тайник там, где недавно стояла пасака, а третий скрыт в древесине хаты, что в селе. Для него теперь надо найти другое место — долго ли в такое время хате стать пепелищем? Эх, суeta сует, а покоя и до сих пор не знает мир.

Потом он остановился под вековой липой — тихо гудела борть. Война войной, а пчела и ночью работает...

Когда лесник подходил к своему жилью, на дубу, примащиваясь на ночь, простуженно каркнул старый хромоногий ворон. Надоел он, особенно в предгрозые, раздражая своим скрипучим голосом, но и убивать его тоже не хотелось — на рассвете не петухи, а этот старый вещун всегда будил Магазанника.

Опустелым теперь стало его жилье. Даже старик Гордий не остается тут на ночь, хоть и давал ему для ночлега другую половину хаты. То в клуне маялся, а сейчас и в хате не хочет отдыхать. И, будто в ответ на его мысли, из леса донесся низкий голос деда Гордия:

— Семен, ты уже ложишься?

— Да, собираюсь. Как это наконец вы решились на ночь глядя прийти? — насмешливо отвечает Магазанник.

— Разве ж новая власть не заставит? — Белея полотняной одеждой, старик подходит к леснику, протягивает тяжелую, натруженную руку, кожа на ней твердая, шершавая, как кора на дереве, а пахнет земляникой.

— Новая власть вас послала? — удивляется и настораживается Магазанник.

— Вот именно. Дожился, что и борща нечем посолить. Потому и притаился к тебе. Отпусти немного соли, ты же запасаешься ею.

— Придется отпустить. Вы сегодня уж ночуйте у меня — половина хаты пустует.

— Теперь, наверное, полмира пустует, — вздохнул старик. — Да когда-нибудь и хата Гитлера опустеет.

И хотя вокруг никого нет, но лесник оглядывается — у него новые страхи на душе.

— Вы уже вечеряли?

— Вечерял. — Гордий посмотрел на небо — какую погоду оно предвещает? — Я еще пойду к лошадям, а потом спать.

— На Степочкиной кровати, двери не закрывайте.

— Хорошо.

Вечер снимал с окон сизую краску, и они темнели, словно крылья грачей. Магазанник прикрыл их толстыми ставнями, прижатыми прогонными, болты которых проходили через косяки оконных рам и для безопасности изнутри завинчивались гайками.

Тихо и уныло в его жилище, где по всем углам таится одиночество. «Хотя бы Степочка поболтал со мной или Василина зашелестела смехом и юбкам. И какая муха ее укусила теперь, когда так не хватает ее успокаивающего слова и соблазна?» Магазанник подходит к посуднику, чиркает спичкой, зажигает свечи в разрисованном подсвечнике: может, хоть святой воск отгонит от него недоброе предчувствие и страхи. Что ж, человеку, таился ты в лесах, а теперь хватит, время переезжать в ту хату, где и до сих пор в непогоду стонут половецкие и скифские каменные бабы.

С подсвечником он подходит к зеркалу, в глуби-

не его видит какие-то странные, словно чужие, глаза, странный отблеск горькой улыбки и неровно пропаханный годами лоб — в морщины уже и сеять можно. Эта мысль страшит лесника; чтобы отогнать ее, он быстро идет к старинному, красного дерева, шкафу: здесь тесно сбилась людская мудрость. Вот что только выбрать из нее? Может, Библию? Да, верно, и допотопное писание не успокоит сейчас смещения души. Или лучше того чудака, что Дон-Кихотом зовется? Время уже всюду остановило твои ветряки, а ты и до сих пор живешь в памяти людской. И королей, и царей обскакал на своей сухопарой кляче, и фюрера обскачешь.

Лесник вытянул зачитанную книгу, подошел к свече, но в это время во дворе лютно залаяла овчарка, потом звонко забухали копыта, заскрипели колеса, загладели чьи-то голоса. Несет каких-то приبلудных на ужин или ночевку. Магазанник бросил книгу на стол, схватил дробовик, отодвинул железные засовы сеней и осторожно вышел из хаты.

— Кто там на ночь глядя притащился?

У ворот зашевелились две фигуры, немного далее серебристо позванивали упряжью кони, и еще кто-то качался за ними, пронизывая темень дулом ружья.

— Пан и благодетель, привяжи своего волкодава, а то навеки уложим его!

Магазанник удивился не угрозе, а этому «пан». Уже и с ним на панство переходят?

— Кто же вы будете, такие проворные?

— Полиция!

Вот и припелася новая власть. Чего ей только надо? Магазанник привязал овчарку, которая начала почему-то скулить и повизгивать. Потом пошел к калитке, ее ногой уже недовольно открывал полицейский с дряблым и круглым, как решето, лицом, сплошь изрытым оспой. За ним настороженно, с винтовкой наготове, стоял чахлый лопухий недомерок, его продолговатая башка была чем-то средним между лошадиной головой и кувшином.

— У тебя, пан, никого нет из чужих? — подозрительно прохрипел решетоликий, в настороженных буркалах которого стояла одна злоба.

— Нет. — «Ну и мордорот! Хотя бы ночью не приснился!»

— А кроме тебя кто-нибудь есть?

— Только старик.

— Смотри мне! — изобразил всем своим дряблым решетом недоверие. — Если что не так, сразу вырвем душу — тут ей и каюк!

Угрозы полицейский возмутили Магазанника:

— Смерть у каждого за плечами ходит.

— Перед глазами тоже! — брякнул кувшинообразный недомерок.

И на это лесник как можно спокойнее сказал:

— Никто не знает, сколько нам бог продлит веку.

От этих слов полицейский притихли, а потом решетоликий примирительно промолвил:

— Прощу, пан, вести в свою берлогу.

В сопровождении двух пришельцев лесник не спеша пошел к хате. И только тут он увидел, что новоиспеченные полицейские одеты не в форму, а в какое-то рванье, лишь на рукавах свежие повязки с надписью «шутцманшафт». Бдительные гости обыскали и одну, и другую половину хаты, обшарили каморку, даже посмотрели под печь, а потом молча вышли на подворье. Через какую-то минуту в хату ввалились и стали на пороге двое в штатском: один — высокий и носатый здоровила — даже пригнулся, чтобы не набить косяком шишку на лбу, а другой худющий, с запавшим ртом и такой густой сеткой морщин, что казалось, не помирившись с лицом, она словно отделялась от него.

Глянул Магазанник на здоровилу в новом, с искрой, костюме, в свежей украинской сорочке-чумачке и не поверил своим глазам — перед ним вымытый, подстриженный, надушенный крепкими духами, прищурив глаз, картинно стоял и улыбался синими губами Оникій Безбородько. Откуда ты взялся, зловещий?

— Узнал, пан и благодетель высокоуважаемый? — И словно в дубовые заслонки забил смехом: — Го-го-го...

— Оникій! — выдохнул хозяин. Не взяли-таки черти своего плута, с помощью которого еще в ту войну началось его грехопадение и охота за грешной копейкой. Снова завьюжили в голове все давно прошедшие ужасы: и виселицы, у которых стояли в очереди обреченные, и свечи на поминальном хлебе старика Човнира, и мать с ребенком. В горле застряли слова, и он только смог повторить: — Оникій...

— Оникій Иванович, — с гонором поправил Безбородько: пусть мелкота не ведет себя с ним занибрата. Он подошел к растерянному леснику, протянул волосатую лопату руки. — Здорово, здорово, пан и благодетель. Как теперь поживаешь? Подскакиваешь или притих?

— Э, живем, лишь бы день дотянуть до вечера, — неопределенно пробормотал Магазанник.

— Чего это такую унылую завел в год воскрешения Меркурия?

— Мне бы лучше иметь год не Меркурия, а тех святых, что умеют торговать.

Безбородько показал в усмешке пожелтевшие бобыны зубов.

— Хорошо, хорошо сказал. А мы к тебе, высокоуважаемый пан и благодетель, с официальным визитом.

— Даже с официальным? — не знает лесник, что ответить нежданному гостю, крепко вцепившемуся в его ладонь. Вот так и в душу вцепится.

— Эге ж! Прежде всего знакомься. — Безбородько кивнул головой на спутника с тусклыми глазами, в чуприне которого поблескивал иней: — Крайсагроном Гаврило Рогиня.

— Гавриил Рогиня, — скривился, словно от зубной боли, крайсагроном, — видно, не любил, когда так искажали его имя.

— Не помер Данило, так болячка задавила! — снова ударил в заслонки смеха Безбородько и нацелился взглядом, источавшим один елей, на лесника. — А я теперь председатель украинской районной управы, то есть в чине, если перевести на большевистский, председателя райисполкома.

— Председатель райуправы?! А почему же не начальник полиции? — невольно вырвалось у Магазанника.

— Опоздал я, братец, на эту должность, опоздал всего на два дня, — с сожалением сказал Безбородько. — И теперь имею честь работать с бывшим уголовником Квасюком. А как ты? И до сих пор скряжничает, отшельником в лесах живешь?

— У нас говорят так: старую лису не выведешь из лесу.

— Теперь мы тебе жить отшельником не дадим! — решительно изрек Безбородько.

— С чего б это?

— При новой власти твоя голова будет дороже цениться в селе.

Магазанник насупился:

— Уже оценили и мою голову?

— И мы, и герр крайсландвирт, и эконокомендант! — торжественно провозгласил Безбородько.

— Эге ж, — наконец насмешливо глянул на лесника агроном и пересохшими навесами ресниц пригасил презрение.

— А почему я не вижу у тебя ни богов, ни святых? — спросил Безбородько, неодобрительно покачал перестоявшей шерстью на голове, а потом полез рукой во внутренний карман пиджака, вынул оттуда пачку денег и торжественно положил их на стол, между подсвечником и «Дон-Кихотом». — Это, Семен, мой долг. Возьми.

— Какой долг?

Безбородько усмехнулся:

— Помнишь ту тысячу, с которой несколько лет тому назад так не хотела расставаться твоя жадность? Возвращаю тебе оккупационными марками, так как ни перед кем не хочу быть в долгу. А кто должен мне, тоже сдеру, с кожей сдеру! Бери свое.

— Спасибо за память. Я давно на этом долге крест поставил. Может, перекусите с дороги? — Магазанник глянул на кучку оккупационных денег, бросил их на постель и засуетился.

— Можно и повечерять, — великодушно согласился Безбородько. — Винопития и церковь не запрещает. А тот окорок с дымком и слезой найдется у тебя?

— Найдется и окорок, и скобленка, и имбировка. От нас голодными и трезвыми не уйдете, — сказал те самые слова, которые когда-то очень нравились Ступачу.

— Украинское гостеприимство, Гавриил! Набывай желудок да вспоминай поучение профессора-жизнелюба: «Ни один из органов не приносит человеку так много, а главное — так регулярно, наслаждения, как желудок. Бойтесь погубить его».

На померкшем лице и в потускневших глазах крайсагронома заколебалось чувство удовлетворения.

Такому, видать, сам Гнатко Беспятко¹ из пекла не угодит. Вот послал бог гостей глядя на ночь! Но должен угождать им, как чирьям.

Когда на столе появились свежий хлеб, и окорок, и творог, и масло, и мед, и горилка, Безбородько сам взялся за старинную, зеленого стекла, бутылку, которую почему-то называл жбаном, наполнил чарки, выгнул гусеницы бровей и заговорщицки изрек:

— Вот и встретились, пан, в желанное время!

«В бойню, а не в желанное время», — хотел ответить Магазанник, но промолчал, так как на морде и синих губах нового правителя было столько злобного самодовольства, что не дай бог задеть его.

Безбородько, чокаясь, провозгласил:

— Опрокинем же, паны, эту отраву за нового старосту.

— За какого старосту? — оторопел лесник в недобром предчувствии: беды не ищут — она сама тебя находит.

— За тебя же, за тебя, пан и высокоуважаемый благодетель! — засмеялся Безбородько. — Разве мы не знаем, как старое веретено умеет пряжу прясть? Страх сразу приморозил Магазаннику лицо и нутро. Вот и попала душа на чертовы жернова.

— Что-то я не помню, когда меня избирали старостой.

Оникий не заметил, как помрачнел хозяин, подбадривающе хлопнул его по плечу:

— Так завтрашний день запомнишь — на сходе изберем тебя старостой! Дождались-таки своего! Постарались и дождались! Как оно теперь на душе?

Лесник, давась словами, умоляюще взглянул на Безбородько.

— А что, Оникий Иванович, если я не хочу быть старостой?

— Ты не хочешь быть старостой?! — Между облысевшими веками с удивлением и раздражением округлились глаза змеяда. — Это, пан Семен, не слышалось мне?

— Не слышалось, — ответил тот тверже.

Безбородько надулся, как индюк, поднялся из-за стола, бросил свою тень на Магазанника и выкатил из груди клубок возмущения:

— А кем же ты, пан и благодетель, хочешь быть в теперешнюю завируху? Какие у тебя замыслы и намерения?

— Хочу быть обычным пасечником, каким и мой отец был. Мне и пчела может дать пропитание.

— Пасечником! — зазмеилась язвительность на синих губах Безбородько. — Он впал в детство, хочет теперь жить отшельником... Не выйдет, голубчик, сиднем сидеть и лежнем лежать! Не то время! — так и пышет угрозой его разбойниче лицо.

— Угу, — подал голос и крайсагроном, что даже пыхтел, безбожно уплетая окорок; где только у него,

¹ Гнатко Беспятко — черт, персонаж украинского фольклора.

обжоры, помещается он? Вот так и разделаёт все до косточки.

— Почему же не выйдет?

В голосе Безбородько заклокотала желчь:

— Еще не догадываешься? А кто должен быть помощником немецкой власти? Ты подумал над этим своими верченными мозгами? Не Дон-Кихот ли заморочил их? — ткнул пальцем-обручком в книгу.

— Пусть те, кто помоложе, помогают новой власти, а меня уже хвори одолели.

— Что ты вздор несешь? С молодцами заигрывать он еще здоров, а тут... И куда твоя бывшая нахрапистость подевалась?

— Время и война надломили ее, — и так и сяк упирается и отговаривается лесник. — Время и камень точит.

— Время, какое оно ни на есть, летит на крыльях — лебединых или вороньих — и на плечи человека сбрасывает не перья, а тяжелую ношу, — пробубнил чьи-то чужие слова Рогиня; все на нем и в нем выражало безнадежность, только одни зубы вспыхивали золотым огоньком.

— Что, Семен, тебя лихорадит? — малость поостыв, что-то прикинул Безбородько. — Крестьянская осторожность или страх?

— Хотя бы и страх.

— О былой фортуне войны вспоминаешь?

— И от нее осталась память: еще и до сих пор ее колокола гудят в ушах.

— И напрасно. Кайзеровскую ошибку Германия не повторит. Неужели ты не видишь, как теперь текут политические воды и какую силу имеет Гитлер? Вся Европа уже дрожит перед ним, а он не только на Москву, но даже на Индию нацелил глаза и танки. Ему история записала на своих скрижалях победу. Вот закуем большевиков, и ты за усердную работу на немцев заграбастаешь хутор своего отца. Герасимом Калиткой, правда, и при немцах не станешь, но хутор добудешь. Тогда можешь днем пасечничать, а ночью досматривать мужицкие сны.

— Не хочу я ни хутора, ни должности старосты.

— Угу! — уже с любопытством взглянул на Магазанника Рогиня, у которого работали не только челюсти, но и ежик щетинистого, подбитого сединой подбородка.

Безбородько на минуту умолк, нацелил на лесника свои шершни и ударил, как ножом:

— Постой, постой, старая лиса! А тебя, умника, случайно большевики не оставили в подполье? Если так, я сам намылю петлю и заарканю твою шею. Помнишь, как это делалось при Скоропадском в державной страже?

Страшная угроза и воспоминания о прошлом выжали на лбу Магазанника холодный пот. Хотелось бросить в глаза шляхетному выродку: «Ешьте, жрите, гости, мой окорок, но не торгуйте моей жизнью». Но, склонив голову, сдержал себя, зная жестокосердие Безбородько. Верно, навсегда связал их черт своей веревочкой.

Не дождавшись ответа, Безбородько злое по-низил голос:

— Видно, ты недаром когда-то обозвал Гитлера таким словом, за которое теперь гестапо растерзало бы тебя в кровавые клочья.

Магазанник, ужасаясь, вспомнил это слово, мерзкий испуг змеей прополз по спине и, кажется, вкопец доконал его. Не отрешившись от страха минувшего, он, как в черную воду, входил в новый и чувствовал, что уже нет ему спасения. Вот так и принимаешь в себя вторую душу, чтобы лишиться единственной... Ох, как тяжело, словно они стали каменными, поднимал в мольбе глаза на своего гостя и палача: не говори, не говори такое при свидетелях.

Безбородько, кажется, понял его и уже спокойнее спросил:

— Служишь большевикам в подполье?

Лесник рукавом вытер со лба холодный пот.

— Так бы они и доверили мне. У них сейчас в подполье или в партизанах служит военком Зиновий Сагайдак.

— Где он? — хищно вострепнулся Безбородько и поглядел на закрытые ставнями окна.

— Это уж пусть ваша полиция и гестапо разносят. В моих лесах его не было, — соврал, не моргнув глазом: зачем иметь лишние заботы да хлопоты?

— Появится — сразу же дай знать! — наморщил лоб Безбородько. — А это случайно не тот Сагайдак, который был в червонных казаках?

— Тот самый.

— Тогда птица времени снова сводит меня с ним, — и заважничал, что вернул такое слово. — Дай боже хоть теперь сломать ему саблю и шею. Так вот, следи и готовься стать старостой.

Магазанник нехотя выдавил:

— Не хочет петух на чужую свадьбу, да несут...

— Если бы ты был умнее, то я назвал бы тебя дураком, а теперь не знаю, как назвать. А править должен по совести. Знаешь, почему погибла наша империя?

— Нет.

— Потому что ее последний император царствовал без веры, любви и увлечения.

— Ему ни вера, ни надежда, ни любовь не помогли бы, — давась окороком, сам себе сказал Гавриил Рогиня.

— Вот тип! — брезгливо покосился на него Безбородько. — Сделали этого низкопробного мумиеведа крайсагрономом, а он все недоволен. Тоже с какой-то копытю в голове. — И снова к Магазаннику: — Так вот, еще по полной. а то времени у нас мало, да сядем на мою телегу и помчимся к вашему попу.

— Зачем же нам, грешникам, к попу? — удивился Магазанник. — Замаливать грехи?

— Глупый ты еси. Прикажем попу: пусть он завтра при всей общине отслужит панихиду по погибшим немецким воинам. Потом не где-нибудь, а воз-

ле церкви выберем тебя старостой, и снова в церковь — отслужим молебен за спокойствие души нашего пророка. Чтобы все было для не зараженных большевизмом мужиков хитро-мудро, державно и по-божьему.

Лесник выпил имбировку, словно яд, и еще потянулся к бутылке: может, подпоить этих гостей, да и...

— Хватит набрасываться на горилку! Нагостевались, — поднялся из-за стола Безбородько. — Поехали.

И Магазанник заплетающимися ногами пошел за своими новыми правителями. Чтобы их пораспирало от его харчей!

Когда он встал на порог, его плеча осторожно коснулась рука деда Гордия, она и теперь пахла земляникой.

Магазанник вздрогнул:

— Чего вам?.. Хату закройте изнутри.

— Разве теперь о хате, о душе надо думать, — зашептал старик и потянул его в сени. — У тебя же есть ум в голове. Не продавайся выродкам, не поддавайся их наущению. Слышишь?

— Как будто я этого хочу! Тянут насильно, как на аркане, — и тоскливо вздохнул.

— Беги, Семен, от них. Потом будешь каяться, да поздно будет.

Магазанник печально покачал головой:

— И вы, дед, кинулись в политику?

— Какая же это политика? Одна беда. Беги от нее.

— Как же, вы думаете, можно убежать?

— Если нет смелости, то убегай зайцем — и не оглядывайся.

— Уже не те ноги у меня.

— Тогда деньгами откупись. Не пожалей даже проклятого золота. Сыпни им хоть в горло червонцев. Не суй свою голову в чужой котел.

Магазанник снова вздрогнул, а от ворот его окликнул Безбородько.

— Уже зовут.

— Это зовущие на тот свет.

Старый Гордий махнул рукой, вышел из сеней и повернул в леса.

— Дед, а ночевать?

— У тебя и днем страшно, — отозвался из темноты непримиримый голос.

Над лесом уже роились звезды петровок, и им не было никакого дела до людской ничтожности, что когтями хваталась за видимость власти и за чьи-то души. Чьи-то души ему ни к чему. А вот хуторок может пригодиться. Только бы скорее закончилась военная выюга... Это ж подумать только, какая сила у Гитлера, — даже на Индию нацелился.

Когда Магазанник стукнул воротами, на дубе спросонок каркнул тот ворон, у которого была простуда в голосе и хромота в ногах.

«Чур меня, поганец! Неужели ты и ночью почуял чью-то кровь?»

«Кр!» — ответил на его немой вопрос ворон, по-

зменному зашипел крыльями и пролетел над головами гостей.

«Чтоб ты сдох еще до утра! А не сдохнешь — застрелю».

Они подошли к фаятону, в фонариках которого слепо горели свечи.

«Словно за упокой души», — полоснул Магазанника суеверный страх.

Не успели рассестись на мягких сиденьях, как решетоликий полицай гикнул, свистнул и кони, мотнув гривами, полетели на проезжую дорогу, по обе стороны которой зашевелилась темень, зашелестели дубы, что держали на своих руках столетия и звезды.

Через час въехали в онемевшее село и, минуя церковь, свернули к жилищу отца Бориса, который уже с полвека был тут попом. Он и крестил, и венчал Магазанника, наверное, раз наступила такая жизнь, и хоронить будет. Лесник с сожалением подумал о ненадежности своей жизни и перекрестился...

XI

Оксана спросонок соскакивает с кровати на земляной пол. Он и трава на нем холодят ноги, а в сон ее, в тело ее гвоздями вбивается таинственный стук. Кто ж это в полночь пору? Не черное ли воронье? Такое теперь время. Женщина пугается и стука, и холода, который сковал ее. Что же делать? Что?.. Но кто-то снова стучит в наружную дверь. Растерянная Оксана припадает к постели, будит мужа:

— Стаще, проснись! Слышишь, Стаще? Кто-то стучит к нам. Слышишь?

— Что?.. Это ты, Оксана? — со сна, не раскрыв глаз, улыбается муж, тянется руками к ее голове, к ее волосам, к ее сорочке, от которой всегда пахнет татарской травой, лугом или степью.

Удивительно, но и до сих пор Стаху не верилось, что Оксана его. Потому и хлопотал, как мог, возле нее, стараясь не отпускать жену от себя. Пойдет она в поле, к картошке или льну, а ему уже кажется — пошла за тридевять земель, вот и найдет какую-нибудь причину, чтобы самому притащиться.

— Чего тебе? — и таит улыбку, и сердится: разве ж он не знает, что скажут болтливые женщины?

А он, винась, пробубнит тихо то ли земле, то ли певучим, с золотыми головками, снопикам льна:

«Вот гляну одним краешком глаза на тебя, на твою красу, и пойду потихоньку к своей работе. Разве ж я виноват, что ты меня словно приворожила? Эге ж, не виноват?»

«Стаще, не дури мне голову, слышишь же, как сзади нас посмеиваются?»

«Неизвестно, кто кому навеки задурит голову», — ответит да и пойдет не спеша. А она еще долго будет смотреть ему вслед, приложив ладони к глазам...

— Стаще, проснись, — уже начинает трясти его плечо, чтобы стряхнуть сон.

— Ты чего? — со сна ничего не может понять муж, перебирая рукой пахучие волны ее волос. Вот жаль только, что в них начинают влетать паутинки «бабьего лета». Давно ли он встречал ее девушкой возле татарского брода. Кому она тогда несла ве-
черю?.. Э-хе-хе, как быстро пролетели годы...

В каморку вдруг открылась дверь, и послышался перепуганный голос Миколки:

— К нам какой-то человек просится. Прижался к косяку и стучит.

И только теперь Стах подхватывается с постели, тянется всем телом на стук. В дверь снова дятлом застучали чьи-то пальцы. Сна как и не было.

— Кто же это, Стасе? Не полиция? — и даже в потемках он видит побледневшее лицо жены.

— Чего ей к нам? — Прислушиваясь, второпях одевается, кладет руку на шелковые кудри Миколки, прижимает его к себе и собирается выйти из каморки.

— Подожди, Стасе, лучше я, — крестом стала на пороге Оксана и не пускает Стаха. — Ты окно открой: может, бежать придется.

— Оксана, — уже улыбается ей, — ты не очень того, пугайся. Это, верно, наши.

— Какие наши? — не сходит она с порога.

— Вот сейчас увидишь. Только не дрожи, — успокаивающе касается ее плеча, на котором повис надломленный стебель травы, так как до поздней осени на Оксаниной постели лежит лесное сено с ромашкой, деревеем, пижмой.

Оксана, веря и не веря, смотрит на Стаха.

— Правда наши?

Стах все еще прислушивается.

— Говорю же тебе. Это условный знак.

— Почему же ты скрывал от меня? — Оксана сторонится и все равно со страхом смотрит на двери сеней, к которым прямо с постели, босой, подходит муж. Теперь всего можно ожидать. Вон и Гримичи сколько пережили, когда полиция приехала за Романом и Василем.

Стах останавливается перед дверью и тихо спрашивает:

— Это вы?

— Я.

И сразу гора сваливается с Оксаниных плеч.

Словно выстрел, отдался в ее ушах стук засова, и в сени вошел неизвестный. Стах то ли придерживает, то ли обнимает его, и так они стоят минуту, не говоря ни слова.

— Зиновий Васильевич! — вскрикивает и прикладывает руку к губам Миколка. — Заходите же.

— Сейчас, Миколка, зайду, — хрипло говорит Сагайдак, закрывая двери, и, пошатываясь, направляется к каморке. — О, тут вся семья... Здравствуйте, Оксана, здравствуй, Миколка. Как ты?

— Плохо, Зиновий Васильевич, — опустил голову хлопец. — Кругом плохо.

— От Владимира весточки нет?

— Нет, — вздыхает Оксана. И только сейчас на-

брасывает на голову платок. — Поехал со своим техникумом, а доехал ли?

— Будем надеяться...

Оксана торопливо, кое-как застилает кровать, одеялом занавешивает единственное окно каморки, в которой теперь почему-то норовит спать муж, зажигает убогий, по теперешнему времени, свет, ибо что говорить об электричестве в селе, когда его и в районе нет. Слабый огонек покачивает тени, освещает чистое золото Миколкиных кудрей, печальное лицо Оксаны, задумчивое Стаха и измученное Сагайдака. Морщины горечи, морщины утрат как-то сразу подсекали его губы, небрежно избороздили высокий лоб.

— Вы, наверное, голодны?

— Голоден, Оксаночка, как волк в лютую зиму, — пытается улыбнуться Сагайдак.

Он снимает фуражку, и три пары глаз изумленно смотрят на него.

— Чего вы? Чего? — с удивлением спрашивает и оглядывается вокруг: что же они увидели такое странное?

— Ничего, ничего, — первой приходит в себя Оксана, хотя в голосе ее еще дрожит печаль.

Зиновий Васильевич растерянно обводит всех взглядом:

— Что с вами, люди добрые? Какая-нибудь беда? Может, мне лучше уйти от вас?

— Нет, нет, дядя! — льнет к его рукаву Миколка. — Побудьте с нами.

— И не подумайте куда-то уходить, — грустно говорит Стах, — а то ведь скоро уже начнет рассветать. Раздевайтесь. А ты, Оксана, иди к печи, если там что-нибудь есть.

— Так что же, наконец, с вами?

— Это не с нами, — не знает, что сказать, Стах. — Это вас вон среди лета снегом занесло.

— Снегом? — не понимает человек и невольно подходит к небольшому зеркалу. В нем тускло заколебалось осунувшееся лицо. Но не оно поражает, а чуприна, в которую так неожиданно вплелась седина. Он провел по ней рукой, однако изморозь не осыпалась — вечной стала. Как видно, не прошел даром тот холод, что бил его на подворье Бойков. Вот и прощай лето — зима сразу упала на голову, верно, для того, чтобы по гроб жизни не забывал тех, кто уже никогда не вернется. Память переносит его к Бойкам, где старость оплакивала молодость и где в гробу лежали те зернышки жита, что пойдут в землю и никогда не взойдут на ней.

Он отгоняет от себя видения, оборачивается к Стаху, Оксане, Миколке и на их печаль отвечает словами старинной песни:

— «Як упала зима біла — голівонька моя біла...» Мой отец поседел в шестьдесят с гаком, его сын в сорок... Да если бы только печали, что эта.

— И то правда... На каждую голову рано или поздно приходит своя метель. Подавай, жена, вечерю или завтрак.

Оксана и Миколка вышли из каморки, а Сагайдак стал против своего связаного.

— Ты знаешь о нашем горе, о черной измене? Стах вздрогнул.

— Немного знаю. И колокола по убиенным слышал в окрестных селах,— прислушался к предрасветной тишине, словно в ней и до сих пор танлся похоронный звон.— Беда никогда не ходит одна,— и провел рукой по лбу и глазам.

— Это правда, беда никогда не ходит одна — немало у нее подручных есть.

— На одного уже меньше стало,— намекнул Стах на казнь Кундрика.

— Как Гримичи?

— Позавчера ночью к ним ворвалась полиция, обыскала хату, амбар и клуню, даже в сено из винтовок стреляли. Но, к счастью, Романа и Василя не было дома.

— Догадался шепнуть Лаврину, чтобы хлопцы не наведывались в приселок?

— Сказал,— коротко ответил Стах и вздохнул.— Тетка Олена с горя словно тронутая стала, я сегодня в сумерках видел ее возле ворот. А Яринка приходила ко мне и про вас допытывалась, да я ничего не мог ей сказать. Тогда она обозвала меня бессовестным и злая, как огонь, вылетела из хаты. Такой я ее никогда не видел.

— Чего ей? — забеспокоился Сагайдак.

— С Мирославой Сердюк намерилась идти в партизаны, а близнецы подняли сестру на смех: мол, там только такой болтливый не хватало. И впервые Ярина поссорилась с Романом и Василем, назвала их бестолковыми и расплакалась.

— А о других что-нибудь слышал?

— Только о Петре Саламахе,— и даже почему-то усмехнулся.— Недаром о нем говорят: если он руки осмолит, то и черта словит... Схватили его полицаи на рассвете в родной хате, а Петро, попрощавшись с женой, только об одном попросил их, чтобы позволили взять с собой четверть горилки. Те обрадовались, рассмеялись, посоветовали еще и закуску прихватить. Вот человек по дороге и начал потихоньку прикладываться к бутылки и словно бы забывать обо всем на свете. Не выдержали полицаи, остановились в лесу позавтракать, еще и Петра подняли на смех, что, мол, налился натошак, и тоже начали причащаться бесовским зельем. А Петро выждал благоприятный момент, да и улизнул в лес. Только и видели его. Пришлось им за это оплеух в райполиции нахватать. Квасюк на это мастак.

— Где же теперь искать Петра?

— Это же самое он, верно, думает и о вас, кружа по лесам.

— Теперь, Сташе, ко мне на старое место пока не приходи — и его продали.

— Выходит, нет базы?

— Нет, с корнями вырвали. Все, все надо начинать сначала.— Сагайдак помолчал, твердо взглянул на связного.— Может, после этого будешь чувствовать меня?

Стах сразу нахмурился, сгорбил, собрал морщины на лбу и у переносицы.

— Вы, Зиновий Васильевич, засомневались? Бойтесь за меня?

— Не боюсь, человеке. Но, может, ты после всего, что случилось у нас и в отряде, растерялся? Может, веру на неверие поменял?

У Стаха беспокойно зашевелились руки, он их сжал до боли, а затем полез за кисетом.

— Почему же молчишь?

— Что мне говорить, если у вас заронились такие мысли? — горечь скрытой обиды прозвучала в голосе Стаха.

— А ты не удивляйся: такое время. Я уже не одного видел растерянного и изверившегося. Потому прямо, как на суде, и спросил.

Стах обиделся:

— К чему разговоры о суде? Разве эта война не суд для каждого? Разве она не разделила все на грешное и праведное? — и замолчал.

Сагайдак понял, что его неосторожное слово ранило душу человека. Как мы часто в суете сует не замечаем этих ран!

— Если я что-то не так сказал, то прости. Но все равно ты должен сказать то, что надо сказать. Говори!

Стах сосредоточенно посмотрел на Сагайдака.

— Тогда скажу, и столько, сколько никогда не говорил. Так слушайте. Я вас тоже спрошу, как на суде, прямо: а кто из нас вот тут, при чужой власти, при сатанинских виселицах, при драконовских приказах, где только и слышишь о расстрелах и смерти, не растерялся? У кого из нас не болит и не плачет душа? Разве ж она знала когда-нибудь такую боль? Но это одно дело, а вера — другое. И если меня сейчас потянут на виселицу с крупновскими блоками, которая уже стоит в нашем селе, если сейчас распнут на гестаповских крюках, — все равно веры моей не распнут, пока я человек, а не требуха. Я могу до поры до времени затаиться, но не покорюсь неволе. Если же вы засомневались во мне, если хотите, чтобы мы пошли с вами вразброд, тогда накормим вас, дадим на дорогу хлеба, дадим самосада — да и бывайте здоровы. А сами тоже начнем думать, куда деваться в эту бешеную годину. Хотя я и мягкий человек, но ни воском, ни глиной не стану в чужих руках, а сам чужие руки буду укорачивать. Вот, к примеру, приехал к нам какой-то вельможный барон и вынюхивает наилучшие земли для своего имения. Так думаете, мы, хотя и растерялись, будем его хлебом-солью встречать? Тогда плохо вы нас знаете. Вот так, Зиновий Васильевич, и не иначе. Одно только и до войны не раз меня обижало: почему некоторые, например, из района, считают — если ты живешь в селе, то уже меньше любишь свою землю, меньше уважаешь революцию и непременно должен быть глупее или непременно с каким-то пережитком? Вот же некоторые, слишком мудрые, называли нашего украинского хлебороба «хитрым дядькой», еще и радуются, как они умно окрестили его. Не в ту сторону, в какую надо, рос у этих кумовьев ум, так он и черт знает во что может пе-

рерасти. Только кому же это, каким радетелям, и для чего необходимо?

— Прости, Сташе, проклятые нервы заговорили,— Зиновий Васильевич обхватил связного руками, поцеловал, а сам себя выругал в мыслях: как мы мало знаем тех, чей огонь годами горит для добрых людей, и как часто хитромудрые советчики бросают тень или подозрение на человека, который молчаливо и верно идет за своим плугом!

— Такой уж я хороший? — удивился, смущенно улыбаясь, Стах.

— Хороший — не то слово! Красавец!

Стах покачал взъерошенной со сна головой:

— Своей матери и я казался красавцем, а вот девушкам — не очень. Так не увольняйте меня со службы, за которую буду иметь целых тридцать дней тревог в один месяц?

— Не увольняю, дорогой человек. И каюсь, что о таком заговорил с тобой.

— Может, так оно и надо,— неуверенно сказал Стах,— чтобы потом не было накруиво, ведь не одного теперь напугали те мундиры с черепами и скрещенными костями. Да только мертвые черепа и кости, на которые смотреть противно, не одолеют живых людей.

В каморку со сквородкой и хлебом вошла Оксана, а Миколка принес тарелки и ложки. Стах из какого-то закутка достал бочоночек с вишнежкой.

— Не попробуем ли этого прошлогоднего зелья? Оно еще в мирное время настаивалось.

— Не стóит,— ответил Зиновий Васильевич.

— Может, и не стóит. Но я сегодня выпил бы,— на что-то намекнул Стах. А на что — Сагайдак догадался. И как у него вырвалось глупое слово о суде?

— Тогда наливай.

Хозяин поднял бочонок и налил вишневки в кувшин, затем разлил в стаканы, чокнулся с женой и гостем.

— За веру, чтоб сгнуло неверие и недоверие!

— За веру!.. — и Сагайдак дружелюбно взглянул на Оксану: — Перепугал тебя, красавица?

Тени пробежали по ее лицу.

— Напугали-таки.

— Что поделаешь? Такое настало время. Да, глядя на тебя, и теперь спросишь: откуда только берется женская красота? Даже опечаленная.

— Ой, не говорите такое...

— Ну, не буду,— и тут вспомнилась ему Ольга и минута прощания с ней возле ворот... Как она там? Когда Оксана и Миколка вышли из каморки, Стах спросил:

— Где же вас теперь разыскивать, если старое место провалилось?

Сагайдак вздохнул:

— Вот и я думаю над этим. Думок много, а толку пока что мало.

Они помолчали, потянулись к куреву. Погодя Стах посоветовал:

— А что, если вам на какое-то время перебраться на болота? Там в давности и от орды пря-

тались люди. В этом гиблом месте я нашел бы сухие островки, куда прежде на лето прилетали журавли.

— Ты еще помнишь их?

— Помню. Это красивая и осторожная птица.

Сагайдак подумал, вспомнил болота, вспомнил и журавлей еще по двадцатому году, и снова на ум пришла Ольга. Не потому ли, что ее хата стоит неподалеку от болота?

— Что ж, ищи, Сташе, сухие островки. Там, верно, будет хорошее убежище для раненых. А нам надо в лесах искать себе место, чтобы врага бить. Мы не имеем права прятаться в болотах.

— И то правда,— сразу согласился Стах. — Я сегодня пойду с Миколкой на болото.

Зиновий Васильевич забеспокоился:

— Не надо с Миколкой. Иди один.

— А все-таки лучше с Миколкой. Жизнь есть жизнь: не станет меня — дите заменит. И когда заждит, то добраться туда сможет только подросток.

— Не знаю, что и сказать на это.

— Ничего не надо говорить. Миколка тоже собирается биться с фашистами: уже две винтовки с патронами есть.

И в это время из полуоткрытых дверей послышался тихий шепот:

— Уже три, тату. Третья — немецкая.

Стах возмутился:

— Третья!.. Как тебе, сыну, не стыдно подслушивать нас?

Миколка начал оправдываться:

— Тато, я и не думал подслушивать. Я хотел хоть немного побыть с Зиновием Васильевичем... Честное пионерское.

Сагайдак грустно улыбнулся.

— Иди сюда, Миколка. Почему же ты хотел побыть со мной?

Мальчик тихонько, виновато переступил порог и стал возле него.

— Я думал, Зиновий Васильевич, спросить вас: не понадобятся ли мои винтовки?

— Понадобятся, сынок, еще как понадобятся. — Военком положил руку на Миколкину кудрявую голову и загрустил. Никому бы не знать этих войн! Да не минуют они ни старых, ни малых. — Сагайдак протянул руку Стаху: — А теперь прощайте.

— Куда же вы? — с тревогой спросил Стах.

— Искать своих да что-то делать.

— Так вот-вот забрезжит рассвет. Перебудьте у нас.

— До утра еще проскочу в леса.

— Смотрите. Душе виднее, чем глазам.

Сагайдак попрощался с Миколкой, Оксаной и за Стахом вышел из хаты. Уже на пороге про себя с удивлением сказал:

— Это ж подумать — Миколка три винтовки нашел.

— Тут, верно, есть и моя вина,— прошептал Стах.

— Какая?

— Вот сейчас.

Стах обошел подворье, постоял у ворот, потом подошел к Зиновию Васильевичу и повел его в клуню. Он долго возился возле дверей, которые были закрыты на два засова.

— Не золото ли прячешь в клуне? — усмехнулся Сагайдак, входя в настой лугового сена и снопов.

— Увидите, — коротко ответил Стах и начал разбрасывать снопы, что в беспорядке лежали на току. Потом он взял за руку Сагайдака. — Вот потрогайте.

Сагайдак дотронулся до металла и не поверил себе:

— Что это, Сташе? Неужели пушка?

— Она, правда, маленькая, да большей не нашел. Притащил на всякий случай. Думаю, не пригодится вам, так пригодится мне.

— А для чего же тебе?

— Разве нельзя выждать удобный момент и ударить из нее по какой-нибудь машине или по колокольне, которую осквернили полицан?

— А стрелять ты умеешь?

На это Стах рассудительно ответил:

— Если есть из чего стрелять, то найдется и кому стрелять.

— Спасибо, Сташе! Твоя пушка очень пригодится нам.

Сагайдак один вышел на подворье, огляделся во круг. На востоке у самого горизонта пробивался уже из темени ночи рассвет, и нигде ни шороха — даже вода в броде заснула, только еще более резкими стали запахи татарской травы, матиолы и увлажненной ржи с ее вдовьей грустью.

Выскользнув на улицу, он осторожно пошел понад тынами, что держали над собой росистые платки вишен и золотую стражу подсолнухов. И вдруг Сагайдак остановился: у самых ворот Гримичей увидел женскую фигуру. Не Олена ли Петровна высматривает своих близнецов? Так оно и есть. Он подходит ближе, тихо здоровается с женщиной, а та в мольбе и надежде раскрывает трепетные ресницы, под которыми слились и боль, и печаль.

— Зиновий Васильевич, не видали моих Василя и Романа?

Это было так сказано — не голосом, а исстрадавшейся душой, — что не отважился Сагайдак еще больше опечалить женщину.

— Видел, Олена Петровна.

— И когда? — даже застонала и потянулась к нему.

— Вчера.

— Живы-здоровы? — тревожится женщина.

— Живы-здоровы, Олена Петровна. Идите и отдыхайте.

— Какой теперь отдых? Спасибо вам, дорогой человек... Спасибо.

Вот и получил благодарность за вранье.

— А как дядько Лаврин?

— Утешает меня, а сам тоже грустит и от печали или причуды собирается раскапывать старый курган.

Сагайдак быстро прощается, идет приселком, а в ушах еще долго-долго звучат горестные слова женщины.

За приселком, недалеко от шоссе, тихонько поскрипывал старыми крыльями ветряк, словно жаловался полям на одиночество — покинули теперь его и мельник и помольщики. Хорошо, что хоть тут не угнездилась полиция, как угнездилась с пулеметом на колокольне, днюет и ночует там воронье — так приказал жандармский начальник.

Уже совсем рассвело, когда Сагайдак вошел в леса, что по колени стояли в тумане. Леса, леса! Сколько же вы спасли людей в гражданскую и сколько спасете теперь! Из ваших зеленых глубин выйдем и ударим по врагу, ибо скорбь скорбью, а борьба борьбой. Скорее же за святое дело, чтобы сгинуло грешное!

Он перебирает в памяти имена тех, к кому навещается на днях, с кем пойдет в первые засады, а сам все больше и больше начинает волноваться: приближается к тому глухому месту, которое он облюбовал для партизан. Найдет ли кого-нибудь из них? Близнецы должны быть тут. Да и Петро Саламаха...

Что-то треснуло впереди. Сагайдак выхватывает из кармана пистолет, приглядывается к зарослям, откуда послышался треск, и вскоре замечает корову, что пасется неподалеку от того ручейка, который должен был поить водой его отряд. Вон другая корова, третья. Откуда же они взялись в этой чаще? Еще несколько шагов, и он видит седую охалку бороды, коренастую фигуру и широкую, до ушей, улыбку Михайла Чигирина, что стоит в утреннем тумане, как добрый сон.

— Михайло Иванович?! — не верит своим глазам Сагайдак.

— Угадали, Зиновий Васильевич! — Движением широких плеч старик сбрасывает кирею и спешит навстречу командиру.

Они бросаются друг другу в объятия, целуются и улыбаются.

— Наконец дождались вас. Чего только не перedomали, — радость звучит в голосе Чигирина. — Вашу конспиративную хату сожгли каратели.

— А что с Ганной Ивановной? — с тревогой спрашивает Сагайдак.

— Ее не было дома, вот и осталась живой.

— Как вы тут?..

Старик становится сосредоточенным и даже немного торжественным.

— Пока помаленьку, не торопясь. Вот стадом и тремя парами коней да тремя возами разжился. И санки одни есть.

— Санки? — не поверил Сагайдак.

— А чего ж, зима еще придет, — спокойно ответил Чигирин. — Также восемь цинковых сундучков с патронами захватили. А из села притащил пилу, три топора, несколько мисок и немного муки, ведь и есть что-то надо. Коржи печем, а хлеба нет. Да и с солью

туго. Непременно надо наведаться к немцам на продовольственный склад.

— Кто из наших прибыл? — и Сагайдак замер в тревоге.

— Первыми, известно, Гримичи прилетели. Вот уж сорвиголовы — настоящие партизаны. Они где-то и пулемет «максим» добыли, они же и Кундрика порешили. Только после этого два дня ничего есть не могли — все мутило хлопцев. И Петро Саламаха вырвался из лап полицаев. И Мирон Бересклет с младшим братом вчера пришел, с тем, что в окружение попал. Боевой, не с пустыми руками, а с немецким автоматом явился. Это надо понимать... Все мы так вас ждали.

— Не упали духом наши хлопцы после того, что произошло?..

— Как вам сказать? — задумывается Чигирин и еще больше становится похожим на гриб боровик. — Горестей у нас много, а ненависти еще больше — все хлебнули лиха. Пошли будить партизанскую семью?

— Подождем немного, подумаем, как новый день встретить.

Лицо старика прояснилось: он сразу догадался, какой у них будет разговор, — и все равно потихоньку спросил:

— Что будем делать?

— Дракону зубы рвать! С корнями!

— Зуб зубу неровня: есть передние, есть и коренные, — хитро щурится Чигирин. — Так с каких начнем?

— С передних! Надо подбить хоть какую-нибудь вражескую машину, как только вырвется вперед. У всякого дела должно быть начало.

— Верно! — охотно соглашается Чигирин. — Надо, чтобы люди услышали о нас... Вот пойдемте посмотрим, какую мы землянку сделали, даже кое-какую печку слепили. Теперь и о бане, и о конюшне надо подумать.

На эти слова Сагайдак только усмехнулся: кто бы, слушая о хозяйственных хлопотах Чигирина, мог подумать, что в гражданскую войну он был грозой контрреволюции?.. А как однажды он обманул Skoropadchikov! Когда метель под самые крыши занесла хаты, Чигирин из лесов приехал к своей Марине. Кто-то выследил его, донес в державную стражу, а та всей сворой влетела в село, чтобы наконец живьем взять партизана. Только домчали они к подворью Чигирина, так тот с гребня хаты швырнул в них несколько гранат, а потом с другой стороны вырвал из кровли десятка два снопиков соломы и сбросил на землю, свел по ним с чердака коня, вскочил на него и подался в леса. Сколько тогда разговоров было в селе, а кое-кто никак не мог поверить, что без нечистого можно было спрятать на чердаке коня.

Со временем кое-кто из суеверных, набравшись за чаркой смелости, спросил об этом Чигирина. А он, пригасив усмешку, так начал отнекиваться, что всякому стало ясно: он знаком с теми, кто за плотиной и в болоте сидит.

— Расскажи, Михайло, все начисто, как было, — чуть не со слезами попросил страшно верующий во всякую чертовщину Гнат Кирилец. — Пособлял тебе хоть немного нечистый?

И тогда Чигирин, оглядевшись вокруг себя и нагоняя страху, зашептал:

— Пособлял, Гнат. И не один, аж двое их было тогда: один возле крыши возился, а второй, постарше, подлез под коня, взял его на плечи и, задыхаясь и валясь с копыт, потащил на чердак. Думал, надорвется нечистая сила, но и до сих пор не надорвалась...

Забывая лесная просека, где между колеями дружно поднялась шелковистая трава, а в ней нашли приют ромашки, деревьев и тысячелистник. Сквозь деревья на дорогу падают предвечерние солнечные блики, а даль так и играет чистым барвинковым небом. И нигде ни души.

Но вот на просеку выскакивают тачанка и две подводы. На тачанке рядом с близнецами сидит Сагайдак, на подводе правит лошадьми невозмутимый Саламаха, а позади с братьями Бересклетами — седой и мудрый Чигирин. Старыми узковатыми глазками он первым замечает между деревьями какую-то фигуру, неторопливо прикладывает к плечу винтовку и тут же опускает.

— О! Да это же Гордий Горбенко! — узнает Чигирин своего старого знакомого.

Теперь все замечают старика, а он с кувшином в руке смущенно подходит ближе к просеке, чтобы не подумали о нем недоброго.

— Дед, чего бродите тут? — соскакивает с тачанки Сагайдак.

— Лес большой, вот и брожу. — И уже приветливо улыбается Чигирину: — Добрый день, человеке.

— И тебе добрый. Землянику собираешь?

— Да нет, перевозил в село Магазишниково добро, а вам, оглашенным, тайком сбросил мешок соли, — может, пригодится.

— Вот спасибо, Гордий. Где же она?

— Шагах в двадцати от вас, под теми тремя березами, что из одного корня выросли.

— Дед, откуда же вы знаете и о нас, и о соли? — удивляется Сагайдак.

— Потому что на этих днях я с Михайлом Ивановичем встретился в лесах, когда он еще один на бесхлебье да на бессолье пас коров. Вот и бывайте здоровы.

Чигирин дотронулся рукой до плеча Горбенко:

— Гордий, а ты не сможешь раздобыть для нас коней, чтобы были словно ветер?

— Помозгую.

Партизаны прощаются со стариком и трогают коней. Кто только вернется из них, ибо что может сделать эта горсточка смельчаков против нашествия Гитлера? Да, видно, по доброй воле идут на смерть.

Старик, грустно покачав головой, поворачивает к

жилищу Магази́нника, а партизаны направляются к опушке леса, ближе к той дороге, которая через каких-то полтора-два километра выходит на шоссе; туда теперь не сунешься — там и камень утомился от чужого железа, на дороге же можно подстеречь одну-другую машину. Тут не столько едут войска, сколько шныряют любители чужого добра.

Возле густого березняка, что островком подходит к дороге, партизаны останавливают коней. Гримичи много снимают с тачанки «максим», пристраиваются возле него в ложбинке, а слева и справа залегают братья Бересклеты и Чигирин. Все это делается в полной тишине, словно не люди, а тени упали на землю. Первый урок получили побратимы. Жаль, что так мало у него бойцов.

Сагайдак подсаживается к близнецам.

— Все чин чинном, — шепотом успокаивает его Роман, — патроны подравняли, чтобы не было перекоса...

— И вода в кожаном ключевая — хоть сам пей, хоть гостей угощай, — скрывая волнение, усмехается Василь.

Хороши хлопцы, не зря он взял их в отряд. Обойдя всех, Сагайдак подходит ближе к дороге, что одной стороной притерлась к лесным теням, а другой — к задумчивым колоскам, и прислушивается, как уходит день. Попадется ли кто-нибудь?..

И, словно отвечая на его мысли, на шляху закружилась пыль. Сагайдак подносит к глазам бинокль. Нет, это не те, кого он ожидает: по дороге трусят низкорослые лошаденки, а на возу подсакивает несколько ржаных снопов и сидит чернявая молодница, в одной руке у нее вожжи, а другая придерживает возле груди младенца. Вот уже и плач его слышен. А мать, склонившись, то агукает ему, то понукает неторопливых лошаде́нок, которые тянутся к колосьям. Вот молодница придерживала гнедых, прижала к себе младенца, и этот бедный сверток, припав к груди, сразу успокоился, а на смуглом лице матери мелькнула печальная улыбка, да тут же и исчезла — сзади заурчала грузовая машина.

Партизаны прикипели к земле, пулемет и винтовки повернули на цель.

— Отставить! — тихо приказывает Сагайдак: ведь впереди едет мать с ребенком — пусть до самого твоего дома, пусть всю жизнь шумит тебе пшеница. И вздыхает: если бы оно так было в этом мире, в котором не всем хватает разума для жизни...

Машина, выбрасывая из-под себя клубы пыли, обгоняет воз. Из окна кабины высовывается голова немолодого солдата, он машет рукой женщине, на ходу что-то весело кричит ей и исчезает, не подождав, кто сейчас спас его от смерти.

И снова тревожное и напряженное ожидание. По капсельке дремотно вырастают тени, по капсельке дремотно течет время, по капсельке точат душу сомнения: надо ли было пропускать ту, первую, машину? Наверное, не надо.

Уже сумерки из леса наплыли на поля и погасили багрянец пшеницы, когда на дорогу горделиво, красуясь своей щеголеватостью, выскочил новенький,

словно только что родившийся «дюэзберг». Какого высокого чина убаюкиваешь ты на пыльном подольском шляху? Не того ли барона, что приехал мерить тучный чернозем для своего имения?

Вот она и наступила — первая встреча с врагом. Ты, как клещ, вгрызаешься в чужую землю — так ее отмерят тебе!

Когда машина почти поравнялась с Сагайдаком, он махнул рукой близнецам. Роман сразу так нажал на гашетки, что даже пальцы побелели. Задрожал пулемет, задрожал и пулеметчик, бешеными мотыльками вокруг дула заметался огонь.

В машине зазвенело стекло, и, неестественно крутнувшись, она с дороги влетела в пшеницу и остановилась.

Хлопают дверцы, из них опрометью выскакивают двое военных в черном и толстяк в штатском. Он, как пловец, вытянув руки, ныряет в пшеницу, а военные, быстро сориентировавшись, привычно прикладывают к животам автоматы и веерами вгоняют очереди в лес, из которого выбегают партизаны. Еще две очереди, затем свист пуль, перестук «максима» и отчаянный вскрик падающих гитлеровцев. Чигирин первым наклоняется к убитому, поднимает перегретый автомат и видит, как у вояки ниже ломаных молний на петлицах медленно стекает кровь.

А штатский все еще, будто утопающий, барахтается в пшеничных волнах и не может выбраться. Но и он, истошно завопив, клонится, оседает в колосах, а руками намертво зажимает две горсти пшеничных стеблей.

— Вот и есть начало! — говорит Сагайдак, медленно подходя к убитому, и покачивает головой: надо же было тебе из-за этих двух горстей пшеницы тащиться в такую даль...

Партизаны, кроме близнецов, оставшихся около пулемета, бросаются к машине, где, свесив голову, лежит, тоже в черном, водитель. Лынящая чуприна закрыла его лицо, закрыла для него мир. Саламаха из-под носа у Ивана Бересклеты выхватывает новенький парабеллум, что лежал на переднем сиденье.

— Нечестно так, — недовольно говорит Бересклет и вытягивает из машины огромный, с медными замками, портфель. — Меняю не глядя.

— Нашел глупее себя. То кусок разукрашенной кожи, а это оружие!

— Что же в нем? — не терпится младшему брату Максиму.

Иван щелкает замками, достает плотные, с гербами, бумаги и удивляется:

— Смотри, баронские! И духи есть, французские!

— Скорее в лес! — торопит Сагайдак.

На небе прорезается вечерняя заря, и вечер не торопясь начинает кропить росой землю. И сегодня, впервые за все эти дни, Сагайдак чувствует какое-то облегчение и от вечерней зари, и от росы, что и теперь не забывает обездоленную землю. Что ж, начало есть начало, теперь должен думать о боль-

шем. Людей, людей надо собирать. А где достать мины, взрывчатку, детонаторы? Тогда и черный **влях**, и железную дорогу можно было бы взять под партизанское наблюдение.

— Скорее, хлопцы, в лес! — торопит Сагайдак.

— Хотя бы машину осмотреть и что-то решить с нею, — с сожалением говорит Саламаха.

— Может, на баронскую кожаную подушку позарился? — насмехается цыганистый Иван Бересклет.

— Мне и на торбе с травой хорошо спится.

Партизаны влетают в лес, где их нетерпеливо ждут Роман и Василь. Саламаха великодушно протягивает им флакон с духами:

— На двоих. Французские! Именно вот такие и любили в нашем селе.

Близнецы пренебрежительно отмахиваются от духов, хватаются за пулемет и вмиг забрасывают его на тачанку.

— Молодцы, хлопцы, хорошо поработали! — хвалит их Сагайдак, прислушиваясь к онемевшей дороге. — А сейчас правьте к вашему приселку.

— Это ж зачем к приселку? — забеспокоился Чигирин и бросил взгляд на звездное небо. — До утра не успеем заскочить в леса.

— Должны опередить время и успеть! — твердо говорит Сагайдак.

— Зачем же такая спешка?

— Из приселка надо прихватить пушку, а то, чего доброго, ее хозяин сам начнет попусту тратить снаряды. А нам они вот как нужны. Завтра гитлеровцы будут заняты похоронами барона, послезавтра непременно нагрянут в леса.

— Да, наверняка полезут, — соглашается Чигирин. — Тогда пушка и пригодится нам. Хотя бы для переполоха.

— Вот и я думал о переполохе, — насмешливо хмыкнул Сагайдак.

— По коням!

— Разрешите нам махнуть вперед! — молодецки вытянулся перед командиром Роман Гримич и кивнул на Василя: — Мы знаем, в чьей клуне ночует та пушечка, вот и прихватим ее до вашего приезда.

— Мотайте! — залюбовался парнями Сагайдак и словно увидел свою молодость в червонном казачестве. Эх, пролетели твои весны, и уже седина, как спелое жито, ниспадает на глаза. А кажется, и не нажилась... Нашел время для грусти. Фашиста надо бить! Еще Геродот писал о скифах: «Ни одному врагу, напавшему на их край, они не дали спастись». Вот так-то.

Через минуту ударили копыта, заскрипели колеса, замелькали гривы коней, и партизаны под Чумацким Шляхом помчались к броду.

Обогнав всех, не выехала — вылетела тачанка близнецов, которую партизаны прозвали колесницей Ильи-пророка.

— Вот едут, даже оси горят! — позавидовал Иван

Бересклет. — Не я буду, если не разживусь такими лошадьми! Слышишь, брат?

Теперь Сагайдак и Чигирин, свесив ноги с грядки, сидят плечом к плечу на возу невозмутимого Саламахи и вполголоса советуются, как им послезавтра встретить врага.

— Дорогу к лесу надо заминировать, — говорит Сагайдак.

— Да, надо, — соглашается Чигирин и кресалом высекает из кремня огонь. — Только чем?

— Хотя бы обманом, — подсмеивается Сагайдак. — Как ты на это?

— Обманом? — взвешивает и в мыслях, и рукой это слово Чигирин. — Сколько мы знаем друг друга, не слыхал от тебя об обмане. Говори, что придумал.

— Сделать видимость, что дороги заминированы.

— И это дело при нашей бедности, — не торопит Чигирин и снова высекает из кремня искры. — Какой вечер хороший.

— Славный. Земля и небо дымят, а звезды светят.

— Да, светят, — даже вздохнул почему-то Чигирин. — А житечко осыпается. И доля чья-то осыпается... С чем только послезавтра столкнется наша судьба?.. — словно сам с собою беседует он. — Три дороги ведут к лесу. По двум не везде пройдут машины, значит, пойдут они по средней. Вот там, возле впадины, притаившись в лесу, и встретить бы фашистов.

— Как совпадают наши мысли, — будто удивился Сагайдак. — Рисуй дальше картину.

— Рисую. Каким-нибудь пеньком «минируем» дорогу, протянем пару проводочек, — кто будет ехать, остановится. Потом, может, и столпятся все возле нашей выдумки, а мы из засады и чесанем, чем сможем. Главное тут — внезапность. Вот и выбрал я наилучший вариант.

— А второй какой? — повеселели глаза Сагайдака.

— Снова надо внезапность брать в союзники. Не остановятся фашисты возле нашей «мины», пропустим их вперед и ударим с тыла. А пока они придут в себя, скроемся в лесах. Вот и ищи ветра в поле. Какую же ты пушку нашел?

— Малого калибра.

— Может, даже придется подпустить фашистов к нашему копей-городку и там их накрыть огнем, — тихо сказал Сагайдак, а сам подумал: «Какое несоответствие между этим вечером и послезавтрашним, который унесет не одну жизнь...»

Перед самым приселком близнецы придержали своих златогривых, по теням деревьев и колодезных журавлей подъехали к Оксаниной хате. Василь на ходу соскочил с тачанки, сразу же шмыгнул во двор, обошел дом с торца и постучал в окошечко боковушки. Вскоре из него высунулась взлохмаченная голова Стаха.

— Не досмотрели сна, дядько? — тихо засмеялся парубок.

— А-а, это ты, ветровей! — усмехнулся человек. — Чего тебе на ночь глядя?

— Одолжите, дядько, свою пушку, мы на ней сыграем польку фашистам.

— Тоже мне музыканты! Сагайдак прислал?

— Эге ж. Так где ваша Василиса Прекрасная? В сене или в соломе?

Стах покосился на двери боковушки, из оконца выскочил в огород и осторожно пошел с Василем в старую клуню. Раскрыв ворота, они быстро освободили пушку от соломы и уже вместе с Романом выкатили на подворье. Тут Стах посмотрел в даль, освещенную лунным светом, и вздохнул.

— Чего вы, дядько, загрустили? Жаль чужое добро отдавать? — приснул Роман.

— Вот бы сейчас, хлопцы, из этой бандуры ахнуть по тем полицаям, что на колокольне засели! У Романа сразу же загорелись глаза.

— Вот и ахнем прямой наводкой! Не пожалеем выроек! — И даже на цыпочки поднялся, всматриваясь в колокольню.

— Жаль только колоколов, — тоже поглядел вдаль Василь.

Неожиданно их остановил голос Оксаны, что неведомо когда вышла из хаты и притаилась в вишняке:

— Что у малого, то и у старого — один ум. А вы подумали, что потом из-за каких-то двоих придурковатых полицаев весь приселок сожгут дотла?

— Вот так, — сокрушенно сказал Стах. — И почему ты не спишь?

— Эге ж, эге ж, — закивали губами близнецы.

Потом Роман широко улыбнулся Оксане:

— Это ж мы, тетушка, пошутили, а вы уж и переживаете. — И начал носовым платком вытирать утомленным коням вспотевшие уши.

— И я так подумала, что вы шутя запруду делаете, — насмешливо ответила Оксана и вышла из вишняка.

Когда на подворье появились Сагайдак и Чигирин, близнецы предупреждающе подняли на нее глаза.

Оксана молча кивнула им головой.

— Какая вы, тетушка, хорошая, — благодарно шепнул ей Роман.

Женщина только вздохнула, поглядела на колокольню, и тени давних лет подошли к ней.

Сагайдак, осматривая пушку, погладил ее руками, проверил замок и тихо сказал ей:

— Выручай.

После этого слова даже близнецы притихли, ступив на межу перед своим первым боем. Каким только он будет? Они не пожалеют свинца для фашистов, а те не пожалеют его для них.

— Чего вы, хлопцы? — словно заглянув в их души, опечаленно спросила Оксана.

— И какая же вы, тетушка, хорошая, — понял ее печаль Роман.

— Хоть к матери на минутку заскочите.

— Теперь некогда, рассвет начал сеять утреннюю росу.

А в это время в лесном жилище Магазанника стол ломился от яств и вин. Да почему-то тревога все сильнее и сильнее сковывала лица Безбородько и крайсландвирта. Сначала они только бросали взгляды на окна, а теперь не сводят с них глаз. Но безмолвствует под июльскими звездами лес, лишь в хате тихо потрескивают в подсвечниках зеленые с золотой спиралью восковые свечи. Магазанник заменяет их новыми и думает: не поминальными ли станут они, как и эта вечеря? Никто не знает, кому теперь придется кланяться, не жалея загровка, барону или сырой земле.

XII

На хуторе догорает летний день, а вокруг гаснут бронзовые поля перзрелой пшеницы.

Из леса в широких киреях выходят вечер и туман. Они останавливаются на опушке и думают: куда бы это пойти? Потом туман сворачивает налево и сивым дедом бредет по долине к ставку, а вечер крадется к хутору, чтобы послушать, как, заблудившись в вишняке и гречихе, затихают одинокая хата и ульи. Вот здесь он верным любовником дожидается ночи, подарит ей перстень луны и исчезнет в вербах да ивняке над ставочком, возле которого пара лошадок, раздвигая кусты калины, блаженствует в молоденькой отаве и настороженно замирает, когда небо наполняется гулом бомбовозов.

С пасеки к жилищу идет старый Гримич. Медовый цвет гречихи ласкает его отяжелевшие руки, снимает и не может снять усталость. Что ни говори, а от старости и на ярмарке не избавишься — нет покупателя на нее. Вот только девчата теперь хотят постарше выглядеть, чтобы не впивались в них злые буркалы.

Возле новой, с отесанной корой, изгороди пасечник останавливается, и под его кустистыми бровями сразу яснее глаза: из вишняка навстречу ему появилась та непоседа, та метелица, тот щебет, та усмешка и насмешка, что зовется Яринкою. Вот какую внучку послала ему доля, да не угадала, когда ей появиться на свет. Старик невесело улыбается Яринке и говорит только одно слово:

— Завечерело.

— Завечерело, дедушка, — повела черными бровями, меж которыми трогательно дрожат ямочки. Ишь где нашли себе местечко. — Вы пчелу вытряхните из бороды.

— А она мне не мешает. — Однако обеими руками шевелит седую чашу, и из нее с жужжанием освобождается пчелка.

Над понишкой хатой, овдовевшей теперь, пролетают черные крестики диких уток и падают на ставок; сначала крылья звонко бьют по воде, затем затихают, и уж потом тремя нотами прожурчит ручей, что из леса течет в ставок и вытекает из него, касаясь ножек незабудок и чистяка.

— Печалишься, дитя? — кладет старик руку на плечо Ярине.

— Журюсь, — вздыхает девушка, что притихла теперь, словно она — и не она.

— Шла бы себе домой, пока не наступила полуденная пора.

— Там тоже нет утешения. У матери даже глаза от слез распухли.

— По слезам да по крови теперь пошло время. А для скольких оно уже остановилось...

Ярина смотрит на дедуся, прикидывает к нему головой и не знает, что сказать. А тот, уходя от тяжелых мыслей, говорит уже о будничном:

— Ты, может, и вечерю приготовила?

— Приготовила, а как же.

— Вот и пошли. — И старик медленно идет к хате.

Там, возле завалинки, на вбитом в землю столбике накрыт столик, на нем свежая паляничка, мед в кувшинчике, тарелки и ложки. Яринка выносит из хаты завернутый в полотно горшок и быстро разливают по тарелкам галушки, от которых идет пар.

— Хорошая вечеря. Вот если бы бог послал еще и доброго гостя, — садится дед к столу.

Девушка снова вздохнула. Сколько к ним раньше приходило добрых людей, сколько хороших разговоров, и смеха, и пересмешек, и песен кружило над широким ясеневым столом. А когда хмель разбирал отцовскую компанию, она огородам кралась к татарскому броду, где ее на челне ожидал Ивась Лимаренко. Где он теперь, в эти черные дни? Не раз она по вечерам выбегала к броду, да не было на нем ни вербового челна, ни яворового весла, с которого так певуче скапывала вода. А глупое сердце все ждет и ждет и челн, и весло, и те кудри, что падали на ее плечи. Неужели это было? Или только виделось во сне?.. Ой, броне татарский...

Старик, положив ложку, дремотно смотрит на внучку, покачивает головой:

— Не знаешь, что делать с собой?

Ярина даже вздрогнула: будто в самую душу заглянул дедуся, ибо не знает она, ох, не знает, что теперь делать с собой. Можно бы и ей спрятаться на хуторе, до которого еще не дотянулась лапища войны, можно, присматривая за дедусем, тишком сидеть на пасеке или в ивняке возле ставка и засыпать под жужжание пчел и бомбовозов. Но разве это жизнь? И разве только о себе думает она? Сказала братьям, чтобы взяли ее в леса, так они сначала хохотали до слез, а потом пояснили, что у них нет там ни детсада, ни гуляний. Тогда она в сердцах прикрикнула на них, а сама побежала к Мирославе и у нее выплакалась вволю. И хотя она и обиделась на братьев, да все равно ждет не дождется их. Может быть, поумнеют они? Улыбнулась, снова загрустила и сквозь тишину, что даже звенела в ушах, услышала вдали, как шлепнуло весло. Предчувствие или что?

На ставке встревожились дикие утки, зашелестели крылья, потом на стежке послышались чьи-то чаги. Только чьи?

— Иди, Яринка, за омшаник, а то кто знает, кого принес вечер.

Девушка проворно убрала со стола свою тарелку и ложку и исчезла в сумерках, а пасечник все еще спокойно вечерял, покачивая заснеженной головой. Какие только вьюги не обрушивались на эту голову, да не выветрились из нее ни чуждости, ни гордости, — одни их ненавидят, а другие побаиваются.

Распахнув калитку, на подворье не вошел, а вбежал человек с винтовкой.

— Здравствуйте, дед Ярослав! Здравствуйте вам! — затараторил человек, засеменил к столу, заглянул одним глазом в тарелку, и его лицо хитренького черта прояснилось. — Наварили галушек на три пяди в длину?

— Это, Кирюша, может, у вас в полиции такие варят галушки, а у нас обычные щипанцы, — тихо ответил старик, не глядя на полиция.

— А кто же их щипал? Не Яринка? — И Кирюша во все стороны бросает взгляды, в его буркалах мечутся мельчайшие, как головастики, зрачки. — Вот с кем бы я хотел поговорить.

— Не трогай ее, она теперь не расстается с печалью.

— А может, я и развеселю ее каким-нибудь кругленьким словом? — потирает он руки, но лицо его отражает неуверенность.

— Жаль твоего времени, Кирюша, — словно чувствует ему старик. — Вот лучше садись к галушкам.

— И сел бы на дармовщину, да уже вечерял, — надулся Кирюша, а глазами снова зыркает по всем углам. — Это уже из муки нового урожая?

— Из нового. На жерновах немного растер пшеницы, а то окаменели теперь и ветряки.

— Уродило же в этом году, — немного смягчилось лицо полиция, на которое надвинулись острия ушей.

— Уродило, да радости нет. Как твоя новая служба?

Кирюша собирает морщины на лбу и не знает, бодриться ему или сказать так, как есть. Наконец машет рукой и говорит правду:

— Ко всем чертям такую службу. Сегодня, к примеру, был у нас двойной мордобой — и от начальника полиции, и от крайсландвирта.

Пасечник ресницами прикрывает глаза.

— И кто же лучше мордует?

Кирюша не улавливает насмешки и со злостью отвечает:

— Крайсландвирт! У него руки в кольцах с драгоценными камнями, а бьет наотмашь, вот и оставляет на наших рожах дорогие следы. А потом при нас вытирает камушки носовым платком. Культура! — Он повел плечом, на котором висела винтовка. — Так что нечем похвалиться мне.

— Эге ж, — соглашается старик, — даже черт не хвалится рогами.

Кирюша встрепенулся: не насмеются ли над ним? Вроде нет, только кто разберет этого деда? И в старой печи огонь тлеет.

— Дед, только о моей службе никому ни звука... А как вы посмотрите на то, чтобы... одолжить мне какой-нибудь бочоночек меда? Люблю сладкое де-

ло,—поворачивает голову к ульям, что и сейчас звучат пчелиным гудением.

— Не рассчитывай, Кирюша, на этот мед, у него есть хозяин. Лучше сходи в лес и поищи там дикую борть.

— Это ж почему в лес? — оторопел Кирюша. Он сразу вспоминает, как убежал от партизан, и по его спине змеится страх. — Разве ж у меня три головы на плечах?

— Чего не знаю, того не знаю,—рассудительно отвечает дед. — Раньше у тебя была одна голова, а теперь, как пошел ты в полицию, не знаю, чем там разжился.

— Разжился девятьюстами марками, что лежат недалеко от смерти. — Печаль и досада пробежали по лицу Кирюши и смыли с него всю хитроватость. — Никогда еще не было такого кровопролития, как теперь.

— Так зачем же ты записался к тем, кто нашу кровь проливает?

— Приневолители, дед, приневолители.

— У кого нет своей воли, того приневолывают,— снова будто спокойно говорит старик, а Кирюша склоняет голову — что-то и в ней тревожное блуждает, — потом искоса глянул на свою полицейскую повязку, подергал ее, проклятую, скривился.

— То-то и оно, — сам себе говорит Гримич, и Кирюша чувствует и свою провинность, и приговор над собой.

— Ваши внуки умнее — подались в леса, а меня подвела безвыходность.

— Кто куда пошел, я не знаю. Теперь у людей дорог вроде больше стало, а жизни и хлеба меньше. Каждый по-своему зарабатывает хлеб — кто насущный, кто кровавый. — Пасечник поднимается с завалинки, идет к амбару и выносит оттуда небольшую, ладно запечатанную долбленочку. — Бери, Кирюша. Это из моего улья.

Теперь темные сжатые губы Кирюши улыбаются.

— Умные вы, дед, да все равно не умеете жить на этом этапе. Я на вашем месте такую бы сладкую развел коммерцию, что святые Зосим и Савватий в самом раю позавидовали бы мне.

— Тогда становись на мое место, а мы посмотрим на твою торговлю и барыши.

Кирюша неодобрительно хмыкнул, глянул в лес, кивнул головой старику и, размахивая долбленочкой, словно кадиллом, засеменил со двора.

К дедушке подошла Ярина:

— Чего приходил этот собачник?

— Кто его знает? Зацепился за меня, а думал о тебе. Очень хотел встретиться.

— Пусть он с лихой годиной встречается.

В далеком поле неохотно поднимается еще дремотный месяц и начинает выбеливать облака, что уснули на краю земли. В стороне снова нутно загудели бомбовозы, а возле ставка заржали кони.

— Иди уже, дитя, домой.

— Почему вы меня гоните? Может, кто-то должен прийти к вам?

— Не прийти, а приехать.

Ярина встrepенулась:

— А кто — тайна? Уже и со мной вы начали скрытничать. Может, партизаны?

Старик смотрит на луну и неохотно отвечает:

— Не такая и тайна для своих, но тебе не надо быть здесь. Приедут люди вывозить ульи. Завтра на пасеке не останется ни одного пня. Теперь поняла, что оно и к чему?

— Не совсем.

— Беда принуждает что-то делать. Вот и отдам ульи под расписку надежным людям, а когда вернутся наши, тогда снова соберем пасеку. Вот и все мои тайны.

— А вам за это ничего не будет?

— Поживем — увидим.

— Ой...

Яринка обеими руками обхватила дедуся, прижалась к нему.

— Чего ты, маленькая? — большой рукой прикрывает ее плечо, на котором дремлет вышитая калина.

— Берегите себя, дедуся.

— Постараюсь. Хотя и хорошее место облюбовал себе на кладбище, да не очень тороплюсь туда. Беги, вон уже в долине подводы скрипят. Это ко мне.

Когда Яринка выбежала на стезжку, что вела к приселку, пасечник вынес из хаты тетрадь и карапаш, потом засветил самодельную свечку, прилепил ее к столу и стал терпеливо ожидать гостей. Пусть развезут они пчелиную семейку, чтобы не погубили ее песиголовцы. Надо не забыть окропить водой тех пчел, которые ночуют в летках. В зной и насекомым хочется быть на дворе. Учинит ли завтра скандал Магазанник или притворится, что ничего не заметил? И хитрый, и сметливый, и даже умный он, да рубль раскроил и ум его, и душу.

Старик не спеша идет на пасеку, чтобы попрощаться с пчелами. Что ни говори, а печали без них больше. Гречиха снова касается его натруженных рук, а усталость забрела в самое сердце и качает его, как поплавок. С подворья уже слышится тревожный зов:

— Эй, дед, вы живы?

«Тоже мне вопросик. Хотя никогда не мешает проверить, живой ты или нет».

Возле самого хутора заскрипели колеса, как скрипели они ему всю жизнь. Он и сам умел их делать — и из ясеня, и из дуба. А березовые спицы и ступицы вымачивал в колоде, над которым стояла яблоня, потому вода весною пахла березовым соком, а осенью — яблоками.

И снова курлыкнули колеса. Старик оглянулся, но не увидел ни коней, ни подвод, только возле хаты мерцал ответ одинокой свечи...

Добежав до приселка, Яринка остановилась возле своих ворот, прислушалась к хате и к клуне — не стоят ли там кони, — а потом пошла к броду; в глупине его купались месяц, звезды и печаль.

Съежившись, опустилась на вербовый пенек, думая все о том же: как им с Мирославой попасть к Сагайдаку? Или он послушается братьев? Вот если бы

в отряде был Ивась Лимаренко, тот бы заступился за нее. Где он теперь, в какой стороне?

И вдруг на татарском брое послышался всплеск весла. Кто это такой поздний?! Она вскочила на ноги, не снимая обуви, вошла в воду, всматриваясь в синюю даль и синюю воду, в которой когда-то у берега ладонями ловила свою звезду. Снова всплеснуло весло. Нет, Ивась не так гребет. Но что это? Неужели его челн? Или только кажется? Нет, так и есть, Ивась! Но почему всплеснуло, а не выпевает или не вздыхает весло? Вот челн скрылся в камыше, вот появился недалеко от нее. Теперь видно — в нем сидит не Ивась, а незнакомый парубок. Ярина торопливо вышла на берег, и тут ее догнал тихий голос:

— Подожди, девушка. Не бойся.

Она остановилась, челн, раздвигая осоку, уткнулся в берег, а из него высочил чернявый, стройный, с изогнутыми бровями парубок и дружески улыбнулся.

— Ты случайно не Ярина Гримич? Правда Ярина? — улыбается, а смолистые брови как бы обдаются искорками.

— Ярина, — удивленно прошептала она.

— Вот видишь, как легко угадать красу! Приворожить ее тяжелее. А я Дмитро Лелека. Слыхала отаком?

— Слыхала, — чуть не вскрикнула, потому что о Лелеке не раз вспоминал Ивась. — А где же? — спрашивает и не решается спросить.

— Послал меня сказать тебе, что живой. Вот я и говорю это, — полушутя поклонился девушке.

— Что с ним?

Парубок стал серьезнее:

— Ранен, Яринка. Рана неопасная, но пока что к тебе приехать не сможет. А жаль.

— Тогда я к нему!

— Когда же?

— Сейчас же! Сейчас! Садись, Дмитро, в челн. Я спихну его и сама буду грести.

— А почему не я?

— Я буду грести тише. Куда его ранило?

— В ногу. Садись. Челн все же я спихну.

Через минуту Ярина так гребла, что челн рыбиной летел по воде, а весло кружило и разбивало звездное крошево.

XIII

И снова зной и золотое томление степей.

На зачерствелых, потрескавшихся ладонях земля протянула человеку щедрую чашу урожая и уже притомилась держать ее; притомился и колос, не дождавшись жатвы, в печали начал накрапывать слезой. Давно уж так не встречались колос и человек.

Сколько ни идешь — и впереди тебя, и позади плачут степи. Изредка блеснет серп-другой, мелькнет женский платок, одиноко завиднеется полукопна — и снова печаль колосьев, печаль метелок, и дремлющие ресницы подсолнухов. Стоят они плечом к плечу, держат в своих ячеях детские головки и смотрят только на восток.

И они, словно подсолнухи, смотрят и идут только на восток, прислушиваясь ко всем сторонам света.

— Какой урожай повсюду! Море! — останавливается Кириленко, погружает руку в пшеницу, припадает к колосьям осунувшимся, измученным лицом, а затем спрашивает Данила: — Видишь, председатель?

— Кто же этого не видит? Разве что только война.

— Потому что она слепая, — в раздумье говорит Ромашов и перебирает пальцами синие огоньки — цветы цикория. Такая жара, а ему хоть бы что.

Кириленко выпрямился, бросил взгляд вперед:

— А вон, председатель, двух красавиц с серпами заметил? Или тебе как женатому это ни к чему?

Данило еще в железнодорожном полку сказал, что он женат, — это для того, чтобы не надоедали ему легкомысленными разговорами да историчками о девчатах, молодлицах и вдовицах.

— И девчат с серпами приметил. Не девчата — топольки.

— Не одна теперь в одиночестве станет тополем, когда перебыют нашего брата в этой проклятой войне... — нахмурился Кириленко, хотя и не принадлежал к тем, кого называют кисляями.

Потом с узкой полевой дороги он поворачивает на стерню к двум молоденьким жницам, у которых красивый, чуть-чуть раскосый разрез глаз, вскинутые от удивления брови и свежие пунцовые губы. И ни жара, ни война не иссушили их.

— Здравствуйте, сестрички! — приветливо здоровается Кириленко.

У девчат вздрагивают губы, вздрагивает солнце та серпах.

— Здравствуйте и вам, — выпрямляются, поправляют волосы и пытаются улыбнуться, да их улыбки сразу же гаснут в тених печалей. У кого их только нет теперь?

— Жнете?

— Не жнем — мучаемся, — говорит старшая. Она кладет серп на плечо, так ярко вышитое красными цветами, что кажется, из них вот-вот капнет кровь.

— Мучаетесь? — неведомо зачем переспрашивает Кириленко и тоже становится печальным.

— А как же иначе, когда такое творится... Когда столько людей не вернется с войны и когда овдовеют наши села. Видать, все доброе на свете покинуло нас, — задрожал голос, задрожал и серп на цветах, и капля крови будто отделилась от них.

— Все хорошее еще вернется к нам, непременно вернется, — хочет как-то утешить сестер Данило.

— Если бы так, — верит и не верит девушка, и такая невыразимая тоска стоит в ее глазах-васильках, словно их изнутри коснулся серп и бросил на синь сивину отцветания.

Ох, эти встречи-прощания да женская и девичья тоска сорок первого года! Когда еще она была такой? Не забудь ее, не забудь ее...

— До вашего села далеко? — со скрытой надеждой спрашивает Кириленко и перекладывает с плеча на плечо винтовку.

— Километра четыре будет,—запинаясь, отвечает младшенькая и стыдливо прикрывает рукой разрез блузки, которую слегка поднимает девичья грудь.

— Немцы стоят в селе?

— Стоять-то не стоят, а заскакивать заскакивают за харчами... Они из чужого амбара хлеба не жаляют.

— Если бы только хлеба...

— У вас водичка есть? Дайте напиться.

Старшая сестра, стройная, и вправду как тополь, идет к полукопне, достает из затененного места косарский кувшин, заткнутый не затычкой, а яблоком, достает белый узелок с харчами и несет бойцам.

— Пейте. А это возьмите на дорогу. Знали бы, что встретим вас, прихватили бы из дома чего-нибудь повкуснее.

— Спасибо, милые. — Кириленко вдруг настороженно поворачивает голову: впереди заскрипели колеса.

— Это, кажется, Евдоким Гуржий куда-то спешит,—привстав на цыпочки, узнает односельчанина младшая сестра, у которой на точеных икрах стерня оставила царапины и капельки крови.

На дорогу выезжает скрипучий пароконный воз, на нем покачивается костлявый дядько; года пригнули его плечи и пеплом седины пригасили свешенный огонек бородки. Увидев военных, дядько поднимает над головой соломенный брыль, придерживает коней и хмуро здоровается. На возу нет ни косы, ни жерди, ни веревок,—видно, не на жатву собрался.

— Далеко, дядечка? — спрашивают девчата.

— Куда в такое время далеко заедешь? Разве что к безносой,—словно сам себе говорит человек. — Так до нее теперь и рукой подать. Соседями стали, можно сказать. — На его желтых белках лихорадятся зеленые яблочки глаз. — В город, на базар, погнала жена. Хотя какой теперь базар? Дурная баба, дурная и песня ее. Вот так. Но должен слушать, если у тебя в хате не хозяйка, а гвалт на все село и два хутора.

Девчата многозначительно переглянулись между собой, а дядько Евдоким продолжает:

— Это у запасливых жен что-нибудь да есть в доме, а у моей всегда в хате ненасытное помело подметает добро. Вот и сейчас—хотя бы тебе щепотка соли была. А как без нее проживешь? Так вот и послала моя бестолковая в город. — Затем рукой дотягивается до затылка и говорит: — При новой власти совсем без соли живем. Вот так. А кое-кто додумался минеральные удобрения разводить в воде и этой водой заправлять еду.

— Это правда? — с изумлением вырвалось у Данила.

— А зачем же мне врать? Я же не какой-то... истинную правду говорю.

— Так это ж отравла!

— Если нет соли, то и отравла пойдет в ход. Вот так.

— Как оно в селе? — спрашивает Кириленко. — Не трогает новая власть?

В беспокойных глазах дядьки Евдокима отражился испуг, он пригасил его выгоревшими ресницами.

— Да еще не трогают. Мы никому ничего, так и нам пока что ничего. Вот так.

— Так вы никому ничего?.. — от неожиданности даже растерялся лейтенант.

— А что мы можем сделать, коли так подешевела жизнь: что тыфу, что жизнь—все равно? — Дядька Евдоким не то тыфует, не то вздыхает и уже начинает будто оправдываться: — Если бы у меня было хоть три головы, то меньше думал бы об одной. Эге ж! Ибо какое теперь время? Бога бойся, а черта опасайся. Но-о! — И тут же бросает через плечо: — А вам, хлопцы, не советую при оружии идти—ведь теперь недолго и до греха. Кидайте свои железки и где-нибудь приставайте в примачи, а то оно уже так... Но-о!

— «Мы никому ничего...» — оторопело и возмущенно повторяет Кириленко слова дядьки. Или хитрит этот остороженький, или так и думает прожить, как жук в трухлявом пне?

— Его нелегко раскусить: он всегда такой, крученный-верченный... Вот так,—насмешливо повела взглядом старшая сестра. — А теперь прямо трясется от страха. Вы в село не идите, а то сейчас все может быть.

— Эге ж, не идите,—с грустью повторила младшая, зарделась и веночками ресниц прикрыла глаза, потому что с нее не сводит зачарованного взгляда притихший Ромашов.

— Как тебя, девушка, зовут? — наконец не голосом, а одними губами спрашивает он.

— Олесе́й,—еще больше пламенеет девушка. — Олесе́й Заднепровской.

— Если останусь живым, непременно возвращусь в ваше село.

— Возвращайтесь... Мы вас будем ждать,—и вздохнула, и смущенно поглядела на сестру: не услышала ли та ее первых слов, сказанных парно?

Они прощаются со жницами и снова глухими дорогами идут на восток, идут золотом степей, в печаль пшениц, в перезвои подсолнухов и седую безнадёжность польни. Когда же отзовется хотя бы пушечный гром? Но вместо него откуда-то послышался свиной визг.

— Тоже кто-то в город базаровать едет,—говорит Ромашов. Он остановился, зачем-то оглянулся, и добрая улыбка затрепетала на его потрескавшихся губах.

— Кого же это вспоминает хлопец? — добродушно шпыняет Кириленко. — Ее или наваждение?

— Наваждение.

— Славная доля кому-то растет, если не обездолят ее время...

И вдруг за наклонной стеной высоких подсолнухов они наталкиваются на немцев, тут же прямо-

стивших свою машину. Двое из них весело возятся возле забитого поросенка, а третий, с автоматом на шее, расстилает пестрый брезент, который должен послужить столом.

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение все окаменели.

Потом Данило и автоматчик одновременно ухватились за оружие, одиночный выстрел слился с очередью, и немец, застонав, выпустил автомат из рук, упал на брезент, а Данило, еще слыша над самой головой свист пули, дослал в патронник патрон. В разные стороны бросились те, что возились возле поросенка, и замертво попадали на землю.

Все это произошло в одно мгновение, — не успели даже развестись сизые винтовочные дымки.

— Вот и все! — словно не веря себе, сказал Кириленко, губы его еще дергались, будто их била лихорадка; сдерживая волнение, он подошел к брезенту и поднял автомат. — А теперь дай, боже, заячьи ноги.

И, пригибаясь, придерживая оружие, они побежали от тех мирных подсолнухов, под которыми могли бы остаться навсегда.

Уже на другой дороге лейтенант положил руку на плечо Данилу, прищурил глаз:

— А ты, председатель, молодец!

— Это почему же? — Данило еще чувствует, как дрожь ходит по его телу, еще слышит над головой свист.

— Не растерялся. — И, словно винясь, добавил: — Обманул меня тот поросенок визг — свинью подложил.

Как долго тянется жатвенный день в степях! Тяжелют ноги, тяжелеет тело, трескаются от жажды губы, а в голове слышится шорох колосков, будто и там осыпаются они. Вот бы дойти до речки, припасть к воде, смыть истому, что уже выжимает из тела не пот, а соль. Но нет речки, есть жито, пшеница, овес, подсолнухи, горох, картофель — все то, чему радовалась всегда душа хлебороба. Есть и села, да в них теперь днем страшнее заходить, чем ночью.

Наконец с солнца осыпается венок, оно крепким щитом погружается в хлеба и на чьи-то свадьбы или поминки передает небу багрянцем вытканые рушники.

— А вон и хуторок тополя выставил, — оживает голос Ромашова. — До поздних сумерек добремся.

— Только бы там чужих не было.

— И чтоб реченька да криниченька были, — и Кириленко красиво вывел начало песни о криниченьке и сразу же оборвал ее. — Сдерживайте ноги да наострите уши.

Обычный хуторок в степи, тополиная стража, вишневый сон вокруг белых хат, месяц над хатами и дремота деревянных журавлей. Хотя бы какой-нибудь голос слышался, или ребенок заплакал, или дым поднялся над трубой. Словно вымерли жи-

лица, только месяц ставит на окна свои печати.

Тихо-тихо, с оружием наготове входят они в вишневый сон, останавливаются возле плетня, у перелаза, и неожиданно слышат испуганный крик:

— О майн гот! — А потом: — Хальт! Хальт!

И вмиг пропал вишневый сон.

Данило ощутил, как пронизывающий холод обжег его. Почти не целясь, он выстрелил в часового, тут же застрочил из автомата лейтенант. За хатой затопали чьи-то шаги, зашелестела ракета, и в мертвенном, потустороннем свете выступил весь хуторок, а в нем заколебались то ли тени, то ли люди. Данило еще раз выстрелил в босого, полураздетого солдата с автоматом, что припал к воротам, и вдруг какая-то страшная сила ударила в грудь, обдала его огнем. Хуторок, и журавли, и месяц над ним пошли кувыркком, а из-под ног начала уходить земля. Он упал на ее горячее лоно, на ее горячую пшеницу, на горячее марево, а перед самыми глазами у него поплыла кровавая пелена.

«Неужели так и приходит смерть?..»

И на меже, где сходятся жизнь и небытие, он услышал отчаянный рев волон, то ли здесь, на хуторе, то ли возле той пшеницы, которую спасали деды.

Какая-то непостижимая, бесконечная темень и томлящая слабость, а из них вырываются вздохи волны. С какого же она брода — с татарского, казацкого, журавлиного или девичьего? И где он, и что делается с ним? Будто он есть и будто его нет. Хотя бы немного раздвинуть эту темень, что словно разметала тело и сжала голову. Он так обессилел, что не может поднять руки. Это, верно, сон, дурной сон. Вот выйдет из него и снова увидит... Что увидит?..

Темень не дала додумать, придавила и его, и мысли. А потом снова, будто из глубины, он выбрался из нее и услышал два голоса — девичий и старческий. Даже улыбнуться захотелось, ведь так давно не слышал людских голосов, только ощущал горячие и холодные волны темноты. С большим усилием приоткрыл тяжелые, точно кем-то склепанные, веки, — и мерцание дня омывает их, наполняет глаза, память.

На белом потолке дремлет гроздь солнечных зайчиков, как давно-давно дремала в детстве, когда мать лечила его распаренным зерном... Только вишня да крест в изголовье остались от нее. Как же это он, идя на войну, не простился с ними, с ней?..

А куда же подевались голоса — девичий и старческий? И как он очутился здесь? Вдруг память, словно вспышка молнии, осветила вечерний хуторок и вишневый сон вокруг белых хат, и как он стрелял, и как в него стреляли.

Где же он теперь — у чужих или у своих?

Данило шевельнулся, застонал, а рядом тихо,

будто журавль над колодезем, заскрипел старческий голос:

— Вот и хорошо, хлопче, что выкарабкался с того света. Теперь будешь жить, если не умрешь,— и ему ласково улыбнулось старческое лицо с седыми острями бровей и редким клинышком бородки.

— Кто вы? — Данило хочет приподняться, но его мгновенно прожигает боль.

— Лежи тихонько. А если тебя интересуют анкетные данные, то я сельский врач Приходько.

— Где я?

— У добрых людей. Вот твоя хозяйшка — Ганнуся Ворожба.

К нему подошла тоненькая, как горсточка конопля, девушка лет шестнадцати. Под черными, словно рисованными, дугами бровей светятся и печалются большие, подведенные синевой карие глаза, печалются и уста; они трепетно уголками поднимаются вверх, а у подбородка одиноко выделяется крохотная ямочка, которая где-то потеряла свою пару. Данилу стало легче, когда взглянул на эту доверчивость, на это сочувствие, на эту красу. Кого же ты приворожишь, Ганнуся Ворожба? Хозяйшка улыбнулась, вздохнула, и на ее груди покачнулась коса.

— А теперь отдыхай, хлопче,— и ни слова.

Ганнуся осторожно поправляет постель раненого, он еще хочет о чем-то спросить, да усталость смежает веки и погружает его в темноту.

Просыпается он в ранние сумерки от шума ветра и рева коров, возвращающихся из стада. В такую пору коровы, что пасутся в лесах, пахнут земляникой, и молоко тоже. Данило ясно чувствует запах земляники. Да это на скамеечке, застланной полотняной скатеркой, лежат в лукошке лесные ягоды. Не Ганнуся ли собирала их?

А за окнами в кустах калины все сильнее шумит и шумит ветер, и красные гроздья стучат в стекла.

Калиновый ветер! Как любили они с Мирославой прислушиваться к нему возле татарского брода! Блеснула молния, и на калиновый ветер упали первые капли дождя.

Данило хотел подняться, но со стоном упал на постель. В это время открылась дверь и в комнату, смахивая с ресниц дождевые капли, вошла Ганнуся.

— Как вы? — ласково и грустно улыбаясь, спрашивает она. — Вот я сейчас подою корову и принесу вам парного молока. Будете пить?

— Ганнусенько, дивчинонько, я сейчас даже коня с копытами съел бы.

— Такое скажете! — расплывается в улыбке лицо девушки.

— Кажется, никогда не был таким голодным.

— Потому что вы столько постились

— А сколько?

— Уже вторая неделя пошла.

— Вторая неделя? — удивился, не поверил Данило.

— Празда... Вы очень много крови потеряли. Но

все пройдет. Это так наш врач сказал. А он человек знающий.

— Хороший ваш врач?

— Очень славный. Уже сорок лет в нашем селе лечит людей, но немного странный. — Девушка поправляет косу, которая пахнет дождем, и прислушивается, как за окнами бушует непогода.

— Чем же он странный?

— Всегда, с самой ранней весны и до снега, ходит только босиком. Толстовец. И все чего-то раньше ворчал да сетовал на власти. А теперь, когда пришли фашисты, то уже иное говорит: «Советская власть — это люди!»

— Ганнуся, как я попал к вам?

— Хватит уже говорить, еще завтра день будет.

— Только это скажи.

— Вас, раненого, принесли двое военных к моим родственникам, а те привезли ко мне, потому что я сейчас одна-одинешенька. А теперь молчите,— приложила палец к губам, мотнула косой, мотнула голубой юбочкой и легко зашуршала босыми ножками по земляному полу.

«Как сама юность», — подумал Данило, вспомнил свою Мирославу и снова начал прислушиваться к дождю и калиновому ветру.

XIV

День сложил свои белые крылья, а ночь подняла черные и послала на землю сон. Когда-то он ходил по своей улочке в полотняной рубашонке, а теперь на этой улице, как сыч, торчит полиция. Потому и обходит улицы и улочки своего села Михайло Чигирин. Лощинами да левадками, где сизая трава дышит туманом, петляет он к огородам и между стенами кукурузы и конопля, между картофелем, просом и лапчатой тыквенной ботвой сторожко пробирается к своему жилью, которое высматривало его и в гражданскую войну, высматривает и теперь. Тогда его ноги носили, словно в них дневал и ночевал ветер, а теперь отяжелели, и руки отяжелели, наверное, потому, что столько жил выбилось на них — хоть веревки вей. Года!

Вот он ныряет в волны духмяной конопля и останавливается возле изгороди, которая отделяет огород от подворья. Будто ничего не изменилось здесь. Так же над улицами тянутся в небо высокие ясени, так же вишни нависают над стрехами его постаревшей хаты-белянки, так же в окна ее заглядывают бессонные мальвы и звезды. И как в то же время изменилось все! Даже в эту тихую хату с чужих дорог уже прилетало воронье вырвать и его постаревшую душу. Сколько намучилась и еще намучится Марина! Вот уж чьей доле никак не позавидуешь! И помрачнел Михайло, думая о своей верной жене, с которой за всю жизнь даже поссориться не сумел. А сколько же из-за него пришлось нагореваться ей? Как она только терпела его?

Пройдя немного вдоль изгороди, на которой

еще не высохла живица, Михайло видит возле угла хаты столб с панскою вбитыми в него колышками, на которые надето с полдесятка кринок, и облегченно переводит дыхание: значит, дома чужих нет. Тогда он тихонько подбирается к боковой стене с нависшей на огород стрехой. Раздвинул руками мальвы, стряхнул с их бокалов росу, разбудил шмеля, стукнул в увлажненную ночью крестовину рамы и замер с той неуверенной улыбкой, что всегда перекашивала его губы, когда он вот так встречался со своей карглазой Мариной. Верно, сама судьба послала ему такую жену — любящую, сердечную, с этим приветливым смуглым лицом, на котором так хорошо играют неровные брови, улыбка и насмешка.

Через какое-то мгновение в окне показалась Марина. Даже спросонья она успела набросить на голову темный платок. Но почему темный?

Жена прикинула к стеклу и вдруг, чего никогда не бывало, отшатнулась, тихо ойкнула, взмахнула руками, затем исчезла, но вскоре снова появилась, оперлась на подоконник и снова вгляделась в окно. Что же это случилось с нею или, может, с ним? Отчего так испугалась она? Чигирин на всякий случай хватается за автомат и так прислушивается к тишине, что она, кажется, бьет колоколами. А Марина тем временем начала возиться с окном, не в силах раскрыть его. Задвигая, видно, заело. Наконец открыла, все еще как-то странно приглядываясь к Чигирину. Не узнает, что ли?

— Это ты, Михайло? — спросила неуверенно, не голосом — одной болью.

— Разве я теперь на кого-то другого похож? — прошептал он, подходя к самой завалинке.

— Ой, Михайло, это ж ты!.. — будто наконец узнала, и от рыданий затряслась ее плечи.

— Да что с тобой? — коснулся Михайло руками ее черного платка, который Марина носила только в дни печали.

— Ничего, ничего, — темными цветами рукава вытирает жена слезы и уже будто спокойнее спрашивает: — Пришел?

Так спрашивают матери детей, которые сильно провинились.

— Пришел, — и склоняет седую голову: разве он не виноват перед нею? Ведь это из-за него не было ей ни минуты спокойной жизни — ни при панской экономии, ни в войну с немцами, ни при скоропадниках, ни при денкинках, ни при бандитизме. Стреляли по ночам в него, стреляли и в нее; не находили его — допрашивали ее. И до сих пор на плечах своих носит она синие полосы от шомполов, что рвали на куски и рубашку, и тело.

Вот только когда отстреливался он из хаты, тут она не помогала, а шептала свою молитву, моля бога отца и сына и божью мать защитить неразумную голову ее мужа. О нем всегда она больше думала, чем о себе...

А ему хоть бы что. Только выскочит из беды и уже начинает подсмеиваться: «Не надо, жена, столь-

ко плакать, а то твоими слезами можно всю историю описать». И припадал Михайло своей головой к ее плечам, к ее груди, утешал, обещая, что они еще с самим счастьем встретятся.

— Дури, дури мне голову, — вздыхала Марина. — Хотя бы ребенок остался живым, а мне бы не овдоветь. Это бы и было все наше счастье, — и подходила к вербовой колыбели, которую привычно качала ногой, а руками все пряла бесконечную нить.

Когда покончили с войной, начали угрожать ему разные недобитки. А далее пошли коллективизация, борьба за хлеб, за урожай, за стройки и перестройки, чтобы потом встретиться с самим счастьем.

Как-то при гостях, когда муж уже был председателем колхоза, Марина коснулась его чуба и грустно сказала:

— Вот и не заметила, как ты поседел, верно, потому, что затемно уходил, а возвращался в полночь.

Это правда, в работе он никогда не жалел себя, ибо, как подсмеивались соседи, родился двужильным — после гражданской приходилось и в плуг, и в бороны впрягаться. Нелегким был его хлеб, да легкого он и не искал, даже когда его каким-то начальником выбрали.

— Скоро ли мы с самим счастьем встретимся? — с укором спрашивала жена, когда он из-за разных работ в хату почти не заглядывал.

— Погоди немного, Марина. Больше ждали. Счастье еще растет, словно девушка.

— И знаю, что снова дуришь мне голову, а верю, — поведет Марина неровными дугами бровей, словно крыльями, кротко улыбнется, и все укоры отойдут от его шальной макитры.

С той поры, кажется, минул целый век...

— Ты не иди к дверям, в окно лезь, — и Марина берет из сго руки чужеземное горбатое оружие. Какое только не бывало в руках Михайла! И английское, и французское, и австрийское, и немецкое, и еще царское. Но не по оружию, а по чернозему, по зерну тосковала душа ее мужа. Лучшего сеятеля, верно, не было в селе. А как он любил возиться с пчелами и плодоносным деревом! Даже дички прививал в лесах, чтобы чем-то порадовать, удивить человека.

Через какую-то минутку Михайло, подшучивая сам над собой, влезает в хату, обнимает свою Марину и, как может, успокаивает ее и движением рук, и шепотом, и поцелуями.

— Любимая моя, любимая...

— Господи, значит, ты? — снова будто верит и не верит она.

— Какое диво сегодня с тобой? Спишь ли ты или прснулась? — начинает подтрунивать муж. — Неужели и теперь не веришь, что это я?

— И ты бы не верил... — в голосе жены прорвались слезы. — Позавчера ведь по твоей душе заукойную звонил колокол.

— Это с какой же радости?! — возмутился он. — У кого-то в дурной голове бомкало?

— Потому что передали люди: убит Чигирин —

снаряд настиг в лесах. Оплакивала я тебя, глаза опухли от горя и слез.

— А я за это время исхудал на бесхлебье,— приснул он со смеху так, что слезы ее понемногу начали отступать.

— Все-таки обошлось, Михайло? — И Марина касается его лба, бороды, в которой утонуть можно.

— Выходит, обошлось, хотя и нелегко было,— не договаривает он, так как не любил все выкладывать о себе.

Марина знает об этом и не торопится расспрашивать: придет время—сам расскажет, еще будет и подтрунивать над собой, словно это случилось не с ним, а с кем-то другим.

— Ты уже с автоматом пришел!

— С автоматом.

— Скоро, наверное, и с пушкой притащишься?

— С пушкой—вряд ли,—успокоил ее муж.— Это уж наш Григорий где-то с нею днюет и ночует.

— Хотя бы живым вернулся,—и все материнские тревоги-печали проснулись в душе Марины.

И успокоить ее нечем: правды не знаешь, а врать не станешь. Чигирин, как в давние года, устами касается ее бровей, ресниц, а руками успокаивает ослабевшие плечи, которые выдержали все на себе, но начали сгибаться.

— Не надо, жена, не надо.

— Он же у нас единственный.

— И ты у меня одна-единственная с первого и до последнего дня. Помнишь, как мы ранней-ранней весной встретились в монастырском лесу? Тогда пробывали подснежники. И парочку их я тебе вплеп в косу...

Как марсево где-то на краю земли, заколебалось прошлое с нераспустившимися подснежниками, которые все же цвели для них и в памяти не осыпались.

— Не забыл их? — И Марина как будто вошла в тот туманный лес, где встретились их молодость и любовь.

— Не забыл, потому что они, считай, были твоими чарами,— снова подсмеивается муж.

— Господи, как это давно было: и молодость, и подснежники, и твое лукавое слово, будто я самая красивая.

— И поныне ты самая красивая для меня, хоть и до сих пор не распрямила бровей. У тебя, когда не сердилась, ни одной морщинки не найдешь, а я уже весь седой, словно дед-мороз: так меня теперь и называют партизаны.

— Что же это приготовить моему деду-морозу? — Маринин голос зазвучал теми бархатными тонами, которые он так любил.

— Ничего не готовь, ведь скоро уходить.

— Но ты зачем-то пришел?

Чигирин хмыкнул:

— Чтобы тебя увидеть...

— И чего-нибудь взять,—насмешливо подсказала Марина, разве ж она не знает своего мужа?

— И чего-нибудь взять,—соглашается он.— Но

главное—это на тебя поглядеть. Веришь, никогда, даже в молодости, не скучал по тебе, как теперь.

— Ври, ври! Разве мне впервой такое слышать? Что-нибудь другое придумал бы,—еще больше успокаивается жена, разве ж ее лукавый муж не знает, как успокоить? — Чего тебе надо?

— Хлеба нет у нас, а у тебя, слышу, свежим пахнет.

И Марина снова загрузила:

— Напекла же вам хлеба, со слезами напекла. Думаю: тебя уже нет, а кто-нибудь из партизан все равно наведается. И свечку зажгла на твоём хлебе... Это вы подбили машину с тем бароном, что приехал землю себе отмеривать?

— Выходит, мы.

— И ничего вам после этого?

— После этого ринулись в леса каратели на четырех машинах с двумя пушками.

— И как же? — затаив дыхание, прижалась к своему такому родному и такому чудному мужу. Разве ж она нажилась вдосталь с ним? Вот нагореваться нагоревалась.

— Встретили их как падаю. Возвращались они уже на одной машине.

— Много у них машинерии, много,—и перед ее глазами проходит то чужое железо, которое несет только смерть.

— Однако скоро поменьше станет у них и машинерии, и еще чего-то; когда идешь за чужой головой, неси и свою.

И замолчали. Он еще раз увидел последнюю стычку с карателями, еще раз прикинул в мыслях, где и как достать взрывчатку, детонаторы. А Марина с грустью думала: разменял муж шестой десяток, а покоя нет и недели. Другие, смотри, молодые, здоровые отлеживают себе бока в теплых углах, а этот нигде не согреет места.

— Чего же тебе поест дать?

— Какого-нибудь борща, хоть оскомистого, подогрей, а я на минутку сбегаю к Владимиру. Как он там?

— Все еще в кузнице возится. Только зачем тебе ночью тащиться и людей беспокоить?

— Дело есть. Я скоренько. Готовь борщ и не унывай.— Подошёл к окну и, покряхтивая, начал выбираться из хаты. Что ты сделаешь с оглашенным?

Подворье младшего брата Владимира было рядом с его двором. И вот, не выходя на улицу, он перелез через плетень и огородам добрался до опрятной, как будто в беленькой сорочке, хаты. Спросонья гавкнул. Рябко, но, узнав голос Чигирина, замолк, ударив хвостом о пересохшую конуру. Настежь распахнулось окно.

— Кто там по ночам шатается? — густым басом спросил Владимир, который, видно, еще не спал.

— Это я.

— Ты? — удивился брат, высунув в окно не меньшую, чем у Михайла, бороду,—и уже радостно.— Воскрес?

— Как видишь.

— Так заходи скорее.

Еще на пороге Владимир могучими ручищами молотобойца сжал в объятиях брата, поцеловал и потащил в дом, где в темноте одевалась его жена.

— Жинка, слышишь — Михайло снова обманул костлявую! — И к брату: — Это в который же раз ты воскресаешь?

— А я не считал, — улыбнулся Чигирин.

— Пожалуй, в пятый? Вот давай напомним, если ты забыл.

— Что ты мелешь, Владимир! — возмутилась Христина. Одевшись, она подошла к деверю, прижалась к нему, вытирая рукой ресницы. — Уж мы с Мариной наплакались и в твоей, и в нашей хате... Ой, Михайло, Михайло...

— Еще и до сих пор у нее под глазами слезы не высохли, — сострил Владимир и начал раздувать в печи огонь. — Вечерять будешь?

— Спасибо.

— Так зачем же тогда пришел ночью? Только хату нахолодить? Чтобы только разбудить нас?

— Владимир, как тебе не совестно! — чуть не застонала Христина. Она все еще не могла привыкнуть к таким разговорам братьев.

— Не слушай, жинка, его, а сразу жарь яичницу прямо из целого яйца, — шутливо бросил муж.

— Что ни слово, то золото. Вот по ком плачет кино горькими слезами. — Христина поставила каганчик на стол и начала поправлять одеяла на окнах. Потом, опечаленная, стала против деверя. — Как же ты, Михайло, в такое время?

— Часом с квасом, а порой с водой.

— А больше всего с бедой, — помрачнело ее доброе лицо, ее добрые очи. — Воюешь?

— А он иначе не может, чтобы не умирать и не воскресать, — снова не выдержал Владимир. — Христос один раз воскрес, а он — пять раз, потому что техника теперь иная. Ставь, жена, четверть на стол.

— Не надо, Владимир, мне ведь скоро идти.

— Тогда зачем было приходиться? — будто шутит, а на самом деле печалится брат.

— Чтобы ты мне сковал одну штуковину. Такого кузнеца, как ты, надо поискать.

— Если сумею, скую, — усаживает брата за стол. — Железа теперь хватает. Что там у тебя?

— Надо смастерить такую лапу, чтобы костыли вытаскивала на железной дороге. Знаешь, какую?

— Отчего не знать? — и Владимир подвинулся поближе к брату, понизил голос: — А ты думаешь, что наши все-таки победят фашистов, даже со всей их техникой?

Чигирин глянул, казалось, не в глаза, а в душу брата:

— Победим! Непременно победим! Сломаем и проклятый фашизм, и его окаянную машинерию.

— А я, брат, не верю в это... Сам подумай: что ваша лапа против такой страшной силы? Да и нем-

цы уже трубят, что они до самой Москвы докатились.

Придерживая бороду рукой, Владимир поднялся, вышел из хаты и через какую-то минуту вернулся с двумя увесистыми самодельными лапами.

— Тебе такие нужны?

Михайло удивился:

— Где ты их, такие хорошие, достал?

— Спасибо, что похвалил. Приходили такие ж, как ты, из соседнего района. Левка Биленка помнишь?

— Помню.

— Вот он как-то прибил с напарником ко мне. Тоже партизанит.

— А где? — Михайло так и потянулся с надеждой к брату.

— Разве он об этом скажет? Но думаю — в монастырском лесу: проговорился о парной. Ведь она там стояла. Сковал я им две лапы, а потом еще две: думаю, может, и моему старшему брату они на что-нибудь сойдутся.

Старший покачал головой:

— Так ты ж не веришь, что мы победим?

И тогда Владимир строго ответил:

— Верить не верю, это правда, а жить должен честно и умереть должен честно.

Михайло обнял брата, потом его жену и тихо вышел из хаты. Марина уже ждала мужа возле яслей. Услыхав его шаги, вздохнула, открыла дверь.

— Иди, а то уж и борщ остыл. А ты какими-то железяками разжился?

— Да, разжился.

И только они сели за стол, как кто-то тихо стукнул в окно.

— Ой, лишенько! — вскрикнула Марина, а Михайло схватился за автомат. — Что же делать?

— Подожди немного, — успокоил ее муж. — Может, это Владимир еще какую-нибудь железяку несет?

И снова стук в раму.

Михайло сделал шаг к окну, но Марина порывисто стала напротив него.

— Не ходи! Лучше я гляну. — Она подошла к окну, вглядываясь в темень, наклонилась к подоконнику — п застонала.

— Что там? — быстро поднял автомат Михайло.

— Ой! Григорий!

— Какой Григорий? — не может сразу понять он.

— Наш! — И Марина не идет, бежит в сени, открывает наружную дверь, всхлипывает и заходит в хату, припадая к плечу Григория. — Ой, сыну, дитя мое! Как же ты?

— Вот видите — живым добрался до вас. — Григорий снял с плеча винтовку, поставил в угол и, как отец, добавил: — Не плачьте, не надо.

И Чигирин, волнуясь, сделал шаг вперед.

— Здорово, сынок.

— О, и тато наш есть!

— А отчего это мне не быть? — обнимается и целуется с сыном.

— Думалось, что вы или в эвакуации, а скорей в партизанах.

— Он и есть в партизанах,— с гордостью подтвердила Марина.— Вот только что из леса пришел за харчами. Все до макового зернышка повытаскает, помани мое слово.

— А вот макового зернышка и не трону. А ты как, сыну? Бежал, только пятки сверкали?

— Не бежал, тато,— серьезно ответил Григорий.— Бился, как вы меня учили, до последнего. При отступлении мою пушку оставили немцев задерживать. И мы держались, пока от пушки не остались одни обломки, а накатник не испустил последний дух. Так что, батко, не смейтесь.

— Это ж он испытывает тебя. А только сейчас тосковал по тебе. Садись, сыну, вечерять,— и Марина кинулась к посуднику.

— Как хорошо повечерять вместе,— садится за стол хозяин.

— Хорошо, муженек,— согласно кивнула Марина.

И впервые за все это время она радостно улыбнулась своему сыну, своему мужу, не зная, где их посадить и чем угощать. Но и улыбкой нельзя было скрыть неуверенности и страха, потому и прислушивалась ко всему на дворе.

После ужина старый Чигирин, прощаясь, положил руки на плечи жены и, отведя от нее глаза, сказал Григорию:

— Целуй, сынок, мать, да будем собираться в леса.

Марина оторопела, задышавшись, как рыба на берегу, глотнула воздуха, схватилась за сердце:

— Что ты говоришь?.. Как это — в леса?

И муж твердо ответил:

— Ногамн, жена, погами, машины пока еще нет.

Горячие волны зашумели в голове матери, потекли по ее лицу, по незаметным ранее морщинам.

— Бездушный ты! Я ж и насмотреться не успела на свое дитя!

— Еще насмотришься,— неопределенно пообещал Чигирин.— А сейчас надо идти.

— Пусть хоть один день побудет со мной,— в очах Марины сверкнули слезы.— Только один день молю у тебя.

— Не дало нам время этого дня,— уже хмурится старый.— Еще кто-нибудь ввалится в хату.

— Тогда пусть Григорий к моей маме пойдет, хоть день перебудет.

— Не шути, Марина, потому что лихо не шутит. Женщина окаменела.

— Лучше бы ты, оглашенный, и не приходил сегодня.

Но это мужа не рассердило, он только пожал плечами:

— Не знаю, кто из нас оглашенный,— и снова коснулся рукой плеча жены.— Не надо, слышишь, не надо.

— В самом деле, мама, не надо,— отозвался и Григорий.

— И ты заодно с этим оглашенным?

— Моим отцом и вашим мужем, мама,— улыбнулся Григорий.

Марина припала к сыну:

— Ты смотри за собой и за ним, у него и до сих пор разум детский.

— Если жена добралась до разума, значит, и вправду пора идти,— рассудительно сказал Чигирин и начал укладывать в торбу хлеб.

— Ирод! — отрубила Марина, пошла в чуланчик и вынесла сала на дорогу.— Положи сверху.

— Ирод сала не ел,— буркнул в бороду муж.

— Ой, Михайло, Михайло... — Начала завязывать торбу — и уже совсем тихо: — Откуда ты взялся на мою голову со своими подснежниками? И как я пз-за тебя еще не побелела, как те подснежники?

— Это я твою седину забрал себе... И не очень убивайся. Мы к тебе будем навещаться.

Вскоре отец и сын вышли со двора, нырнули в терпкую волну конопли, а из открытого окна вослед им донеслось до них горькое всхлипывание.

— Бабы,— крикнул Чигирин,— если бы собрать их слезы, то всех лиходеев можно было бы утопить.

XV

Там, где предвечерний лес бросал свои тени под колеса чужих поездов, близнецы сторожко остановились, замерли. Роман держит в руках лопату, а Василь — мешочек как будто с каким-то инструментом. Хлопцы сейчас похожи на рабочих, ремонтирующих железнодорожное полотно. Но напрасно так тайлись они: сколько ни окинешь взглядом, нигде никого, только тени, как самоубийцы, лежат на колесе да порой в лесу, усаживаясь на ночь, писклет пичужка.

Тишина и покой царят тут, хотя отсюда до станции рукой подать. Еще ни один паровоз не сломал себе шеи на этом месте, еще ни один мост не взлетел на воздух, еще ни один патруль, падая на рельсы, не разбил о них каску или голову. Потому чужие колеса бесечно режут тени, а чужие окна выплескивают из вагонов музыку, смех и голоса самоуверенных правителей.

— Тут, пожалуй, можно и днем расшивать полотно,— прикидывает сразу Роман, присматриваясь к просмоленным шпалам и заржавевшим костылям.

— Можно и днем, только не всегда,— шурится Василь, именно сейчас заметивший на придорожной тропинке женскую фигуру.— Вон, видишь, кто идет?

— Красавица с узелком или ведьма с помелом,— скалит зубы Роман.

— Спрячемся в лесу или постоим тут?

— Чего это нам красивой опасаться? — Роману не терпится поговорить с девушкой, и он деланно вздыхает. Парень не столько засматривается на девчат, сколько любит поболтать о них.

И вот в легоньком цветастом платьице, в не-

сомом, цвета весенней травы, платочке к ним подходит стройная бедянка с черными ресницами чародейки, в ее руке покачивается узелок с глиняными горшками-близнецами.

— Борщ и каша? — усмеваются братья.

— Борщ и каша. Здравствуйте, — певуче здоровается девушка и осуждающе поглядывает на парней.

— Сама варила, ясочка? — улыбается Роман.

— Сама... Стареется немцам дорогу исправить?

— Стараемся, зиронько.

— Хороший паек за это получаете?

— Да получаем. А что?

— Ничего... Вот отец мой отказался от такого пайка, заболел или прикинулся больным. А вам, видно, силы не занимать и... ума тоже.

— Что уж есть, то есть, — боясь прыснуть, загадочно говорит Василь.

Между шпалами стоит девушка и, опустив глаза, невинно спрашивает:

— Это вы на смену Макогоненко пришли?

— Не знаем. А что с Макогоненко?

— Какие-то хлопцы хорошенько отдубасили его, чтобы не очень старался работать на чужих, — прикрывает глаза длинными ресницами и ровной походкой уходит от них.

Василь обернулся к брату, засмеялся.

— Как тебе твоя ясочка?

— Умница и к тому же красивая! — снова, но уже не деланно вздыхает Роман. — А как она хорошо несет цветы на своем платище!

— И косы тоже. Уродились они у нее, как жито в этом году.

— Уродились, — и еще более пристально оглядывает даль: не появится ли кто-нибудь на полотне? — Знаешь, брат, что люди говорят о близнецах?

— Говори — узнаю.

— Поговаривают, что им не очень везет в любви — чаще всего они влюбляются в одну девушку, а это до добра не доводит.

— Глупости мелешь.

— А может, и правду говорят люди? — продолжает свое Роман и задумывается. — Видишь, мы до сих пор ни по ком не сошли, вот и прилипло к нам — «старые парубки».

— Так это ж Ярника когда-то в сердцах вклепила такое гадкое словцо... Вот оно и пристало к нам. Нелегко ей с Мирославой в лесах.

— Но еще тяжелее нашей матери: теперь она каждый вечер выстаивает у ворот и высматривает нас. А татарский брод все шумит и шумит да напоминает ей, как мы родились в челне. И тато горюет. Только нет девчат, которые бы грустили по нас, а жаль. Оно как-то легче, когда знаешь, что кто-то думает о тебе.

— Нашел время для грусти, — собрал губы в оборочку Василь, а перед ним засияли очи той девушки, которой и слова не сказал, а теперь уже и не скажет. Лишь только один раз он увидел ее на свадьбе, когда она метелицей кружилась в танце и так кружилась, что даже подковки звенели. Это была пер-

вая метелица в его жизни. Да тут же, на свадьбе, с огорчением и доведася, что у нее уже есть жених. Он стоял неподалеку от нареченной, в плотном кожухе, невысокий, тоже плотный, и плевался тыквенными семечками. Неужели эта метелица попадет в его коротковатые и грубые руки?..

— Чего, брат, затосковал?

— Жизнь.

— Теперь, можно сказать, не жизнь, а полжизни. — Роман приглядывается, как предвечерье меняет голубой наряд на синий. Еще один день ушел на отдых, и начинается рабочая партизанская ночь.

Над лесом, мягко-мягко помахивая крыльями, проплыла сова, и сразу же раздался отчаянный писк какой-то пташки.

— Вот и нет чьей-то жизни, — грустно покачал головой Василь, еще раз поглядел вдаль, снова, как в тумане, увидел свою первую метелицу. Была она или не была?

Со станции донеслась медь колокола, а потом загудел поезд. Братья спускаются с насыпи, на всякий случай отходят к опушке, прислоняются к елям, что и сейчас еще пынут теплынью погожего дня.

Вскоре загудели рельсы, блеснули лучистые глаза паровоза, загрохотали колеса, и из вагонов, набитых солдатней и офицерней, выплеснулись чужая речь, чужая музыка, чужая радость.

Роман чуть не застонал:

— Вот бы рвануть его, чтобы и до Калиновки не доехал, не то что до Киева.

— Если бы нас вчера послали в разведку, то сегодня по нему был бы похоронный звон. А ты видел в окне тушу, разукрашенную наградами и позументами? На Геринга похож.

— Наверное, генерал.

— Были бы у нас лапы, сами бы что-нибудь придумали.

Когда темень проглотила красные огоньки последнего вагона, Роман, чтобы как-то развлечь себя и брата, с чувством сказал:

— Чужие вагоны, чужие поезда, а я тебе прочитаю о наших. Никто в мире об этом хорошо не написал, как Владимир Сосюра.

— Поглядим еще, а потом читай.

Они поднялись на насыпь — и снова нигде никого. И в тиши зазвучал голос Романа:

Коли потяг у даль загуркоче,
Пригадаються знову мені
Дзвін гітари у місячні ночі,
Поцілунки й жоржини сумні...

— «Коли потяг у даль загуркоче», — повторил Василь. — А дождемся ли мы, брат, своих поездов? Чтобы вот так сесть в Виннице — и прямо в Москву. А потом во Владивосток, на Сахалин, и по дороге все наши песни добрым людям петь. Знаешь, с какой бы я начал?

— С какой?

Ой у полі криниченька,
Там холодна водиченька,
Ой там Роман воли пасе,
А дівчина воду несе.

— Может, наша дивчина и принесет нам воду, если не подкосит ее вонна,— погрузнел отчаянный Роман.

— Будем надеяться, что принесет, будем думать о любви! — как заклинание повторил Василь, тряхнул буйным чубом, положил руку на плечо брата. — Так потопали к коням?

— Подождем: поздний час нечистую силу выводит.

На темно-синий бархат неба выкатывается полнолуная луна, и снова тени леса жертвенно кладут свои головы на рельсы. Вот они проснулись, и по ним тихо, без огней, проскочила дрезина; вел ее штатский, но рядом с ним сидел солдат с ручным пулеметом.

— Поздний час в самом деле выводит нечистую силу,— повторил Василь слова брата.

А после одиннадцати на полотне блеснул огонек, и в его лучах очертились две головы в касках. Это, закуривая, остановился патруль. Шаркая тяжелыми ботинками, солдаты молча прошли возле близнецов, а потом появились минут через двадцать — двадцать пять.

— Днем тут спокойнее,— шепчет Василь.

— А патрульных хоть сейчас голыми руками бери. Чесанем, брат?

— Шальной! Тогда Сагайдак никогда не пустит нас в разведку.

Еще подождали с полчаса, но патруль больше не появлялся.

— Пошли отлеживать бока. Распустились, будто у тещи. Что ж, и нам пора домой.

Близнецы, словно в дремотных волны, ныряют в лес, на полянке находят своих красногровых, отвязывают поводья и мигом вскакивают в седла. На дороге застоявшиеся кони переходят в галоп и будят пугливое эхо.

— Не видится ли тебе то, что будет завтра? — спрашивает Роман.

— Видится. Вот если бы каким-то чудом возвратился поезд с тем генералом! Хотел бы я посмотреть, куда полетели бы его кресты. И есть хочется.

— Может, захотелось того борща и каши, что девушка варила?

— Молчи, брат, а то в животе контрреволюция просыпается, еще подорвет силы партизана.

Вот и молчаливое жилище Магазанника. Как в похоронном саване, стоит мертвая хата, не капает слезой прикованная железом к журавлю бадья, не скрипят раскрытые ворота. Не слышно и дыхания скотины, только со старых-старых дверей скита, которые забыли вывезти в село, одиноко глядит потрескавшийся, постаревший ангел.

— Удрал черт от ангела,— со злостью процедил Роман и остановил буланого возле желоба. — Напоим коней.

Заскрипел журавль, плеснулась вода в желобе, и кажется, на мгновение проснулось подворье, да и снова погрузилось в сон.

— Гонялся человек за живой копеечкой, а все

стало мертвым,— входит Роман в сад, где когда-то стояла пасека. Вместо нее он видит в закутке старый одинокий улей.

— Поедем к себе,— тихо говорит Василь.

— Погоди, взгляну на улей,— вдруг заговорила в Романа душа пасечника. Он подходит к улью, прикладывает к нему ухо и дивится: изнутри едва-едва отзывается тревожное жужжание. Что ж это такое? Ведь не так гомонит пчелиная семья? Роман поднимает крышку улья, потом осторожно вынимает темную, изъеденную рамку, на которой едва шевелится обессилевшая матка. — Чертов Магазанник!

— Что там, Роман?

— Вот чертов жадюга! Чтобы иметь больше меда, значит, чтобы не сеялись в медосбор личинки, он посадил в тюрьму матку и, видно, забыл о ней или побоялся приехать сюда. Этот нечестивец не только пчелиную матку засадит в тюрьму.

Роман раскрыл улей и с рамкой в руках быстро пошел из пчельника на подворье. Тут он положил изъеденные соты на краешек желоба, и матка медленно потянулась к воде.

Неожиданно братья слышат то ли вскрик, то ли всхлип, хватаются за оружие, но тут же и опускают его — от ворот, мотая косами, бежит к ним очень знакомая фигура.

— Шальная! — удивляется и улыбается Василь.

— Полоумная! — бормочет Роман.

А «полоумная», смеясь и ойкая, падает сначала в объятия одного брата, потом другого.

— Откуда ты взялась, умница?

— О, сначала «полоумная», а теперь «умница». Тогда уж найдите что-нибудь среднее. — Ярника от радости щурится, поправляет карабин, косы и одной любовью смотрит на братьев.

— Лебедушка ты наша,— тормошит ее Василь.

— И языкатая тоже.

— Осунулась наша сестричка, осунулась.

— Ой, братики, как я соскучилась по вас,— льнет к братьям Ярника. — Пошли вы на эту железную дорогу, а мое сердце как тисками кто-то сжал. Места себе не находила.

— А потом нашла помело и извело, зачем полетела ночью.

— Не ночью, а днем, и не болтай, Роман. Ведь все равно любишь сестричку.

— Было бы кого. И как этот Ивась Лямаренко выдерживает твой характер?

Ярника сразу вспыхнула, но сдержала себя и повела глазами, верно, туда, где жил ее Ивась.

— Расскажи, Роман, как вам работалось на железной дороге.

— Видели там зельечко, похожее на тебя.

— И только?

— Нет, не только это.

— Так завтра пойдем на железную дорогу?

— Наверное, пойдем. Только ты, Ярника, не присысь с нами,— грустнеет Роман. — Мама слезно молила беречь тебя! Какая уж ты ни на есть, а все же наша звездочка.

— Ой, Романочку,— замигала глазами Яринка,— разве ж я могу оставаться без вас?

— Попробуй. Вечерю приготовишь для нашей семьи. И как ты не побоялась ночью искать нас?

— А разве мне не у кого смелости занять? У своих братьев-соколов.

— Какая ты хорошая сегодня,— и Василь влепил в щеку сестры поцелуй.

— Это можно было бы и раньше сделать,— не растерялась Яринка и подставила вторую щеку Роману.

— Как мед, так ложкой,— фыркнул тот.— Зельечко вездесущее.

А «зельечко» еще раз глянуло вдаль.

— Давайте сядем сейчас на коней и хоть на минутку заедем домой.

— Чего захотела! — покачал головой Василь.— У нас уже, наверное, начинают цвести черноривцы.

— И мать называет Яринку своим черноривцем. А нам, видишь, не пожалели рыжей краски.

— Золотой, Роман! — приснула Яринка.— А теперь, братики, по коням... до каминового моста... Когда это мы доедем до него?

— Доедемся, сестра! — Глаза Романа блеснули задором, рука легла на автомат.

А Ярина головой прижалась к плечу брата.

— Тихо в лесах, даже слышно, как роса падает. Вот было бы так и в мире.

— Если бы в нем не было сатанаилов и ведьмаков,— отозвался Василь, который знал наизусть до сотни сказок. А самая страшная, уже не сказка, а был с сатанаилами. вызывала у него всегда одно непреклонное желание — косить их из автомата. И косил он их упорно, без озлобления, даже с усмешкой в уголках губ. Это даже смельчака Романа удивляло, у которого в бою темнели глаза и тяжелел взгляд.

Вдруг Роман насторожился, предупреждающе поднял руку, стал прислушиваться к шляху. Он первым услышал урчание моторов, многозначительно переглянулся с Василем, а Ярине приказал:

— Садись, любимая сестра, на своего коня и что есть духу мчись к Андреевой сторожке. Мы тебя догоним.

Ярина побледнела, умоляюще посмотрела на брата.

— И не проси и не моли. Беги к коню!

У Ярины задрожали губы:

— Без вас я никуда не поеду. Никуда!

— Я что, языкая, сказал тебе?! — грозно поднял брови Роман.

— Слыхала. Может, повторить? — И такое упрямство выразилось на ее точеном лице, на лепных дугах бровей, на припухлых губах, что Роман только пронзил ее гневным взглядом и чертыхнулся.

Тогда Яринка неожиданно подошла к нему, и в голосе ее зазвучали слезы:

— Романочку, не злись, не чертыхайся, разве ж я у тебя такая плохая? А без нас я не могу... Пото-

му что люблю вас,— и обеими руками вцепилась в карабин.

— Пригаси, девушка, свой жар, а то и нас сожжешь,— только это и сказал Роман и улыбнулся «язычнице».— А теперь к коням. Проверьте седла!

От коней, пригнувшись, с оружием в руках, крадучись подошли они ближе к шляху и застыли в ожидании под старыми деревьями. Из долины накатывался и накатывался густой гул моторов. Вот и фары блеснули, залили светом придорожные деревья.

— Колонна идет,— недовольно прошептал Роман.— Почему бы судьбе не послать хоть какой-нибудь легковушки? Яринка, ноги не дрожат?

— Ноги — нет, а руки подрагивают, не привыкли к карабину.

— Карабин не ухват. И не вздумай без команды стрелять.

— Не вздумаю,— ответила Яринка, желая как-то задобрить брата. А холод и жар бродили по ее телу, как им хотелось. «Чего вам надо от меня?» — успокаивала их и успокоить не могла.

Гул все нарастал, на шляху, слившись с лунной грустью, уже пританцовывал мертвенный свет фар, а в нем барахтались и гибли космы испарений и тумана. Как-то сразу выросли громады грузовых, покрытых брезентом машин; обдав партизан пылью и дымом, тяжелые «женшили» проскочили мимо них, и выровнялись неровные тени, и зашумел листьями напуганный лес.

— Вот и все,— вздохнул Роман. Он мог бы вогнать очередь в какую-нибудь машину, но сейчас с ним была сестра, то созданныце, над которым все время то он насмехался, то она придиралась к нему. И такая бывает любовь.

Вздохнул и Василь, который, верно, был больше лириком в душе, чем Роман, и, вглядываясь в машины, что двигались вдаль, спросил сам себя:

— Доля, где ты?

Доля, наверное, услышала партизана, потому что опушка снова откликнулась натужным урчанием. Но это уже шла не колонна, а одиночная машина, что отбилась почему-то от нее.

— Наша! — прошептал Роман.— Мы с Яриной бьем в мотор, а Василь по кабине. Яринка, у тебя зажигательные? — спросил, чтобы успокоить сестру: чувствовал, что она волновалась.

— Зажигательные, Романочку.

— Тогда в бак стреляй. Знаешь, где он?

— Знаю.

И они замерли у деревьев, будто вросли в них, а руки точно вросли в оружие. Вот свет закачался на шляху, снова ломая течи, ударил в глаза, и в то же мгновение ударили автоматы.

Машина задрожала, взвизгнула, крутнулась, повернула в лес на партизан, над ней и под ней зазмеились зеленые огоньки; не перескочив придорожный ров, она завалилась набок и взорвалась; разорвалась ночь, пламя языками взвилось чуть ли не до самых верхушек деревьев.

Яринка вскрикнула.

— Это бензобак разлетелся,— успокоил ее Роман.

На шляху снова блеснули фары.

— Скорее по коням! — Уже вскочив на своего красногривого красавца, Роман увидел на ресницах Яринки слезы и спустя некоторое время с сочувствием спросил: — Испугалась, маленькая?

— Эге ж...

— И когда же именно?

— Когда машина двинулась на нас. Такая громада! Казалось, она все сокрушит. И страшно, и бежать боюсь, чтобы потом ты не насмеялся.

— В такой момент смело занимай у зайца ноги,— великодушно разрешил Роман.

Когда близнецы, махнув руками Яринке, подъехали к штабной землянке, их первым встретил Иван Бересклет, что как раз стоял на посту.

— Как оно, хлопцы? — спросил с надеждой, ибо ему очень не терпелось скорее выйти на железную дорогу и поднять там шум.

— Есть порядок в партизанских войсках! — весело ответил Роман. — А что у вас?

— Богатеем, деньги считаем только тысячами,— засмеялся Иван.

— Какие деньги?

— Под вечер к нам прибились начфин дивизии с двумя бойцами и принесли два ранца, набитых деньгой.

— Ври больше,— пренебрежительно махнул рукой Василь и постучал в дверь землянки.

Вскоре им открыл двери старый Чигирин. Хлопцы почтительно поклонились ему.

— Заходите!

— А-а-а, братья Кирилл и Мефодий! — поднялся из-за стола Сагайдак.

За ним встал худощавый военный. На петлицах его гимнастерки выделялись кубики старшего лейтенанта. Он приветливо улыбнулся близнецам.

— Кто же из вас, просветителей, Кирилл, а кто Мефодий?

— Теперь я буду Кириллом, а он Мефодием,— не растерялся Роман.

Сагайдак и Чигирин засмеялись. Старший лейтенант удивился:

— Как это понимать, что вы теперь Кирилл?

— Мы так похожи, что часто и отец путает нас, а мы только иногда сбиваемся,— плутовато смотрит Роман то на старшего лейтенанта, то на стол, заваленный деньгами.

— Неугомонный! — смеется Сагайдак. — Он и родился не с плачем, а с шуткой. — И уже серьезно спросил: — Как на железной дороге?

— Тихо, как в ухе. Охрана совсем обленилась, и поезд даже утром можно сбросить с копыт. — И глядит на стол. — А денег наберется с миллион?

— Немного меньше.

— Вот жаль. Хотя бы раз в жизни увидеть мил-

лион, чтобы было чем похвалиться. Так я к этим деньгам немного добавлю своих.

— И в самом деле озорник,— теперь засмеялся старший лейтенант.

— Еще у нас случилось приключение,— смотрит на командира с опаской Роман, и смотреть побаивается, но и сказать надо, и похвалиться хочется. — Ненароком сожгли фашистскую машину, ей-богу, ненароком.

— Как это ненароком? — нахмурился Сагайдак.

— Душа не выдержала,— развел руками Роман. — Это уже после разведки на железной дороге.

— Я вам что говорил?!

— Не ввязываться...

— А вы что?

— Так мы же и не ввязывались, пока не собрали данных,— будто пристыженно промолвил Роман.

— Три дня будете молотить на жерновах, чтобы все видели, какие вы есть...

— А что будем молотить — жито или гречку? — деловито лукавит Роман.

— Какое это имеет значение?

— Большое. Возле гречки, зная, что она пойдет на блины, не переутемишься.

Сагайдак только руками развел и ресницами погасил усмешку.

— Значит, сожгли машину. А что дальше?

— Бежали, аж подковы дымилась у коней.

Услышав такой ответ, командир рассмеялся, а у Романа по всему лицу зашевелились хитришки:

— Так, может, мы свою норму смеем не на жерновах, а на ветряке? Ведь у него явный перевес над человеком.

— Какой это у него перевес? — удивился Чигирин.

— Самый обыкновенный: у ветряка четыре крыла, а у человека только два, и то не у каждого.

На этот ответ Сагайдак так рассмеялся, что даже слезы выступили на глазах, а близнецы хотя и притихли, но уже знали, что гроза обошла их чубатые головы...

И снова предвечерний лес, и тени деревьев на рельсах, и партизаны возле железнодорожного полотна, мелькающие, словно тени. Теперь Василь и Роман притаились в засаде ближе к станции, а на полотне, возле стыков рельсов, орудуют старый Чигирин и Иван Бересклет. Вывернув болты из накладок, что соединяют рельсы, они сползают с насыпи, а на полотно с лапами поднимаются Петро Саламаха и Григорий Чигирин.

— «Эй, ухнем», — тихо говорят Саламаха и лапой приподнимает железо. У него костыли выскакивают, как грибы, и он изредка насмешливо глядит на Григория, который начинает пыхтеть. — Хлопче, может, поменяемся местами, а то у тебя, видно, дерево болес твердое?

— Обойдется. Вот отдышусь и догоню хвостуна.

Вглядываясь в даль, волнуется Сагайдак, тревожится, а на память неизвестно почему наворачива-

ются только два слова: «Остановись, мгновение», «Остановись, мгновение». Это в том смысле, чтобы все остановилось, что может помешать им.

На станции раздался гудок паровоза. Неужели наш? Неужели наш?

Сагайдак, пригнувшись, взбирается на насыпь, показывает Саламахе и Чигирину, на сколько надо раздвинуть концы рельсов. Партизаны приподняли их лапами и отвели в стороны — вот и вся техника. Вот и вся. А в голове уже отдается стук колес еще невидимого поезда. А теперь — в леса!

Бежит по рельсам дрожь, нервно, наперегонки скачут по ним лучики, и уже, чихая паром, разбрызгивая искры, надвигается темная громада. И вдруг с разгона оседает паровоз, бешено вгрызается в насыпь, и черт знает как переворачивается, а на него с неистовым треском, скрежетом и визгом насккивают, разламываясь и громоздясь, вагоны. Из их разверзшихся внутренностей клубами вырываются белые облака.

— Газы! Газы! — испуганно кричит Иван Бересклет и топает своими сапожищами в глубину леса.

За ним бросаются несколько партизан, подхватываются с земли и Василь, да Роман властно придерживают его рукой.

— Не беги, брат. Если умирать, то не трусом.

В лесу, видно, кто-то остановил Бересклета, так как тот снова завел свое:

— Это же газы! Наверное, баллоны полопались.

— Тю на тебя, дурень! — спокойно отозвался старый Чигирин. — Это не газы, а мука. Завтра из нее коржей испечем.

— Опять коржей! — с огорчением пробормотал молчаливый Саламаха.

И хохот покрыл его слова.

XVI

— Куда же вы такой, больной и перебинтованный? Побудьте у нас еще денек, — жалостливо зашептали девичьи ресницы. — Слышите?

— Спасибо, Ганнуся. Побреду уж как-нибудь, а если не смогу, так поковыляю, словно бедняга рак. — Данило пальцами показал, как он будет ковылять, и Ганнуся улыбнулась, но сразу и загрустила. — Чего ты, доченька? Чего, маленькая? Чего, ласковая?

— Грустно мне будет без вас, — потупилась девушка.

— Почему же, Ганнуся?

— Батько пошел на войну, вот и вы пойдете, а я снова останусь одна-одинешенька на свете.

— Почему же одна? А челн на речке? — хочет как-то развлечь ее Данило.

— Вот разве что челн да весло. Но теперь и на нем далеко не уедешь — полиция следит. Сейчас хотите идти?

— Сейчас, а то ноги уже сами просятся в дорогу.

— Не так ноги, как душа, — понимающе покачала

головой девушка, затем подошла к сундуку, подняла тяжелую дубовую крышку, достала из-под каких-то одежонок бобриковое пальто. — Тогда возьмите отцовское, ведь по ночам уже на пару приходят туман и холод.

— Чем я смогу отблагодарить тебя?

— Если живы будете, то хоть напишите. Только непременно оставайтесь живым!

— Постараюсь, Ганнуся. — Данило невольно потянулся к девушке, погладил, как гладят детей, ее голову, толстую косу. Невыразимые жалость и тревога за судьбу этого доверия и красоты, что молча стояли возле него, уже не надеясь на свое счастье, охватили его душу. Закончилась бы война, пришел бы с войны ее отец — вот все ее счастье. Да будет ли такое?

Ганнуся неожиданно вздрогнула, отпрянула, настороженно повернулась к окну.

— Что там?

— Кажется, кто-то скрипнул воротами. Кого-то несет нелегкая — к крыльцу идет. Прячьтесь в каморку.

Данило метнулся в каморку, а в это время постариковски закричали, заскрипели высохшие половицы крыльца и кто-то тихо постучал в дверь.

— Кто там?! — испуганно откликнулась Ганнуся.

Снаружи послышался приглушенный смех:

— А это я. Не узнаешь?

— Юрий.

— Он самый!

— Сумасшедший! Чего ты по ночам шатаешься и пугаешь людей?

«Сумасшедший» снова засмеялся:

— Открой, Ганнуся, тогда скажу на ухо.

— Эге, так и открою кому-то!

— А я думал, тебе со мной веселее будет.

— Что-то не ко времени ты веселым стал.

— Ганнуся, разве тебе еще че пора гулять? Или ты, может, примака приняла?

— Известно, приняла — не ждать же тебя.

Но Юрко и от этого не унывает:

— Дай хоть погляжу на этого приبلудного: похож ли он на человека?

— Завтра приходи. И завтра я расскажу твоим родителям, как ты людям спать не даешь.

— Не будь, Ганнуся, привередницей и ведьмочкой вместе: ведь тебе, когда подрастешь, еще и замуж надо выйти. Вот лучше открой.

— Когда выйдешь за ворота, тогда открою.

— А кто же меня своим зельем приворожил?

— Иди, хлопче, не морочь голову.

Юрий, что-то недовольно бормоча, потоптался на крыльце и пошел от дверей. Девушка погодя открыла их, посмотрела на луга, выглянула на улицу, а потом выпустила из каморки Данила.

— Это кто, Ганнуся, ухаживает за тобой?

Девушка отмахнулась рукой:

— Есть такой ветрогон на нашей улице — один утопленник,

— Что-что?!

— Утопленник, говорю. Плавать не умеет, хоть и возле речки живет, а купаться лезет на глубокое. Вот и утонул было в прошлом году. Намучилась я, руки надорвала, пока вытащила его на берег. Чуть было и меня не утопил. Вот и нашла теперь мороку на свою голову, — будто сетует на кого-то, а по губам пробегает тень загадочной улыбки.

— А может, это любовь?

Ганнуся покраснела:

— Да он трубит о ней, научился у кого-то. А разве ж о любви трубят?! Так идете?

— Иду.

Девушка снова юркнула в каморку и вскоре вынесла оттуда торбу, завязанную шерстяной веревочкой, связанные концы которой сунула в руки Данила.

— Если уж так решили, то возьмите этот сидор, в дороге пригодится.

— Я, Ганнуся, становлюсь твоим вечным должником.

— И не говорите такого... умного.

Они молча выходят на подворье, за которым спускаются к речке некошенные луга. Тут на предосенних травах лежали звезды, под травами, ожидая рассвета, дремал туман. Теперь, когда угасала жизнь корней, туман каждую ночь отлеживался на них, а потом, прихрамывая, поднимал над землей холодок скошенной мяты и влажность затопленных лилий... Лилией называли до замужества и его сестру Оксану. Как она там? На темном полотне вечера память начала воскрешать женский образ, большие ласковые глаза, подведенные предосенней грустью. И дети Оксаны, и Мирослава, и Стах, и дядько Лаврин со всей семьей, и дед Гримич, что так хорошо пел о Морозенке, сразу вспомнились, подступили к нему. Живы ли? Живы ли?

Он стоял перед пойменными лугами, сверкающими росой и звездами, над которыми серпик луны рассеивал нити серебра, а в мыслях уже был возле татарского брода, там, где кони топтали ярую мяту и туман, а теперь нынешние ордынны топчут жизнь. Но не вытоптать ее извергам с их бесноватым фюрером. И у Данила невольно сжались кулаки.

— Вы уже там, возле своих? — легонько коснулась его руки Ганнуся.

— Там, серденько, там, ясочко.

— И кто-то там ждет вас?

— Наверное, ждет, если война не скосила.

Девушка приумолкла, взяла весло, что лежало около ограды, и они по росе пошли лугами к речке, что тихо убаюкивала берег, и челны на берегу, и вербы над берегом. Неподалеку всплеснула рыба, это напугало Данила. Теперь можно и рыбы, и волны испугаться. Пригнувшись, он спустил на воду вербовый челн — Ганнусино приданое, как шутил ее отец.

— Садитесь. Повезу вас по нашим звездам, — грустно сказала девушка.

— Может, я погрёбу?

— Еще перевернетесь на этой душегубке. — Ган-

нуся тихо махнула веслом, и челн вправду пошел по звездам, пугая и кроша их.

С кем же он когда-то плыл вот так ночью? Да это мать перевозила его, малого, через татарский брод. Тогда в челне лежали татарское зелье и аистов огонь. А теперь не аистов, а адский огонь пошел по всему миру, выйдет ли он из него, и выйдет ли из него эта пригожая девушка?

Не повезло ему в первые дни войны. А если повезет теперь, то до последнего будет биться с недолей, чтобы хоть немного поубавилось горя у людей. Погрузившись в мысли о своем селе, о своих лесах, он уже не видел, как на ресницах девушки задрожали две слезинки.

Челн мягко коснулся берега, тут, обнявшись, как в песне, печалились предосеньем три вербы. Данило соскочил на влажный песок, подал Ганнусе руку, и девушка легко спрыгнула на берег.

— Как ваша рана? Не дает о себе знать?

— Нет.

— И нисколько не болит?

— Как же она может болеть, если ты лечила меня? Спасибо тебе, доченька, за все.

Ганнуся всхлинула.

— Ты чего?

— Кто же меня теперь доченькой назовет? Вот скажете вы так, а я тату вижу. Он даже похож на вас, только вы чуть выше его.

Данило обнял девушку, она встала ча цыпочки, неумело поцеловала его, потом вытерла ресницы, и руки ее упали, словно неживые. Он взял их в свои и неожиданно заметил, что карман Ганнусиной жакетки оттопыривается.

— Что там у тебя?

— Ой...

— Говори, говори.

— Бельгийский браунинг второй номер, — сказала она, волнуясь, вынула пистолет, взвесила его на руке.

— Где ты взяла его?! — удивился и обрадовался Данило.

— Да... — не знает, что сказать, и собирает морщинки на невысоком лбу.

— Если не хочешь, то не говори.

— Один хлопец принес... подарок на именины.

— Хорошие тебе подарки приносят.

На это Ганнуся серьезно ответила:

— Какое время, такие и подарки.

— А того хлопца случайно не Юрком зовут?

— Юрком.

— Где же он его раздобыл?

— Говорил, что немного наворовал у гитлеровцев.

— Ганнуся, подари мне это оружие — ведь я иду домой безоружным, с одной душой.

Девушка грустно глянула на Данила.

— Если вам очень надо, возьмите. Я же знаю, что вы пойдете в партизаны.

— Почему ты так думаешь?

— По всему видно. А когда станете командиром, тогда заедете за мной. Я вашим партизанам обед буду варить. Заедете?

— Непременно.

Девушка вздохнула:

— Все равно обманете.

— Зачем ты, Ганнуся?

И уже не доверие во взгляде, а вековой женский укор обжигает его.

— Потому что мужчины всегда обманывают нас.

Данило удивленно посмотрел на девушку:

— Откуда ты знаешь?

— Мои тетки так говорили. И взрослые девушки это говорят... Так заедете?

— Непременно! Вот увидишь, доченька!

— Я буду ждать вас. Не забудьте...

И такая была у нее вера, что грех было бы хоть чем-то обидеть девушку.

На том берегу послышался всплеск весла, раз и второй. Данило насторожился:

— Кто бы это мог быть?

— Юрко! — уверенно ответила девушка, и в уголках ее губ пробилось превосходство.

— Откуда ты знаешь?

— А он тихо не умеет — так гребет, словно мешки бросает, не знает, куда силу девать. — Челн выплыл на середину речки, и теперь Ганнуся спросила: — Юрий, это ты?

— А как ты меня узнала? — радостно откликнулся ломающийся юношеский голос.

— Орлиный клекот даже из-под тучи слышно, — насмешливо ответила девушка.

— Не будь, Ганнуся, ведьмочкой. — Юрий снова гребнул, словно мешок бросил в воду, и вскоре его челн с разгона врезался в берег.

Теперь Ганнуся гордо выпрямилась и стала сама неприступностью. Откуда она только взялась у нее? А юноша, шурша отавой, уже осторожно подходит к ним. Поздоровавшись, он деланно веселым голосом заговорил с Ганнусей:

— Вот не ожидал встретить тебя с кем-нибудь.

— Как ты догадался приехать сюда?

— Посмотрел, что нет твоего челна, да и встревожился.

— Ты даже встревожиться можешь? — насмешкой донимает хлопца Ганнуся.

— Вот и встревожился, хотя и не о ком было, — не остается в долгу Юрий. — Я догадывался, что у тебя кто-то есть, — однажды вечером видел, как шел с твоего двора врач.

— Какой ты догадливый у нас. И что из тебя будет, когда подрастешь?

Данило с удивлением прислушивался к их перепалке и все больше убеждался, что Юрий по уши влюблен в Ганнуся. Да и она, видно, клонится к нему душой. Но привередничает, как умеют привередничать девушки, когда чувствуют свое превосходство. Только где же и когда могло взяться такое у этой лозинки, что одной правдивостью смотрит на мир? Ох, эти девушки и молодницы, ох, это Евино сластие, как говорил о женщинах один дьяк-приблуда...

— Ганнусенька, так я пошел.

— А мы вас проводим с Юрком, ведь мы знаем тут все тропинки.

— Конечно, проводим, — голубем заворковал паренек и радостно посмотрел на Ганнуся, свою любовь и свою ведьмочку.

XVII

И вот долгожданный татарский брод с осколком луны посередине, и молчаливый приселок, что уткнулся в неровный берег, как младенец в материнскую грудь, и тревога птичьего грая в небе, и тихое всхлипывание склонившихся верб, и дремота вербовых челнов, привязанных к комлям.

Конь остановился, время остановилось, только в груди так стучит сердце, словно хочет разбудить уснувший приселок.

«Чего ты? Чего? Пора бы уж огрубеть, покрыться корой». Да не покрывается оно корой, и даже в такую годину его волнуют сон этого забытого приселка, полусон реки и дрема простых челнов, что с берега на берег перевозили его детство, а потом любовь. Где она и что с нею теперь?

Данило соскакивает с коня в заросли краснотала, прислушивается к ночи, к берегам, к хатам-белянкам: в одной из них, верно, отдыхает Мирослава. И снова под тучами печалится птичий грай и подает голос ему из приселка одинокая журавлиная труба. Это отзывается тоска подбитого журавля, который второй год живет у Ярослава Гримича. Август — пора перелета, самый тяжелый для него месяц. А для человека теперь стали тяжелыми все месяцы. Все!

Всплеснула рыба на быстрине, и ёкнуло в груди, а ведь он так спешил сюда: и к той вишне, под которой вечным сном почил его мать, и к тому жилью, где созревают пшеничные волосы его Мирославы, и к тем людям, с которыми должен быть всегда вместе...

Сначала Данило добрался до кладбища — чувствовал за собой вину, что не поклонился могиле матери, уходя на фронт. Нашел то дерево, которое выросло у ее изголовья, и только коснулся его рукой, как на землю посыпались перезревшие вишни. И птица не склевала их, — наверное, и ее меньше стало в войну...

Из-за деревьев, раздвигая туман, вышел сгорбленный, облитый сединой кладбищенский сторож, который полвека встречал гробы и жил среди могил и крестов, в старой, похожей на гриб часовенке. Он не узнал Данила, потому что в безумной круговерти времени померк его разум. Приглядываясь побелевшими глазами к путнику, скорбно спросил:

— Ты ж, человек, не из тутешних?

— Из тутешних, дед.

— А я что-то не узнаю тебя. Стариков всех узнаю, а на молодых не хватает памяти.

— Почему же вы, дед, в селе, среди людей, не живете?

— Как же мне жить дома, если старуха вот тут

под барвинком почивает, а всех сыновей и внуков забрала война? Вот и остались в хате одни слезы невесток. Может, нарвешь себе яблок или грушек? Уродило их в этом году, даже ветки ломаются. Слышишь?

И Данило правда услышал, как недалеко застучала плодами отломившаяся ветка. А старик все стоял возле него.

— Ты ж из войны вырвался?

— Из войны.

— А о моих детях и внуках нет ни слуху, ни полслуху. Такого кровопролития, как теперь, и при татарщине не было.

На глаза навернулись старческие слезы, и он понес их с блестками луны в часовню, где все ночи сторожит постаревших святых, которые должны были оберегать и предостерегать людей. Скрипнули пересохшие двери часовни, и Данила насквозь пронзили не то тяжелые стоны, не то всхлипывания:

— Деточки мои, дети, где же вы теперь?

То не боги скорбели, а человек, который весь век прожил с молчаливыми богами...

Заросшей кладбищенской дорогой, на которую с могил выбились низкорослые петушки и мята, Данило направился на прикладбищенскую леваду, где пустил коня пастись. Но что это? Неподалеку от его воронка в высокой шапке стоял как столб дородный мужчина. «Откуда ты взялся, такой проворный?» И выхватил из кармана пистолет.

Человек обернулся к нему, поднял руку и тихо пробасил:

— Не бойтесь, Данило Максимович, это я, Волошин.

— Поликарп Андреевич? — удивился Данило.

— Эге ж, эге ж, — закивал головой здоровяк и как-то неровно пошел к Данилу, нерешительно остановился перед ним, не зная, что делать: подать руку или не подавать? И такой тоской были наполнены его глаза, что даже при луне тяжело было глядеть в них. Какое же горе так мучает тебя, человеке?

Данило хорошо знал Поликарпа Волошина, который в тридцатом году попал под раскулачивание. Собираясь в Сибирь, он по-хозяйски отобрал лучшее зерно, уговорил миловидную кареглазую жену не ехать с ним, да и подался туда, где тоже есть люди и земля. Обращивать же ее он умел с детства. Вот только будет ли в холодном краю родить гречка?

А в тридцать шестом году Волошин возвратился из далеких краев; там также не гуляли его руки, и он с исправными документами приехал к своей Ганне, на волосы которой уже лег осенний туманец.

На следующий день, еще на рассвете, человек пришел к Данилу, вынул из кармана пиджака беленькую тряпочку, в которую были завернуты его характеристики, и не садясь спросил:

— Примете в колхоз или мне на стороне искать работу?

— А что вы с теткой Ганной надумали делать? Волошин невесело улыбнулся в ржанные нависшие усы:

— Не хочу сползать с земли, не хочу на ней быть и перекасти-полем. Если не желаете, чтобы работал вместе со всеми, то я могу в смолокурне чуметь, могу и за рыбой в прудах присматривать — у меня легкая рука.

— Что ж, если легкая, то становитесь старшим по рыбе.

И тогда задрожали ресницы и усы у человека. Он вздохнул и уже с облегчением спросил:

— Значит, верите мне?

— Верю, Поликарп Андреевич.

— Спасибо за доверие! — растрогался человек. — Когда-то у меня не было его к людям, а только к зерну и к скотине, да и сам, считайте, был наполовину скотом. Какими уж трудными ни были мои последние годы, а не проклиная их, потому что среди людей начал обретать веру...

Эти слова надолго остались в памяти Данила. А Волошин ни в чем не подвел ни его, ни людей...

Это было «тогда». А что теперь тебя измучило?..

— К матери ходили? — неожиданно спросил Волошин и, сняв шапку, повел поседевшей головой в сторону кладбища.

— К матери, — вздрогнул Данило.

— И до сих пор помню ее голос — она же с моей Ганной была в девушках. Вместе пели: «Разлились води на четири броди...» А теперь разлилась кровь на все броды.

— Что с вами, Поликарп Андреевич?

— Коварство судьбы, — тоскливо вздохнул человек. — Послушаете?

— Говорите.

— Оно бы лучше повернуть на мое подворье, чтобы никакой черт из тех, кого язык брехней кормит, не встретился.

И хоть как тихо они ни подходили к заросшему спорышом подворью Волошина, все же их услышала тетка Ганна, вышла из хаты, узнав Данила, вскрикнула и бросилась к нему с распростертыми объятиями.

— Данилко, дитя! Живой?!

— Живой, тетка Ганна.

— Так пойдемте же в хату. Какой же ты измороженный... Да все-таки живой. А мы живем и не живем... Рассказывал тебе? — со слезами глянула на мужа.

— Молчи, старая. Вот сейчас обо всем, как на духу, поведаю. Дай только в хату войти.

В жилище тетка Ганна сразу же кинулась к печи, а Поликарп Андреевич начал свой нелегкий рассказ.

— Не знаю, будешь ли теперь есть у меня, когда скажу, что я стал председателем общественного хозяйства.

— И как это вас туда занесло? — насторожился Данило.

— Новая власть мне как раскулаченному доверила это хозяйство. Я всячески уклонялся да отнекивался, но люди стали уговаривать, потому что могут

ведь какого-нибудь дьявола назначить. И все-таки приневолители меня. Вот и живу теперь гак, будто мою душу в колее раздавили.

— И как же вы хозяйничаете?

— Что можно было припрятать, припрятали, а хлеб и скотину втихую раздаю, чтобы как можно меньше поживы фашистам досталось. Начал со свинофермы. Ни одного свиного хвоста не досталось людоедам. Захотела новая власть толкнуть меня на подлость, но ничего из этого не выйдет, верно, на виселицу пошлет. А если выживу, тоже радости мало: что скажут наши, когда возвратятся? Вот это больше всего меня и мучает. Видишь, как попусту растратил я время из-за моей глупой головы. — И снова вздохнул. — Скажи по правде: осуждаешь меня?

— Нет, Поликарп Андреевич... Только не забудь те вдов и сирот.

— Он, Данилко, им раньше других хлеб завез. У тебя же науку проходил, — отозвалась тетка Ганна, ставя на стол тарелки. В лунном свете на ее ресницах дрожали слезы.

Данило наклонился к ней, поцеловал в щеку.

— Спасибо, дитя, — женщина грустно улыбнулась и рукой вытерла глаза...

...Конь по колени зашел в брод, мягко начал перебирать губами подсвеченную воду, потом заржал, и тогда с того берега, с низины, тоже послышалось ржание; оно словно подхлестнуло вороного, разбивая волночки и облака в них, он пошел, пошел вперед, потом, вытягивая шею и вздыхая, как человек, поплыл на тот берег. Данило даже руку приложил к глазам: вспомнил бой возле речки и то, как ее переплывали оседланные кони, что пережили всадников. А тем временем вороной выбрался на сухое, отряхнулся, мотнул гривой, захватил в нее свет луны и со ржанием помчался к своим собратям.

Возле старой, с выжженной сердцезиной, вербы Данило увидел испривязанный челн, потянул его к воде, тут же нашел шест, которым рыбаки крепят ссти и тихо-тихо, как во сне, поплыл к тому берегу, к своей любви, к своей Мирославе.

А может, и в самом деле он заплывает в сон? Потому что чудодейственную силу превращений имеют наши вечерние реки и броды, когда в них тонет и не тонет луна, когда в таинственных зарослях камышей затихает птица, когда клочья туманов, словно деды, не знают, где найти пристанище, когда возле прибрежных жилищ, отделяя их от огородов, не плетни стоят, а висят ветхие рыбацкие сети, когда на подворьях в почете доживают свой век старые челны. Сколько же доброго, прекрасного, великого и величественного на свете! Так почему же безумие обрекает человека на ненасытность, бессмысленную смерть, тлен?.. Вот и пропал сон, что на минутку убаюкал его.

Вытянув челн на песок, вышитый крестиками птичьих следов, Данило снял с плеча винтовку, проверил, есть ли в патроннике патрон, осторожно пошел

тропинкой, над которой нависали платки верб. Невже ли осталось лишь каких-то триста шагов до Мирославы? Как она встретит его? Так ли зазвучит ее низкий голос, как звучал в предчувствии материнства? И подарка у него никакого нет. Все это будет потом, если останется он в живых.

Вот и хата ее, вот и старые сети вместо плетня, и не рыба, а живые цветы попали в их ячеи да и цветут себе, покоряясь ночью духу маттиолы — цветку их первой встречи. Держась тени, держась поклеванных воробьями подсолнухов, он подходит к жилью и с удивлением замечает на завалинке новенькие, ушками вверх, женские чеботки — как раз по ноге Мирославы. Почему же они ночью стоят тут? Данило поднял их, и каблуки блеснули подковками. По всему видно, что хороший сапожник сделал их. Не старик ли Гримич? Этот из тех, которые все умеют.

Данило поставил чеботки на завалинку, стукнул в окно, но в хате ни звука. Он стукнул второй, третий раз и, страшась тишины, припал головой к окну, затем бросился к порогу, нечаянно задел чеботки, они упали с завалинки. Снова поставил их на место, под дощечкой нашел деревянный ключ, торопливо открыл дверь, остановился, прислушиваясь, в сенях, а потом вошел в горницу, в которой гулко отдавались его шаги. Дойдя до дерюжки, что лежала посреди хаты, он остановился, огляделся и понял, что тут никого нет. Вот и добрался до своей грустной любви. Только где она? Куда ее занесло это лихое время?

Данило вдруг почувствовал себя таким разбитым, усталым, одиноким, что от стога содрогнулось все его тело. Словно лунатик, начал шарить по хате, чтобы понять, ощутить, давно ли ее оставила Мирослава. В доме теперь не было ни хлеба, ни к хлебу, и остывшая печь уже не держала в себе духа черешневых дров. Значит, Мирослава давно не было тут. Но почему на завалинке стоят ее чеботки? Он вышел во двор, прислушиваясь к тишине, к татарскому броду.

Безмолвие, одно безмолвие вокруг. Снова взял в руки ту немудреную деревенскую обувь, что спасает нас в ненастье на черноземе. Теперь на сапожках лежала роса. «В первый или последний раз? Какие только мысли не лезут в голову!» Он свои первые покупные сапоги, когда ложился спать, клал под голову: боялся, что могут исчезнуть ночью. А куда же девать эти? Пусть стоят на завалинке, как стояли. Нестерпимая боль терзает грудь, ослепляюще бьет луна в глаза, а Чумацкий Шлях, предвещая непогоду, окутывается серебристой мглой. Может, пойти к Оксане? Так перепугает же всех. Лучше на рассвете постучать к ним. И он снова идет в хату.

Вздыхают сени, вздыхает хата, вздыхает за камышами невидимый брод, а тут, на передней части печи, обрызганной луной, ожидают рассвета круглые красные петухи. Что будет, то будет, а он отсюда не уйдет: раз ссть загадка, то, может, дождется и разгадки. Как ошалелый, послонявшись из угла в угол, Данило ставит возле кровати винтовку, да вся-

кий случай немного открывает окна, потом снимает сапоги и, не раздеваясь, ложится на застланную постель: так, если и заснет, то меньше будет спать. Он еще прислушивается, что делается во дворе, приглядываясь к луне, что повисла над бродом, с грустью в полусне думает о Мирославе. А в это время неожиданно оживают нарисованные петухи: встрепетали, захлопали крыльями, стряхнули лунную росу и запели. Рассвет у нас всегда встречают петухи, а утро — голуби. Ожило и само жилище, качнулось в одну сторону, качнулось в другую, как пароход, поплыло по огородам, по лугам, по речке, и в него начали набиваться бойцы его взвода, да все с винтовками, с автоматами, с пулеметами, с гранатами «РГД» и «Ф-1», противотанковыми минами, с мешками взрывчатки. Ага, им же надо заминировать мост. Вот он металлическими радугами ферм соединил берега и тихо уткнулся в красивые гроздья калины. И вдруг откуда-то сбоку донеслись голоса Ярины и Мирославы.

Ярина. Смотри, какие у тебя хорошие чеботки!

Мирослава. В самом деле хорошие. Спасибо твоему дедусю.

Ярина. Вот и прощай, сестра. Не знаю, скоро ли увидимся.

Мирослава. Как жаль, Яринка, что тебя посылают в город.

Ярина. Такая уж моя доля. До свидания, если еще увидимся.

Мирослава. Ой... Подожди, я одна боюсь заходить в хату.

Яринка. Тоже мне партизанка! — и послышался грустный смех, какого никогда никто не слышал от Яринки.

Сухо, как аист клювом, щелкнула щеколда, отскочили наружные двери, и Данило приподнялся на локте, еще не в силах отделить сон от язи. Он слышит в сенях шуршание, затем распахнулась дверь и в хату вошли две женские фигуры. Данило хочет окликнуть их, но что-то перехватило дыхание, отняло речь, и только мысленно обращается он к ним и ощущает, как радость охватывает его: в лунном сиянии увидел те волосы, что созревали на его руке.

— Посидим, Яринка, перед дорогой, — сказала Мирослава и села возле окна. — Как-то тебе будет в том городе?

— Завтрашний день покажет. Сагайдак сказал, что в управе есть верный человек. Вот если все обойдется, стану я и хозяйкой кафе, и шинкаркой в нем.

— Ой, как это страшно, — вздохнула Мирослава. — Мы будем среди своих, а ты среди чужих. — И вдруг испуганно поднялась. — Вроде кто-то приходил сюда.

— Наверное, мой дедусь.

— Так почему же он поставил чеботки на за-
валинке?

— Мирослава, не бойся, это я. — Данило так тихо сказал, что и сам едва слышал свой голос.

— Ой! — одновременно вскрикнули Мирослава и Яринка, рванулись к двери и остановились. — Кто это?

— Не узнали? — хочет усмехнуться Данило, да что-то и усмешку, и голос сдвинуло ему.

— Данило! Данилко! — вскрикнула Мирослава и, не то смеясь, не то плача, бросилась к нему.

— Неожиданно, зато эффектно, — встала Яринка, блеснув своими театральными познаниями, засмеялась, подошла поздороваться к Данилу, а потом произнесла известную реплику: — Мавр сделал свое дело — мавр может уйти, — и выскользнула из хаты, неизвестно почему вытирая рукой ресницы.

Данило обнимает Мирославу, подводит ее ближе к залитому лунным светом окну.

— Ты? — и сам понимает, что трудно задать более нелепый вопрос.

— Я, Данилко, — улыбается, и вздыхает, и всхлипывает одновременно Мирослава. — Пришел?

— Пришел. Сколько думалось об этой минуте, — и поднимает ее на руки, прижимает к себе.

— А сколько дней и ночей я высматривала тебя и возле хаты, и возле брода.

— Но где ты ходишь по ночам? Так перепугала.

— Вправду? — тихонько, по-детски, засмеялась Мирослава. — Тебя — и перепугала?

— Ну да. Так где бродишь по ночам, да еще с карабином?

— Мы только что из партизанского отряда Сагайдака. Опустил на пол, тебе тяжело.

— Так ты партизанка?!

— А почему это тебя удивляет?

— Как-то не думал об этом.

— Так сама жизнь рассудила.

— Кто-нибудь еще, кроме вас, есть там из женщин?

— Пока еще нет, да и Яринка, наверное, уйдет от нас. Нам отдельную землянку оборудовали, печь из железной бочки поставили, а в гильзах от снарядов горит огонек и стоят цветы... Данило, родной! Никак не верится. Похудел, побледнел. Верно, был ранен.

— Да был.

— И куда? — вскрикнула Мирослава.

— В одно счастливое место — недалеко от сердца.

— Он еще и смеется.

— Потому что уже прошло. А как ты чувствуешь себя? — Спросил, тревожась, думая о той тайне, которая волнует каждого отца.

— Мы хорошо чувствуем себя, — и уткнулась головой в его грудь.

— Спасибо, милая, спасибо, любимая, — целует ее, целует ее пшеничный снопок, который теперь пахнет не матиолой, а лесом и дымом.

На какое-то мгновение она замерла возле него, а потом, встрепенувшись, глянула в окно.

— Светает, Данилко, нам скоро надо в леса. Я пришла за одеждой и сапогами.

— Меня возьмешь с собой?

— А как же! Сагайдак будет рад.

— Ты откуда знаешь?

— Потому что он несколько раз спрашивал и говорил о тебе. У тебя есть какое-нибудь оружие, потому что у нас без него не принимают в отряд?

— Вот так и говорили они о любви,— печально улынулся Данило.

— Что поделаешь, любимый, если война... Собирайся, Данилко, а то уже просыпается калиновый ветер...

— И в броне утки расклеивают ночь,— повторил Данило те слова, которыми Мирослава часто встречала их рассветы.

XVIII

Утренний лес, утренние клубы шумов, утренние нетронутые слезы росы, что в предосенне пахнут вином, и первый всполох солнца на косах Мирославы и стучащее сердце: а как его встретят здесь? В тревоге сходятся и расходятся водоворот мыслей, они то поднимают тебя на крыльях, то жалят, словно шершни.

— Волнуешься? — догадывается Мирослава, что беспокоит Данила, и слегка прижимается к нему плечом, в которое вдавливается ремень карабина.

— Беспокоюсь.

— Все, любимый, будет хорошо,— осветила его таким взглядом, какого, верно, ни у кого в мире нет.

Вот тебе и хрупкая вербочка с карабином на плече, вот тебе твоя верная судьба.

— Было бы это к добру. — Данило невесело подменяется над собой, а в мыслях то встречается с Сагайдаком, то сражается с врагами, ведь для этого и в снах, и наяву спешил сюда. Тут он не пожалеет ни своих сил, ни фашиста, будь проклят он!

— Вот и подошли к нашему жилью! — остановилась, повернулась к нему Мирослава. — Я к своей землянке сразу привыкла. И днем, и ночью лес наполняет ее своим шумом. Проснешься от него — да и вспомнишь и свои поля, и татарский брод, и калиновый ветер.

Данило улынулся.

— Ты и сейчас такая, будто из калинового ветра вышла.

— Нравлюсь тебе? — спросила будто с насмешкой и потянулась к нему.

— Самая лучшая в мире.

— Не разбрасывайся так мирами... Нам близнецы в землянку петуха бросили, не петух, а пучок огня. Ему не с кем драться, так он вскидывается на каждый звук лесной птицы.

Неожиданно тихий оклик:

— Стой! Руки вверх! — и сразу же веселый смех.

Из-за деревьев плечом к плечу выходят с оружием в руках Роман и Василь, высокие, стройные, буйночубые, они идут между деревьями, как боги леса, а за ними двумя тропинками темнеет трава, страхующая росу.

— Вот же зловредные, непременно надо им напугать! — деланно хмурится Мирослава. — И кто вас научил так маскироваться?

— Секрет партизанской фирмы. — Близнецы здороваются с Мирославой и Данилом. — Вот и вы прибились к нам!

— Прибился,— волируется и даже завидует близнецам Данило. — Не прогоните?

— Такое скажете в воскресенье! — искренне удивляется Роман, которого Василь почему-то называет старшим. — Побудьте тут, я пойду к Сагайдаку, потому как порядок есть порядок.

Он незаметно исчезает в тенях, в шумах, в деревьях, а за ним идет Мирослава — даже ей нельзя стоять возле дозорного.

— У нас командир не терпит беспорядка,— поясняет Василь, приглядываясь к лесу и дороге, которая и в колеях уже заросла травой — давно, видно, не ездили по ней. — Попытался кое-кто своевольничать, да потом краснел, как рак, перед всем отрядом. А одного индивидуума, что очень рвался к власти, выгнали из отряда. И недаром — он уже пристроился в церкви дьячком. Святые куличи, говорит, брюха не разрывают. Что вы на это скажете?

Данило слушает и не слушает Василя: мысли идут вразброд, а минуты тянутся, словно вечность. Кажется, не дни, а годы ждал он часа этой встречи. А разве не годы? Ведь еще с детства, живя романтикой книг и живых рассказов, не раз видел себя партизаном. Вот и должен теперь делом доказать, на что способен.

Между кудрявыми дубами показались Сагайдак и Чигирин. Забывая все, Данило на какое-то мгновение астыл, а потом бегом бросился к ним и растерянно остановился.

— Проворный! — приветливо улыбается ему Чигирин.

— А он всегда был проворным. — Сагайдак говорит так, будто они расстались вчера, и обнимает Данила. — Здравствуй, здравствуй, голуба.

— Доброго утра вам! Доброго утра! — переводит дух Данило и чувствует, как защищало в глазах.

— Будто обрадовался? — лукавят Сагайдак и, подбадривая, хлопает его рукой по плечам, сбрасывая с них какую-то часть тревог.

— Обрадовался, Зиновий Васильевич. Так думалось об этой встрече, так хотелось найти партизан.

— Вот и нашел, — и партизан, и... партизанку. Ты к нам в гости или насовсем?

— Насовсем, коли примете.

— Примем, если будешь бить фашиста, а не отсиживаться в лихую годину, — сказал Сагайдак то ли в шутку, то ли всерьез.

— Буду бить, Зиновий Васильевич! Хоть сейчас в самое пекло посылайте.

— Не спеши, будет еще и пекло. Теперь оно не сказка, — нахмурился, насупил брови командир. — Бил Марко¹ чертей в пекле, должны и мы бить. Что же, пойдём в наше жилище. Вилу, ранен был?

— Уже поправился. Руки-ноги со мной.

— Ноги у нас нужно иметь заячьи, а душу орлиную, — шуруется Чигирин.

В землянке все трое сели за стол, покрытый не скатертью, а немецкой картой с нанесенными на ней

¹ Марко — персонаж украинского фольклора.

какими-то знаками. Данило сразу нашел на ней и свой райцентр, и свое село, и леса, и болото, в центре которого также было обозначение. Не там ли, где когда-то ночью ему послышалась журавлиная труба? Чем же заинтересовало болото Сагайдака? Не знал Данило, что там Стах Артеменко уже оборудовал землянку для раненых партизан. Сагайдак, глянув на облезлый браунинг Данила, неодобрительно покачал головой, а затем спросил:

— Как воевал в армии? Какую имеешь специальность?

— Моя специальность — подрывать железные дороги, станции, мосты.

— Даже мосты?! — оживился и будто не поверил Сагайдак. — Вот именно над этим мы больше всего и мозгуем, — и положил руку на плечо Чигирина. — Да великую бедность испытываем — взрывчатки нет, детонаторов тоже. Два поезда кое-как пустили под откос голыми руками.

— Как это голыми руками? — не поверил Данило.

— Самодельными лапами посрывали костыли, много раздвинули рельсы — вот и вся наша техника. Что ты скажешь на это? — И с надеждой посмотрел на Данила.

— Сказать можно только одно: эту технику надо усовершенствовать.

— Но как? — Чигирин даже поднялся с чурбана, на котором сидел. — Нет у нас ни грамма взрывчатки.

— Может, где-нибудь поблизости видели невзорвавшуюся авиабомбу?

— Такое лихо найдется! — обрадовался Чигирин. — Одна под самой дубравой хвост показывает. Только как ты доберешься до ее внутренних частей?

— Это дело немудрое: вывернем капсюль-детонатор, обшивку разгрызем зубилом, и тогда можно спокойно резать тол для самодельной мяны.

— Все это так, — закивал головой Чигирин. — А она, подлая, под зубилом не взорвется?

— И такое может быть. Все в руках божьих, — усмехнулся Данило.

— Он еще и посмеивается, — и Чигирин вытер рукой лицо. — Даже в жар бросило. Наша техника была очень отсталой, а твоя страшная.

— Пока другой не имеем.

— Вот и думай, думай, как переплыть Дунай, — тряхнул седыми кудрями Сагайдак и словно с сожалением посмотрел на Данила. — Уже будто и запахло взрывчаткой. А где теперь достать детонаторы?

— Чего не знаю, того не знаю. Правда, у меня случайно сохранилась одна запальная трубка, самодельная.

— Как это самодельная? — оживился Сагайдак.

— Мы так делали у себя: в детонатор вставляли кусок бикфордова шнура, для надежности зажимали плоскогубцами, потом к бикфордову шнуру еще привязывали кусочек пенькового. Вот и смотрите, — и Данило вынул из торбочки запальную трубку.

Сагайдак взял ее так, будто это была драгоценность, пристально осмотрел ее, покрутил в руках и вернул Данилу.

— Что ж, помогай, доля, да защити от неволи. Спасибо, хоть это добро завалилось. Голодный?

— Нет.

— Тогда сразу же за авиабомбой!

— Может, хоть позавтракаем? Как же натошак ехать? — возмутился Чигирин.

— Легче будет коням и колесам.

— Ну, Тарас Бульба! Если ехать, так ехать! Что, Данило Максимович, надо брать с собой?

— Добрых коней, лопаты, веревки, плоскогубцы, напильник, зубило и молоток. Кажется, все, — обрадовался Данило, что сразу же для него нашлась партизанская работа. Хотя, если подумать, невелика эта радость — возиться с бомбой. И как об этом сказать Мирославе? Оно бы лучше не говорить о таком, зачем вызывать тревогу и слезы? А если случится с ним непоправимое? Может, сегодня и дыма не останется от тебя... И жаль стало вдруг белого света, своей жизни.

Он нашел Мирославу возле девичьей землянки. «Как, милый?» — не голосом — глазами спросила и потянулась к нему.

— Все хорошо. Уже и дело есть.

Мирослава грустно посмотрела на него:

— Нелегкое?

— Чтобы очень, так не очень... — «Все-таки нашел, как сказать», — и рукой бережно коснулся ее стана.

Но Мирослава что-то почувствовала, и голос ее стал по-матерински низким, как в час их первого прощания:

— Береги себя, Данилко, береги...

— Постараюсь, — с беззаботным видом ответил Данило. — Как потяжелели твои волосы.

— Потому что выпала роса, — покачала головой Мирослава. — Роса войны.

Данило же снова вспомнил о своем:

— Вот так они и говорили о любви...

По самый стабилизатор вошла в землю та бомба, которой целились в дорогу. Упала она недалеко от нее, возле дубравы. Данило и близнецы окружили возле бомбы и взялись за лопаты. Чернозем с травой полетел во все стороны, обнажая металлическое тело.

— Тучная у нас свинка, — пошлепал рукой бомбу Василь.

— Летела она вниз, а не полетим ли теперь с нею вверх? — шутит Роман и пристально смотрит на Данила.

А разве он знает, что будет потом? Однако успокаивает хлопцев:

— От ее начинки полетят в преисподнюю враги, — и принакает ухом к обшивке.

— Что ж она может сказать?

— Многое может сказать, если в ней лежит чертова машинка.

Василь бледнеет, а Роман улыбается. С чего бы?

Когда бомбу сообща повернули набок, Данило отогнал подальше от ямы близнецов, а сам примостился возле нее и принялся вывинчивать капсюль-детонатор. В ход пошли напильник и плоскогубцы. Обезвредить бомбу удалось быстрее, чем ожидали, и он начал заарканивать ее веревками. Затем Данило выскочил из ямы, кликнул близнецов, чтобы привели коней. Братья подъехали на своих красногривых, осадил их назад, к бомбе, и проворно начали крепить веревки, что тянулись от бомбы до валька. Ретивые кони выхватили смертоносный груз и, перекачивая его по траве, потащили в лес. На поляне бомбу освободили от веревок. Данило подошел к возу, на котором сидели Сагайдак и Чигирин, взял из сундучка молоток, зубило и сказал:

— А теперь на всякий случай отъезжайте подальше от нашей игрушки.

— Только осторожнее, хлопче,— умоляюще посмотрел на него Чигирин.

— Буду стараться.

Данило подошел к близнецам, которые уже уселись на бомбе, словно на бревне, и курили самодельные сигарки.

— И вы, хлопцы, подальше от этой беды.

— Как это подальше? — удивился Роман. — А кто же у вас будет молотобойцем?

— Я,— коротко ответил Данило.

— Но для чего вам столько славы? Примите меня хоть поденщиком к ней,— и в улыбке показал все зубы.

— Иди, Роман, не морочь голову.

— Вот уж такого никогда не ожидал от вас. Пойду жаловаться Мирославе.

Когда близнецы отошли к возу, где сидели Сагайдак и Чигирин, Данило приложил зубило к бомбе, чтобы разрубить ее поперск, и слегка ударил молотком. Зубило скользнуло, а на железе остался шрам. «Молчишь?» — прислушался к бомбе. Еще удар, еще сильнее — и зубило пробивает металлическую обшивку. Неуверенная улыбка пробежала по его лицу. Теперь легче было распарывать одежду бомбы, увереннее действовали и молоток, и зубило, а крошки тола начали высыпаться на траву. Вот что им сейчас дороже золота! За работой Данило не заметил, как к нему подошли Сагайдак, Чигирин и близнецы.

— Как оно? — спросил Сагайдак.

— Скоро из одной бомбы будем иметь две миски с толом,— ответил Данило и вытер со лба капли пота.

Сагайдак присел на корточки возле бомбы, нашел на траве сухую ветку, разломил ее на четыре части — три воткнул в землю, подравнял, а четвертой накрыл их и покосился на Данила.

— Догадываешься, хлопче, куда вода течет?

— Вода, наверное, течет под мост,— в тон ему ответил Данило.

— Догадливый! Так вот, этот мост не дает мне покоя.

— Все человеку не дает покоя,— осуждающе за-

метил Чигирин. — И черный шлях, и железная дорога, и мост, и ненавистный Безбородько, и круговая оборона возле землянок. Ночью тайком сам берется за лопату.

— Хватит уже, Михайло Иванович,— поморщился Сагайдак.

Данило улыбнулся ему:

— Мы, товарищ командир, позаботимся о вашем покое.

— Вот в это «мы» и меня потихоньку всуиьте,— напомнил о себе Роман.

Тихо-тихо поскрипывают колеса, тихо-тихо снуют возле коней да возов партизаны. Уже отлетели от них лесные шумы, приближаются говор речки, шелест камышей, тревога дикой птицы и калиновый ветер. Данило в темноте находит калиновую гроздь, засовывает за ремешок картуза — пусть будет вместо партизанской ленточки.

Раздвигая кусты ивняка и калины, кони входят в брод, припадают к воде, а люди торопливо снимают с воза и осторожно опускают на речку небольшой плот, на самый его край ставят самодельную мину, прижимают ее доской и крепко скрепляют с плотом, словно это придаст большую силу взрыву. Лучше было бы знать, в каком быке имеется толовая ниша, тогда бы сработала детонация, но, не зная этого, приходится действовать наугад. Данило еще раз проперяет, как прикреплена мина, поднимается и шепотом говорит Сагайдаку:

— Кажется, все в порядке.

— Ну, счастливо вам!

Даже в темноте заметно волнение на лице командира. Сагайдак обнимает Данила и Романа, а те осторожно выталкивают плот на более глубокое место. Вода набирается в сапоги, обжигает тело, дрожью подкатывается под самое сердце.

— Не только душу, но и сапоги лихорадит. Душа еще выдержит, а сапоги, наверное, порвутся,— улыбаясь, шепчет Роман.

— Если кирзовые, порвутся, юфтевые — выдержат,— в тон ему отвечает Данило, и у Романа еще шире растягивается рот.

Под звездами тихо всхлипывает вода и корешком выюнится за плотом. Спросонок откликнулись утки, всплеснула рыба, остался в стороне куст, от которого поваяло татарским зельем. От холода сводит тело и зубы отбивают четку. Не догадались, глупые, выканочить у Чигирина чарку первача. Вот и очертания моста, что повис над рекой и останавливает туман. Глубоко ли у среднего быка? Как бешеный, рассыпая искры, по мосту прогрохотал поезд, и снова всхлип воды, и дремота клочьев тумана, и лихорадка во всем теле.

На мосту слышались шаги. Две тени сошлись посередине, постояли и разошлись. Роман с головой бултыхнулся в воду, всплыл, отплеваясь и уже улыбается Данилу: «Помыл и голову». Откуда у него и теперь берется сила для усмешек?

Из нависшего тумана они выплывают к среднему быку. Под ними бурлит стремнина, над ними грузно топают сапоги охранников. Роман двумя веревками крепко привязывает плот к быку. Данило склоняет голову над плотом, снимает картуз, осторожно вынимает из него припиленную запальную трубку, на ощупь вставляет в гнездышко мины капсюль-детонатор, берет из рук Романа кремь, кресало и трут.

— Плыви, Роман. Я теперь один справлюсь.

Хлопец отрицательно покачал головой:

— Только вместе. Зажигайте.

Снова на мосту сошлись охранники, перемолвились несколькими словами и начали расходиться. Пригнувшись, чтобы телом прикрыть крохотный огонек, Данило ударил кресалом о кремь раз и другой. Брызнули искры, затлелся, медово запах трут. Партизан тут же приложил его к пеньковому шнуру и погасил. Огонь охватил десятки волоконца пеньки, а подрывники, стука зубами от холода, тихо поплыли на левый берег. Но не успели они добраться до него, как их настигла гигантская вспышка, а потом неистовый гром подхватил могучими руками и люто швырнул в воду. Обессиленные, оглушенные взрывом и резким запахом перегорелого тола, они, пошатываясь, побрели к берегу и упали на него. Из кустов ивняка и калины к ним бросились побратимы, поднимая и целуя их.

— Молодцы, хлопцы, молодцы,— смеется, обнимает Данила и Романа Сагайдак.

С их одежды стекает вода, а они только глазами водят и подставляют то одию, то другое ухо, не в силах ничего понять.

— Что с вами?!

— Не слышим, ничего не слышим,— невнятно шепчет непослушными губами Данило, но не печаль, а радость, радость исполненного долга ощущает в себе, еще и подшучивает над собой: «Вот дурень, всади́л весь тол в одну мину. Его бы, верно, и на два моста хватило».

— Уши словно лепешки стали. Была бы начинка, можно и вареники лепить,— объясняет Роман Саламахе, который подает ему сухую одежду.

— Сделано хорошее дело! — садясь на воз, весело говорит Сагайдак Чигирину. — Теперь Данило начнет сколачивать подрывную группу. Тол уже есть, а вот где разжиться детонаторами?

Детонаторы же как по заказу появились в отряде — и раньше, чем думалось. На следующий день под вечер к партизанам на конях примчались хлопцы из подпольной группы села Красное. Дольше оставаться в селе хлопцам было небезопасно. Сагайдак поздоровался с ними и, как всегда в таких случаях, задал первый вопрос:

— Оружие есть?

— Есть,— ответил руководитель подпольной группы Ивась Лимаренко, у которого чуб поднимался на ветру, словно крылья. Из кармана он вынул наган,

а из торбы ящичек, который внутри был, будто со- ты, наполнен детонаторами.

— Так это же сокровище! — Сагайдак взвесил ящичек на руке со шрамом, даже для чего-то понюхал детонаторы.

— Кому сокровище, а кому смерть,— тряхнул чубом Ивась Лимаренко, а его хлопцы радостно улыбнулись.

Сагайдак прищурившись посмотрел на них, на лошадей, на которых прискакали хлопцы, и, не то подбадривая, не то подсмеиваясь, сказал:

— Орлы, ничего не скажешь,— и покачал головой.

А «орлы» и не знают, гордиться им или смущаться.

Чувствуя, что Сагайдак что-то таит за похвалой, Лимаренко гордо, с вызовом посмотрел на него:

— Хлопцы славные, боевые, на деле проверенные.

— Я тоже так думаю,— согласился Сагайдак. — И хлопцы хорошие, и чубы у всех словно истинные гнезда, и ноги обуты, а вот кони босые. Может, потому, что у них не копыта, а ступы? Помню, хороши были скакуны в Красном, да, верно, гарцуют на них полиция и староста.

Хлопцы сразу поскучнели, а Лимаренко завопался:

— Мы взяли, что было под рукой.

— Эге ж, эге ж,— снова согласился Сагайдак. — Но лучше было бы брать то, что должно быть под ногой, тогда можно было бы и врагов догонять, и, когда надо, отрываться от них, а не плестись в обозе.

— Не смейся, батько! — как Остап в прославленном произведении Гоголя, бросил Лимаренко, поднял голову на своих орлов и подмигнул им.

Хлопцы метнулись, вскочили на своих неспорыстных, гикнули, свистнули и помчали из леса.

— Ненормальные! Куда же вы? — крикнул старый Чигирин.

Ивась Лимаренко вздыбил своего коня и пасмешливо бросил:

— За подковами и гвоздями-ухналями.

А Сагайдак, усмехаясь, повторил его слова:

— Хлопцы славные, боевые, проверенные. С такими не замерзнешь!

XIX

В предвечерье туманилось дремотное солнце, туманились сентябрьские васильковые дали, а тут, на заброшенном хуторке, падали в траву яблоки и опоясанный стрелами камыша ставок ярился вишневыми красками увядания. В камышах плескались утки, на плесе всплескивала рыба, над плесом сновали крестики толкунчиков, а за плесом журчал псвидимый ручеек. Как и где, падают яблоки, всплескивает рыба, покоем дышит сентябрь, очищаются воды.

Ничто на хуторе не напоминало о войне, о человеческих страданиях. Вот если выйдет, как задумал, здесь он и поселится — перевезет хату из села, только оставит на старом месте скифских да половецких

каменных баб: пусть кому-то воют. И почему они озлились на него? Может, потому, что перебил им туловища и ноги? Тыфу! Так можно поверить, что и камень живет. А возле хаты он поставит хмельяню: хмель при всех властях, хоть и дурманит головы, а в цене не падает.

Еще раз оглянувшись на село — нет ли посыльных из управы, — Магазанник ставит ногу на гнилое бревно, по нему добирается до крохотного вербового челна, разматывает удочку, поглядывает на желтое вздохмаченное солнце, а сам все думает о хуторке, что стоит обметанный прозолотью верб, зеленым дыханием отавы и «бабым летом». Тут хорошо растут трава и отава. Вот бы, забыв все войны, пройтись с косой, услышать звон и перезвон ее, наметать душистых копен, набрести на шмелиный мед и усталым прийти домой — не грешником, а хозяином, которого ждут женская верность и доброта. Да все это уже не для него: попался в чертову упряжь, как жаба в тенета, — ни назад, ни вперед... И тут, на хуторке, страх догнал его, хотя и убегал Семен от него из села.

Вздохнув, нажизил крючок кусочком вареной картошки и забросил удочку под стрелы камыша, которые и не журились, что уже миновали проводы лета. Поселился здесь и живя в одиночестве, как отшельник. Он нисколько не боялся одиночества, пугали его только бешеные весы войны: что они отвесят каждому из нас?

Теперь взгляд и мысли Магазанника останавливаются на белом, из гусиного пера, поплавке, который тоже может дать какую-то отраду и усынить невеселые мысли.

Над самой водой пролетел белобровый перевозчик, а из камышей тихо-тихо выплыла молодая утка; она настороженно повела точеной головкой, успокоилась и вышла на чистоводье; за ней, будто намаляванные, выюнятся вишневые волночки. Через год эта утка прилетит из дальних теплых стран на этот же самый ставок, снесет с десятка зеленоватых яиц, выведет утят... А что через год будет с тобой? Тыфу! Только одно и долбит мозг, знать, повернуло время не на жизнь, а на смерть.

«Зи-зи!» — пискнул перевозчик, перелетая с одного берега на другой. На темных крыльях птицы четко выделялись белые полоски. А вот «векнул» бекас и стремительно взлетел вверх. Когда-то, еще при жизни его отца, тут иногда и зимовали эти длинноносые птицы. Какого только дива нет в природе! Вот недавно Рогиня, что под пьяную руку прокликает свою новую должность, Безбородько, а заодно и судьбу, рассказал, как один старый врач лечит безнадежно больных раком. И чем? Осенним потаенным грибом; показывается он из земли только на один день, а возвращает человеку годы...

«Зи-зи!» — снова пропищал перевозчик.

Что ты перевозишь с берега на берег и понимаешь ли хоть что-нибудь в теперешних сумерках?

Качнулся — дерг-дерг — поплавок и вдруг, обрывая что-то возле сердца, исчез в вишневой воде. От

неожиданности Магазанник забыл подсечь, просто дернул удилище — и сразу почувствовал вес рыбины, которая рванулась к камышам. Погоди, погоди! Так ты сразу порвешь леску! Староста осторожно выводит рыбину на чистоводье, изматывает ее и немного погода подводит к челну. «Жаль, что не захватил сачка. Кто бы мог подумать, что в таком ставочке неистовый Бондаренко разведет вон каких карпов. Где он теперь — воюет или, может, отвоевался?..» Еще движение руки — и из воды поднимается трепетный золотой слиток. Ей-богу, пара килограммов будет! Сорвется или не сорвется? Пружинит, в дугу гнется гибкая орешина и опускает рыбу в челн. Слово хищник на свою жертву, набрасывается на нее Магазанник. Темным, со скрытым солнцем, укором смотрит на него рыбина и задыхается в сильных руках.

Возле камышей встрепелась, взлетела в небо уточка, за камышами забулькал довольный смешок.

— Пофортунило, пан староста!

— Пофортунило-таки, — разгибается Магазанник, сначала ловит взглядом серые птичьи крылья, а затем брюквоподобную голову жуликоватого полиция Терешко, который стоит на опрокинутом челне и посмеивается. Губы у него лоснящиеся, толстые; от него всегда смердит самогоном, ведь при новой власти Терешко не протрезвляется.

— А тут, пан староста, еще и покрупнее есть карпы. Даже десятифунтовики! — лениво усмеивается и лениво покачивается выпивоха.

— Десятифунтовики? — отцепляет Магазанник карпа, тот напрасно трепещет золотом чешуи и звонко бьет хвостом по влажному дну челна. — Ты откуда же знаешь?

— Ловил втихую в мирное время. Поймаешь в сумерках такого красавца — и поплетешься к своей полюбовнице. А та уже знает дело, — гогочет Терешко, раскачивая лодку и живот.

— Теперь не ловишь?

— Сейчас нет интереса ждать ее на крючок, потому как можно толком или гранатой глушить, ставишь запал — и рви! Премилое дело — убивает все до макового зернышка. Как вы на это?

Магазанник ббозлился:

— Я тебя, неотесанное бревно, как глушану по огузку, так сам оглохнешь! Гляди мне!

Но Терешко не очень пугается угрозы и снова гогочет.

«Дурня и по смеху узнаешь».

— Не думаете ли, пан староста, этот ставочек к своим рукам прибрать?

— Таки думю.

— Тогда надо партизанскую голову искать, теперь они как раз в цене, — скалит выщербленные зубы Терешко.

— А ты откуда же такой веселый свалился? Опять волочишься за какой-нибудь молодухой?

— Да нет, из крайса приплелся. Ходил за семь верст киселя хлебать.

— Что-нибудь новое есть?

— В крайсе или... вообще? — нарочно вставляет то слово, которое прилепилось к Магазанниковому Степке.

— И вообще, и в крайсе.

Терешко пятерней стирает с лица веселость, оттопыривает губы.

— Возле девичьего брода Лаврин Гримич уже который день раскапывает старинный курган. И что вы думаете? Нашел-таки в нем не только черепки, но и какие-то металлические украшения и даже золото.

— Правда? — застывает Магазанник, а в мыслях начинает ругать себя: «Ты тут, дурень, на карпиков позарился, а кто-то золотом разжигается».

— Правда. Сам видел эту диковину.

— А чьи же головы были на червонцах — нашего или не нашего царя?

— Чужого, древнего, с бараньими кудрями.

— Тогда на них и цена должна быть меньше.

— Это уж какой покупатель случится.

Зависть омрачает лицо Магазанника.

— Почему это Лаврин золото добывает, а не в общественном хозяйстве работает? Или он делает подношения его председателю?

— Видать, чем-то задобрил того норовистого. Спросил его об этом, а он и уел меня: «Лаврин из могил выкапывает добро, а кое-кто закапывает в могилы людей». Поговорите после этого вы с ним, научите его уму-разуму.

— Наверное, придется-таки. А что слышно в крайсе?

— Есть новые бумаги гебитскомиссара и начальника полиции Блюма о партизанах. Надо расклеить в селе на видном месте. Только боюсь, как бы не вышло посмешища из-за бумаг Блюма.

— Людям теперь как раз до смеху, — наживляет Магазанник крючок. — А ну, почитай.

Терешко вытирает рукой губы, будто с них можно стереть водочный перегар, вынимает из командирского планшета какие-то бумажки, подходит ближе к старосте.

— Вот послушайте эту диковину, — и заранее начинает давиться смехом.

— Так смешно?

— А думаете, нет? Так я читаю: «Обращение! Со всей ответственностью обращаюсь к партизанам, что действуют в нашей области, и призываю их, пока не поздно, взяться за ум: сложить оружие и слаться. За это мы даем гарантию, что никого не тронем, всех устроим на службу с большой оплатой. Кроме денег, каждому партизану ежедневно будем выдавать 50 граммов масла, 4 яйца и по одному килограмму хлеба. Начальник полиции Блюм».

— Га-га-га!.. — и у Терешко от смеха затряслись щеки и живот.

— Ты чего гогочешь?

— А какой же дурак за четыре яйца подставит свою шкуру? И сам не знаю, как вешать эту срамоту.

Магазанник долго смотрит на Терешко, а потом осаживает его:

— Буйназ у тебя чуприна, да ум лысый. Ты

спрячь свое недомыслие в такой закоулок, чтобы и сам завтра не нашел. Услышит кто-нибудь твою болтовню, так сразу загремишь в гестапо в гости. Там уже будет не до шуток.

Веселость сошла с лица полиция, и оно затвердело, как кора.

— Что же сразу умолк?

— Да разве ж я не знаю, кому что сказать? — отвечает Терешко с угодливостью подлизы. — А перед кем-то и помолчу, потому как теперь главное — день передневать. А что присматриваете себе хуторок, за то хвалю. Это состояние! Взять бы его в старых межах вербовым плетнем, поставить хоромы, почистить сад, привезти улы — и живи кум королю: занимайся пасекой да на уху приглашай хороших гостей. Я вам, если захотите, плетень словно вышивкой разошью, — так и стелется перед ним хитрец.

Магазанник помрачнел:

— Это все хорошо было бы, Терешко, если бы не война.

— О! А вам чего сушить голову войной, если немцы уже хвалятся, что Москву взяли? Это нам, полициям, хуже, потому что нас жандармский мотовзвод на партизан гонит. Вст на той неделе гришлось удира́ть от них так, что чуть было пятки не потеряли, — помрачнел Терешко, и помрачнел хмель в его буркалах.

И хоть какой недалекий Терешко, да его разговоры были той последней каплей, что до конца размысла сомнения Магазанника. Нет уже на свете силы, которая победила бы немецкое войско... Вишь, оно уже и на Индию нацелилось!.. А что с нами будет потом?

Ох эти тревожные мысли! Магазаннику уже и рыбу ловить расхотелось: нигде теперь не скроешься от дьявольского времени. Он еще раз поглядел на хуторок, на отаву, что начала прорастать холодом, вздохнул. Вовремя бы сюда перебраться. А то и старосте не дадут такой дармовщины! Теперь только за пойманных партизан наделяют землей. Магазанник бросает взгляд вдаль, где тополя врастают в небо и вечер опускается на землю, прикидывает: засветло ли идти домой или дожидаться темноты и заглянуть к какой-нибудь краде. Примет или не примет, попытаться можно.

— А не прочитать ли вам, пан староста, объявление гебитскомиссара? — хочет как-то подластиться Терешко и снова лезет в планшетку.

— Читай, если есть охота.

Полиция вынимает смятую бумажку, откашливается, морщит лоб:

— «Параграф первый. Каждый бургомистр, то есть староста села, обязан арестовать через местную полицию и передать полиции СД каждую мужскую особу из чужой местности».

Параграф второй. Всем местным особам запрещается давать приют или скрывать мужские особы из чужих местностей.

Параграф третий. В каждом случае, если обнаружится, что какая-то мужская особа находится без

разрешения, вся семья, что дает таким приют, будет караться смертью.

Параграф четвертый. Это же самое наказание будет применено к тому бургомистру — старосте села, который не последует немедленно требованию параграфа первого.

— Утешил, — насупился Магазанник.

— Утешения тут мало, — согласился Терешко, — но в голове эту бумажку надо держать, так как чужие мужские особы у нас тоже есть.

— А где их теперь нет?

— И это правда, — морщится Терешко и лезет рукой к затылку, а погода кланяется: — Так бывайте. — Он с почтением поднимает картуз, а из-под него рассыпается лохматая чуприна.

— Куда же ты? На колокольню?

— Да нет, к сзсей полюбовнице. На отдых, а то из-за глупой головы три ночи подряд не спал.

К ставочку с лопатой на плече подошел Стах Армеенко. Он хотел миновать старосту и полиция, но Магазанник, о чем-то подумав, вылез из челна и оставил его:

— Откуда, Сташе?

— Откуда же? Картонку копал до изнурения.

— Свою?

— Да нет, общественного хозяйства, — вздохнул тот.

В глазах старосты вспыхнуло подозрение:

— Слушай, а почему тебя красные не взяли в армию?

Стах удивленно таращит глаза на старосту:

— Разве вы не знаете?

Магазанник недоверчиво смотрит на него:

— Не знаю, а думаю разное.

— Вольному воля, а спасенному рай.

— Так почему?

— А кто же меня когда-то ни за что ни про что в тюрьму запрягал? — злится Стах. — Вот из-за этой тюрьмы и не стало ко мне доверия. Еще есть вопросы?

— Тогда, выходит, ты мне должен быть даже благодарен за прошлое, — успокаивается староста. — Кто знает, где бы ты скитался теперь, если бы не я?

Стах что-то буркнул, повернулся и быстро пошел к селу. Рассердился. Только с чего бы? Магазанник снова берется за удочку, а в это время на дороге появляются с лопатами и кошелками женщины, которые тоже копали картофель. Магазанник равнодушно поглядывает на них, и неожиданно испуг и удивление пронзают его. Не привиделось ли? Он замигал глазами, вскинул брови на середину лба, но видение не исчезло: в толпе с женщинами почему-то шла Мария, держа за руку Оленку. Как они и почему появились тут? Староста бросает удилище и быстро, не спуская глаз с Марии, направляется к женщинам.

— Добрый вечер вам.

— Кому добрый, а нам нет, — отозвался из середины чей-то голос.

— Закончили копать? — пытается Магазанник перехватить взгляд Марии и наконец перехватывает

зеленые лезвия презрения и ненависти. Даже жутко стало: откуда столько злобы в таких привлекательных глазах?

Он остановился на краю дороги, а женщины, сторонясь его, молча пошли полем, что уже облачалось в вечерний паряд. Была когда-то у человека любовь, а теперь осталась одна ненависть. В прескверном настроении он подходит к челну, сматывает удочку, прячет ее в камыше, бросает в торбу карпа и быстро направляется в повечеревшее село. Можно было бы наведаться к Лаврину, да кто знает, что ждет в той хате, из которой подались в партизаны близнецы. Еще нос к носу встретишься с ними.

Большое у них село, да некуда деть себя, свои терзания и распри с самим собой, не с кем заглушить их горилкой или любовью. Никто раньше не мог успокоить его лучше, чем Василина, которая в последние годы была для него советчицей и отрадой. Но после того вечера в лесу, после той ссоры, Василина сторонится его и тоже под ресницами держит одну злость. Да время и поладить с нею.

В селе, хотя оно и улеглось на ночь, Магазанник уже не улицами, а огородами да задворками крадется в тот закоулок, где живет Василина, и все думает, как улестить ее. Вот зайдет, поклонится ей, сердечно улыбнется, бросит карпа на скамью и скажет:

«Прости, Василина, если еще гиеваешься за глупое слово, а я пришел просить прощения: очень соскучился по тебе, будто целый век не видел».

«И в старой печи черти дымят?» — насмешливо поведет глазами она, просветлеет, залется обольстительным смехом, зашелестит юбками и горячими устами растопит сумятицу и тревоги... И почему ж он эти уста бросил?

Уже совсем смерклось, когда Магазанник вошел на сонное подворье Василины. Не часто он сюда заглядывал — Василина больше ласкала его в лесах, которые любила во все времена года, даже когда выюга вышибала из них стоны. А как-то в марте нашла двух зайчат, что замерзали в снегу под кустом. За пазухой принесла их к леснику, бросила за печку, налила в черепок молока. И все-таки выходила их, а потом выпустила на волю. Верно, если нет материнства, то ко всему живому пробуждается любовь.

Он тихо стучит в окно, как и прежде стучал. Но безмолвствует хата и все вокруг нее. Еще сильнее стучат пальцы по стеклам, отражающим осеннюю печаль. А он и теперь даже кончиками пальцев чувствует жажду встреч. Ох, женщины, женщины, из самого декла вынесли вы сладкий огонь обольщения. Как только не казнятся из-за него мужчины, казнятся, но не зарекаются.

Наконец к окну припадает искаженное испугом лицо женщины.

— Кто там? — зазвучала дрожь в ее голосе, и задрожали стекла в окне.

— Это я, Василина.

— Чего вам, пан староста, в такую пору? — немало отошла женщина.

— Пусти в хату.

— Я ночью никого не пускаю.

— Какая же теперь ночь? Только стемнело.

— Эге, стемнело! Люди уже давно отдыхают.

— И долго мы через окно будем говорить? — начинает сердиться Магазанник. — Открывай двери!

— Идите, пан староста, домой, все равно в хату не пушу.

— Пустишь! Дело есть! — уже бесится Магазанник и бьет кулаком по раме. — Я тебе сейчас и окна, и двери высажу.

— Будь ты неладен, оглашенный! Как только отделаться от тебя... Сейчас открою. — Василина бежит к дверям, грохает ими, а затем, на пороге, внимательно присматривается к нему и начинает советить: — Хоть бы людей постыдились. Вон на ваш грохот соседи каганцы зажигают.

— А что мне твои соседи? — у Магазанника сразу спадает гнев, и он обеими руками тянется к женщине, к ее соблазнительно полной груди, что приподнимает белую сорочку.

Но женщина бьет его по рукам и отступает в сени.

— Чего вам?

— Соскучился по тебе, словно вечность не видал.

Василина почему-то облегченно вздыхает и, шелестя юбкой, заходит в хату.

— Чего ж ты молчишь?

— Не верится, чтобы вы могли по ком-то соскучиться.

— Если ты прогневалась за какое-то неразумное слово, то извини, — хочет обнять Василину, но она ускользает из его объятий и становится еще желаннее.

— Идите, Семен, домой, не дурите, — выпроваживает она. — Наше уже миновало.

— Почему же это миновало? — Магазанник ошеломленно остановился посреди хаты.

— Потому что все проходит. Был когда-то угар, а теперь развеялся.

— Так, может, хоть повечерем вместе? Я вот хорошего карпа принес.

— И вечерять не будем, — глянула на него не глазами, а кругами темени. — Отвечерялось наше.

— Ты, может, примака или постояльца приняла. Так и говори! — гневаясь, Магазанник вынимает из кармана свечечку, зажигает ее и настороженно присматривается к женщине: что теперь отражается на ее лукавом лице? Да смотрит он не на лицо, а на волны волос, что обвивались вокруг женского стана; ни у кого он не видел такой роскоши, что соединила колера и ранней, и поздней осени. И зачем он снова потянулся к ней, как в тот давний петровчанский вечер? Так, может, любовь, перегорая, и находит свой запоздалый берег, свои косы, где, подобно разливу, гуляет многоцветье осенних красок и пробивается запах душицы. А как ей хотелось стать матерью, да он опасался колыбели больше, чем могилы... Вот

всматривайся в женские соблазны и думай о чем-то недодуманном, ибо и твои года уже предчувствуют свою межу... На каких только весах взвесить все?.. И, наконец, нужны ли весы твоей осени? Да еще такой страшной осени?..

— Не сверлите меня глазами, как буравчиками, — недовольно сказала Василина и погасила трепетный огонек свечечки.

Магазанник встрепенулся, подавил неожиданные сантименты, но в душе так и не нашел путного слова.

— Так есть у тебя примак или полюбовник?

— Не мелите, Семен, глупостей, не сваливайте своих грехов на других. — И насмешка прорвалась в ее словах: — Не потому ли пришли ко мне, что нет теперь охочих навещать старосту?..

— Что ты мне этим старостой глаза колешь? Неужели забыла все, что было между нами?

В голосе Василины послышалось глубокое возмущение:

— А что у нас было, кроме угара и срамоты? Разве ж вы хоть немного любили меня? Только груди каждый раз калечили мне, — коснулась их рукой. — Уходите!

— Пойду, не выпроваживай так скоро, — испыхнул Магазанник. — Еще гляну, что у тебя на другой половине хаты делается.

— Там только овощи и квашенина.

— А если кого-то скрываешь?

— Придете днем — и осмотрите хату.

Василина не может подавить своей тревоги, а старосту мучает подозрение: что же она скрывает от него? Ох, этот ведьмовский род! Кого он только не обманывал, начиная с Адама...

— Так показывай вторую половину.

— Соленых огурцов да помидоров не видели?

— Посмотрим, посмотрим, какие у тебя помидоры.

— Еще кур прячу в соломеннике.

— В соломеннике? Это ж почему им такая честь?

— Чтобы собачники не добрались до них.

Неожиданно откуда-то, не с чердака ли, послышался протяжный стон. Магазанник вздрогнул, мгновенно выхватил из кармана пистолет, а хозяйка замерла на месте.

— Кто там у тебя?! Кто?!

Василина задрожала.

— Никого нет.

— Не ври хоть теперь! Признавайся! А ну, пойдем в сени.

— Не надо, Семен, — мольба прозвучала в ее низком голосе... — Вот я лучше вечерю приготовлю.

— Вишь когда про вечерю вспомнила! — приходит в бешенство Магазанник. — Теперь обойдемся без нее. Кто у тебя? Комиссар, партизан?

— Разве я знаю?

— А кто тебе подсунул его?

— Сам ночью по огородам приполз. Он тяжело ранен в руку и в грудь.

— В грудь? Вот заберем его в крайс, а там уж разберутся.

— Ой, не надо, Семен! Умоляю тебя, не надо! — заплакала Василина и руками и станом припала к нему.

— Так что ты хочешь? Чтобы твои соседи донесли на меня и я из-за кого-то на виселице качался? — Он оттолкнул женщину, быстро вышел в сени, снова зажег свечку и приказал Василине: — Лезь первая.

— Одумайся, Семен. Зачем тебе этот грех?

— Лезь!

Причитая, вытирая платком слезы, женщина начала подниматься на чердак. На верхних ступеньках остановилась:

— Опомнись, Семен. Не охоться за чужой душой, если и твою могут убить.

— Умной ты очень стала, — подсвечивает ее голые ноги свечечкой. — Вот из-за тебя и не стало бы моей души.

— Кому она, гадкая, нужна, — всхлипывает женщина, поднимается на чердак и уже кому-то несет свои слезы и причитания: — Прости меня, добрый человек, что не спасла тебя... Прощай и прости... Прощай и прости...

Магазанник услышал чей-то слабый успокаивающий голос и, шурясь, влез на чердак, который, казалось, весь качался в неровном свете восковой свечечки. И лучше бы он не видел того, что увидел: сверла страха сразу вбуравчились в его мозг, в нутро, и страшные минувшие годы глянули на него глазами раненого, который лежал, скрестив руки на груди.

Неужели так могло сместиться время?! Из метелей восемнадцатого вышел зимний день, когда державная стража вешала молодого командира с такой красивой фамилией и такими глазами, что, наверное, и в снах не забываются. И, идя на казнь, они ясно улыбались людям, словно и не тужили о жизни. И вот теперь, через двадцать три года, на Магазанника снова смотрел Човняр, словно он и не прощался с белым светом.

— Ты кто?! — вскрикнул он.

И той же самой, знакомой с восемнадцатого года усмешкой перечеркнул, раскроил его раненый.

— Человек! А ты кто? Правнук Иуды? Или пособник смерти?.. Не плачьте, тетка Василина. Пусть он, грешный, плачет, что не человеком, а фашистским прихвостнем стал.

И тогда женщина начала проклинать Магазанника:

— Будь ты навеки проклят, Черт со свечечкой! Чтоб твои глаза и утра не дождались! Чтоб тебя постигло возмездие как палача! Чтоб мои слезы пришибли тебя!

Магазанник отмахнулся рукой от проклятий и, уже не допытываясь, кто он — командир, комиссар или партизан, хрипло спросил:

— Твоя фамилия? — и застыл в нечеловеческом напряжении.

— Човняр, — насмешливо ответил раненый, что горел как в огне или догорал болезненным румянцем.

Магазаннику не хватило воздуха, он пошатнулся от ужаса, от кого-то отмахнулся, нащупал ногой лестницу и быстро начал спускаться с чердака.

Господи, неужели это возможно? Неужели так могут сойтись годы? Неужели он под корень должен подрубить чей-то род? Неужели он и теперь должен стать пособником смерти?.. И зачем ему было придти к этой шальной бабе? Лучше бы поплелся к Лаврину и его мертвому золоту... А может, он никому не скажет, что увидел тут? Да, так и сделает, если никто не проследил за ним, когда он шел к Василине.

Решив так, Магазанник на какое-то мгновение почувствовал облегчение, вытер пот со лба и украдкой вышел из жилища, которого лучше бы никогда и не знать.

В соседней хате светился огонек. Не услышал ли кто-нибудь их разговор на чердаке? Прислушиваясь, подошел к плетню, над которым покачивались темные листья вишняка. Будто никого нет. Еще постоял возле плетня, повернул к воротам и как вкопанный остановился: против него с винтовкой в руках стоял какой-то человек.

— Кто это?! — вскрикнул Магазанник, шарахаясь в сторону.

Человек шевельнулся, засмеялся:

— Не узнали, пан староста? Это я, Терешко. Стою себе возле ворот, а прислушиваюсь к хате — подозрение есть у меня. Что там у Василины на чердаке делается?

Снова сверла страха пронзили Магазанника, а мысль заметалась, словно в западне. Так и приходит неминуемое: не ты кого-нибудь, так кто-нибудь тебя. Сжавшись от безысходности и холода, сказал чужим голосом:

— У Василины на чердаке лежит ваша добыча. Терешко встrepенулся:

— Партизан?

— Это уже сами дознавайтесь.

— Так я сейчас!.. — Полицай, как ошпаренный, крутнулся и побежал за подмогой.

И, уже повернув на другую улицу, Магазанник тоскливо подумал: «И почему было не сказать, что это примак Василины, и пойти с Терешко пьянствовать, чтобы залить ему мозги?»

Да было уже поздно, торги с совестью закончены. Страх пачинал их, страх и закончил. Какая это адская сила! Господи, если бы можно было снова начать жизнь!

В тишине Магазанник слышал, как бухал сапогами Терешко, а перед собой видел глаза раненого, и заснеженные челны на подворье старого Човняра, и тот чели на хуторском ставке, где всегда очищается вода. Да не всегда очищается наша душа. Ох, не всегда...

XX

Когда время поворачивает на осень, то и утро, словно дитя, не спешит выпростаться из пеленок тумана.

Стоит Лаврин Гримич возле раскидистой яблони, что нависает над криницей и тыном, вглядывается печальным взором в ту желтую латку неба, за которой угадывается печать солнца, и не думает вовсе, что в хату надо принести воды. На щеках Лаврина еще веснушками гуляет лето, а в чуб уже забрела осень: как начали чужеземцы охотиться за его сыновьями, так и присыпало изморозью голову человека. Вон и с Яринкой бог знает что творится: стоит в городе за шинкарской стойкой и не журится. Кто бы мог подумать о таком безобразии? Да и сам Лаврин начал что-то скрывать от жены. Соберется на расвете раскапывать курган, а еды наберет полнехонькую торбу.

— Это ж для кого, муженек? — наконец начала приставать Олена.

— Для себя, — неохотно пробормочет Лаврин, а лицо его сразу скисает: мол, нашла о чем говорить.

— Что-то ты никогда столько не ел.

— У войны широкий рот, — смежит золото ресниц и, недовольный, поплетется из хаты, задребезжит в сенях своими причиндалами, да и махнет к девичьему броду, к тому кургану, что, как скорбь, седеет в степях.

Девичий брод так девичий, но не заходит ли Лаврин к какой-нибудь вдове? Хоть и рыжий, и долговязый, и не очень разговорчивый ее муж, да женщины что-то находят в нем. Только что?

— Цибулю, — пожимал на это плечами Лаврин, у которого был настоящий талант огородника. — И сеяную, и дымку-одногодку.

Нет, все-таки что-то происходит с ее мужем: уже дважды и почевать не приходил домой.

— Задержался, потому и переночевал в степи, возле кургана, чтобы какой-нибудь трупоед с перепугу не подстрелил.

Оно, может, и так, а может, и не так! И когда недавно Лаврин до полуночи не вернулся домой, Олена, замирая от страха, пошла в степь, к тому кургану, который раскапывал ее муж.

Задворками да огородами она выбралась в тихую задумчивость склонившейся отавы и верб, что стояли по-над бродом, как женщины в прощанье, и плакали тоже, будто женщины. А может, они и были когда-то женщинами? Из девичьей красоты выросла калина, так могла и верба вырасти из материнской боли... Сыны мои, сыночки, где вы? На земле или в земле?

Плачут печальные вербы, молча плачут, будто матери, и молча плачет мать, как верба, хотя ей порой и кажется, что идет она не тропинками боли, а тропинками сна. Оборвется сон — и все изменится в мире: из лесов примчатся ее горбоносые красавцы, из старости выйдут помолодевшие вербы, и месяц набросит им, как девочкам, на плечи платки голубого шелка, да и она станет моложе под цветом молодых очей, под вечерним влюбленным воркованием, которое должно прийти к ее сыновьям.

Где-то за речкой раздался выстрел, чей-то голос неистово крикнул: «Хальт!» Полицай! Из какой норы

повыползали вы, изуверы и предатели, и почему вас так потянуло на кровь людскую, на жизнь людскую?

Вот девичий брод дохнул прохладой, сонно зашуршал стрелами камышей и саблями татарского зелья, а вода отозвалась всхлипыванием; вот и бывший сторожевой курган показался. И страшно-страшно стало женщине в опустевшей степи, над которой одиноко стоял обведенный золотым сиянием месяц; он уже обошел все небо и спускался с него в свой предутренний сон или покой, какого теперь не было у людей.

Подойдя к заросшему полынью кургану, Олена остановилась и тихонько позвала:

— Лаврин, где ты?

Но никто не откликнулся. Ни на кургане, ни в раскопанной глубине мужа не было, только лопата, ломик, длинный странный нож, молоток, скребок и круглая щетка лежали на сухой пыли, хранившей следы человека.

— Лаврин! — крикнула она в отчаянье, и мир темноты закружился вокруг нее. Горькая тоска лезвиями безнадежности пронзила женщину, и она, обессиленная, протянула руки к степному мареву и упала на курган. Никогда Олена не плакала по своему мужу, а теперь не выдержала. Бессовестный, в такое тяжелое время покинул свою жену на произвол судьбы, а сам где-то погуливает! Завтра же бросит это чудовище — пусть ему остается и огородная цибуля, и раскопанное золото, а она перейдет жить к матери.

И даже теперь Олена не очень ругала своего Лаврина, а все проклятия посылала на голову неведомой колдуньи, которая сумела соблазнить ее доверчивого мужа: ведь он такой, что и в спокойное время ленился приглядываться к ведьмовскому отродью. Кажется, даже к ней, когда была девушкой, не очень присматривался. Бывало, притащится к ее садочку, нависнет над ней своими рыжими усищами и молчит, как гриб в траве, — то ли мысли, то ли золото усов взвешивает. Столб с глазами, да и только.

И она не выдерживает:

— Чего ты молчишь, Лаврин?

— А я звезды считаю, — улыбнется ласково-ласково и поднимет голову к небу.

— Кто-то считает деньги, а ты — звезды?

— Каждому свое, — бережно обнимет руками ее плечи да и снова молчит. Вот будет кому-то с таким скуки на весь век. Тогда и в мыслях у нее не было, что выйдет за Лаврина.

А время шло. Отскрипела возами осень, на саяях уехала зима, и вербовым челном к их бродам прибилась весна. А весной, отваживая других хлопцев, к ней каждый вечер начал приходить Лаврин. И надо было бы прогнать его, да почему-то жаль было обидеть молчуна, вот и выстаивала в садочке за полночь, посмеиваясь над ним и удивляясь себе: весело проводит время.

Однажды вечером, когда уже зацвели сады, сорвался бешеный ветер и вишневый цвет, выкупанный в лунном мерцании, закружился вокруг них.

— Метель,— прошептал Лаврин и впервые несмело обнял ее.

— Какая метель? — хотела освободиться она из его объятий, но почему-то застыла, как замороженная.

— Метель вишневого цвету.

— Как ты хорошо сказал! — удивилась она. — Словно по писаному.

— Я еще лучше могу сказать,— почему-то глухо пробормотал Лаврин.

— Да? — не поверила она.

— Вправду могу.

— Так скажи, Лаврин... — и замерла в его объятиях.

Надо было бы оттолкнуть парня, да куда-то подевалась сила в разомлевших руках...

И тогда, весь усыпанный вишневым цветом, он наклонился к ее устам, коснулся их и тихо пробормотал:

— Выходи за меня, Олена, а то не могу больше смотреть, как возле тебя дурни вьются. Так, чтобы не пришлось считать кому-нибудь ребра, выходи.

Она хотела отшутиться, как часто отшучивалась от парней, но вдруг почувствовала, что куда-то подевались и ее шутки, и голос, а что-то пугающее и сладкое волнами начало затоплять ее. Не метель ли вишневого цвету?..

Теперь уже Лаврин спросил ее, как не раз она спрашивала его:

— Чего же ты молчишь?

Она только вздохнула, не понимая, что творится с нею и что делать ей, а он руками потянулся к девичьему стану.

Стыд и страх охватили ее. Неужели вот так и приходит судьба?..

— Какие у тебя груди красивые,— проворковал Лаврин и поцеловал распавшуюся между ними. — И вся ты очень славная. Ни у кого нет такой привлекательности.

Верно, это и доконало ее. Вдоволь не нагулявшись, она уже будет принадлежать ему.

— Лаврин, родной... мой... — тихо прожурчала, вверяя ему свое девичество, свои дни, что прошли и что придут.

Тогда парень выпрямился, крепко обнял ее и прошептал:

— Еще раз скажи это.

Она выскользнула из его объятий:

— Что, Лаврин, сказать?

— Что я родной... твой. Это так хорошо.

— Родной, мой... Правда же мой? — и впервые доверчиво склонилась к его груди. И откуда он взялся на ее голову, и откуда взялась та метель вишневого цвету?..

«Господи, почему же я не проклинаю ту метель, и Лаврина, и те усы, в которые до сих пор не заглядывала осень? Идол ты, идол, и больше ничего. Хотя бы детей постыдилась!»

Вспомнив близнецов. Яринку, еще горше затужила женщина, забывая о грехе мужа. Да через некоторое время она услышала от брода топот копыт. Вытирая платком лицо, Олена приподнялась и увидела, что к кургану приближается всадник. Кого это по ночам носит в степи? Не полицию ли? И каково же было ее удивление и возмущение, когда она узнала своего Лаврина. Вишь, едет от полюбовницы, курит трубку, еще и мурлычет что-то себе под нос. Злость сразу высушила женские слезы. И когда конь приблизился к кургану, Олена, злая, как само лихое, вскочила на ноги:

— Так где ты, греховодник, время проводишь?! Только не ври мне!

— Олена?! Да не может быть?! — удивленно вытаращил глаза Лаврин, словно увидел жену на помеле, а затем тихо засмеялся, вынул изо рта свою трубку и соскочил с коня.

— Так весело у той полюбовницы было? — станвится Олена против мужа, готовая выцарапать ему глаза.

— Подожди, подожди, не тарыхти, как соломо-резка. У какой полюбовницы? — удивляется муж.

— У той, с которой ночуешь, лучше бы ты в этом кургане ночевал.

— Тю на тебя, сумасшедшая, — не рассердился, а добродушно рассыпал из-под идолевских усов смех и капельки луны. — Вот кино на старости лет.

— На старостя, на старости! — передразнила Олена. — А где же ты погуливаешь в полночную пору? Так захотелось тебе стать людским посмешищем?

— Все вы, бабы, одним миром мазаны, — безнадежно махнул рукой Лаврин. — Это ж надо — из-за глупых ревностей глухой ночью притащиться в степь. И кроволобов не побоялась!

— Не заговаривай мне зубы этими кроволобами! Говори, где был! Чего молчишь?

— Не все и жене можно сказать, — уже посмеиваясь, рассудительно ответил Лаврин.

— Тогда приводи свою задрипанную не только для сна, но и для работы, — и Олена крутилась от мужа, чтобы идти в село.

— Да угомонись, наконец! Чего так раскипятилась? — Лаврин сжал руку жены.

— Если не скажешь, где был, только и видел меня! — пылала она гневом, а в глазах вместо нежного бархата металась осы.

— Да скажу, сумасшедшая, — повел плечом Лаврин. — Вытаращилась ты на меня, а не видишь и на пядь. Неужели вправду глупая ревность одурманила твою умную макитру? — и снова усмехнулся той усмешкой, что так волновала женщин.

— Говори, не тяни!

— Так вот, был я на болотах. Видишь, как промочил одежду?

— На болотах? Зачем тебя туда черти носили? Там же курганов нет!

— Еду носил раненым.

— Раненым? — и женщина почувствовала, как с нее начал слетать гнев, а вместо него проснулось к

кому-то, и даже к Лаврину, сочувствие. — Почему же они на болотах?

— Подожди немного. Зиновия Сагайдака знаешь?

— Почему ж не знать, если наши сыновья у него.

— Вот он и нашел на болотах безопасное место для раненых.

— Так ты тоже с Сагайдаком знаешься? — уже начинает догадываться и боится своей догадки Олена.

— Выходит, знаюсь.

— Так ты, Лаврин, тоже партизан?! — вскрикнула Олена. Разве ж можно было подумать, чтобы такой мирный человек стал партизаном?!

— Партизан или не партизан, а что-то такое есть, — и улыбка заиграла под усами мужа. — Теперь, может, завяжешь в узелок свою ревность?

— Ой, Лаврин, Лаврин, зачем тебе это партизанство? Пусть уж дети там... — Олена сделала шаг, обхватила руками мужа и снова заплакала. — Может, пока не поздно, отступился бы от Сагайдака?

— За кого же ты меня принимаешь? — рассердился он. — Хочешь как в дупле жить? Не такое теперь время!

А если уж сказал Лаврин, то никакими доводами не переубедишь его.

— Это я с перепугу, Лаврин, — и она вытерла слезы, уже готовясь к своей новой судьбе. — Так это и за тобой могут охотиться гитлеряки?

— Если дознаются, то могут. Теперь подорожают и моя цибуля, и моя голова, — усмехнулся Лаврин. Было бы чему усмехаться.

— Ой, муженек, муженек... — припала к его груди, всхлипывая.

Лаврин успокаивающе положил руку ей на голову.

— Да не раскисай ты, Олена. В этой метели и мы можем на что-то пригодиться.

— Я же думала, что в партизаны одни верховоды идут, а оказывается, и ты...

— Такова жизнь, жена. Я бы вот теперь немного поспал у тебя под боком. Как ты на это смотришь?

— Идол ты... Идол!.. — не нашла ничего лучшего сказать Олена. — Всегда обманывал меня.

— Только один раз было такое, — добродушно прищурился Лаврин.

— Когда же это?

— Когда была метель вишневого цвету.

— А была ли она? Сошли года, словно вода, да и к войне приблизись...

Вспомнив все это, Олена выходит из хаты и идет к кринице, где как вкопанный стоит ее муж.

— Ты все еще не набрал воды?

— А у тебя что, горит? — Лаврин начинает вытягивать утопленную клюку, затем снимает с нее ведро, в котором плавают два краснобоких яблока. Каждый год до самой зимы он вытаскивал их из криницы, а доживет ли теперь до зимы? И жаль ему стало своих грядущих дней, в которые он заглядывал и заглядывать боялся. Вышли бы из войны его сыновья,

дочка — и не надо большего счастья. Расплескивая воду, он направляется в хату, а за ним, как тень, идет Олена. И жена у него, хотя и любит поворчать, славная и до недавнего времени любила играть глазами, да и было чем играть.

Он поглядел на гнездо аистов, которое увенчивало хату, вздохнул: улетели до весны птицы, улетели и их аистята. Если бы только до весны...

— Сегодня не идешь к девичьему броду? — уже в хате спросила Олена.

Лаврин наморщил лоб.

— И пошел бы, да с чертовым Магазанником надо встретиться.

— Вызывал он тебя?

— Нет.

— Так зачем же тогда?

— Будешь много знать — скоро состаришься.

— Кто же старит жену, если не годы и не муж? Говори уж.

— Вот видишь, шкуродеры, полицаи значит, схватили раненого командира — у Василины на чердаке нашли. Так надо как-то подговорить Магазанника, чтобы не торопился отвозить его в крайс. А как сунешься с таким делом к черту? И с чего начинать разговор?

Олена задумалась, подперла щеку рукой и сразу будто постарела.

— А может, Лаврин, возьмешь какой-нибудь вырытый талер или полталера и пойдешь к Магазаннику за солью — он же втихую торгует ею. Приценишься, поторгуешься, а далее видно будет.

— И то правда. — Лаврин удивленно глянул на жену, хмыкнул и полез в сундук, где ждали своего времени его сокровища. Вот он развернул белую тряпицу с древними монетами, и на его руке блеснула червонным золотом узкоглазая княжна или королева, которую не состарили и века. Это ж надо — столько лет копать в курганах и только теперь, в войну, найти вот такую красу!

— Ты ж не вздумай понести ее Магазаннику, а то не отцепится от тебя, — предостерегает Олена, приглядываясь к женской красоте...

Смежив ресницы, стоит в раздумье осеннее утро, прислушивается, как на огородах шуршат подсохшие подсолнухи и маковки, как в садах падают яблоки, как на речке и лугах тревожится перелетная птица. Да что теперь эта птичья тревога против людской?! Разве для того родители растили детей, чтобы они снопами лежали на полях или истекали слезами и кровью в застенках? И как земля, что родит святой хлеб, женскую красоту, красную яблоню, золотой подсолнух, может породить таких людоедов, как Гитлер?

Вот так, думая о своих и чужих болях, Лаврин и подходит к подворью Магазанника, на которое столетними ветвями свисает с огорода грецкий орех. Говорят, что ему двести лет, но и сейчас он все еще роняет на землю свои последние плоды.

Не успел Лаврин коснуться калитки, как на подворье завизжала проволока и клубками шерсти и зло-

сти завертелись бешеные волкодавы, те, о которых говорят, что они и черта разорвут, и ведьму задушат. Да не ловят, а стерегут черта эти волкодавы. Из хаты вышел взлохмаченный, хмурый хозяин, глянул на Лаврина — подобрел.

— Вот кого не ждал, так не ждал!

— Да где уж вам, начальству, думать о нас.

Магазанник скривился:

— Эх, помолчи, не донимай этим начальством. У тебя есть что-то ко мне?

— Да, выходит, есть.

— Тогда заходи. — Староста прикрикнул на волкодавов, и они неохотно потянули в новые конуры визжание проволоки, ошетилившуюся шерсть и злость. — Как у тебя чеснок, цибуля?

— Уродили, да вам они, верно, не нужны для торга.

— Теперь не нужны, — даже будто помрачнел Магазанник, вспоминая былую торговлю.

В хате Магазанник бросился к печи, к посуднику и начал собирать на стол еду и ставить напитки.

Лаврин удивляется, догадываясь, почему так засуетился пан староста, и молча вполглаза следит за ним.

— Садись, человек, потрапезуем, пропустим бо чарочке, — растягивает уста в доброжелательной улыбке. — У меня горилка сварена с хмелем.

— Вот так с утра и пить?

— Когда ее теперь не пьют? Тяжелое время настало. — Староста садится под строгими и печальными богами, которые заняли в хате целых две стены.

— Неужели и для вас тяжелое время? — снимает Лаврин кирю.

— И для меня, — чокается Магазанник и одним духом выпивает сивуху. — Лучше б я в Сибирь твой чеснок возил, чем угождать чужой власти.

— Это тоже правда, — верит и не верит Лаврин, а сам думает: будто за одним столом сидим, а живем как на двух концах снета.

— Что же тебя привело ко мне?

— Соль. Хотел бы обменять на чеснок, цибулю или купить за марки.

— Почему ж за марки? — снова чокается Магазанник. — На тебя, говорят, золотой дождь обрушился?

— Так золото — за соль? — притворно удивляется Лаврин.

— А нашел что-нибудь?

— Кто ищет, тот иногда находит, — нехотя отвечает Лаврин.

— Хоть покажи, — печать жадности пробивается на лице Магазанника.

— Придете ко мне, покажу. — И не выдерживает, чтобы не похвалиться: — Такую княжну или королеву откопал, что ей только в музеях красоваться.

— Золотую или глиняную?

— Из чистого золота.

— Пофартило тебе, Лаврин. Что же ты хочешь за царевну?

— Разве ж красота продается?

— И красоту за деньги можно купить, — нахально усмехнулся Магазанник.

— Не красота, а распутство, — насупился Лаврин.

— Что же ты с этой королевой будешь делать?

— Дождусь наших, да и сдам в музей.

Теперь нахмурился староста:

— Дождешься ли, когда немцы уже захватили Москву?

— Хвалилась овца, что у нее хвост как у жеребца. — Презрение заиграло на губах и на всех веснушках Лаврина. — Так что вы зря впутались в старосты, нелегко нам будет выпутаться из этой западни.

Магазанник рассердился:

— Ты меня учить пришел?

— Нет, соли купить, — спокойно ответил Лаврин.

— Хороший покупатель. А помимо королевы ты каких-нибудь побрякушек не выкопал?

— И их нашел: пару золотых украшений с солнцем, что называются по-ученому фаларами, и несколько кругленьких. — Лаврин вынул из кармана потерянный кожаный кошелек, покопался в нем и бросил на стол золотую монету с кудрявой головой какого-то древнего царя.

Магазанник бережно берет золото, присматривается к нему, взвешивает в руке, потом кидает на стол, чтобы по звону распознать, не фальшивое ли оно.

— Этого царя на все зубы хватило бы. Что тебе за него дать?

— Не продается.

— А ты подумай, человек, — беспокойными пальцами ощупывает голову царя Магазанник.

Лаврин решительно взглянул на старосту и прожег его неожиданным словом:

— Берите этого царя и отдайте селу красного командира, которого у Василины нашли.

Лицо Магазанника свела судорога, монета выпала из руки, покатила по столу. Он накрыл золото ладонью и отдернул ее, будто за это время металл раскалился.

— Ты что? Тоже ударился в политику?

— Если спасти людей — политика, то и я за политику, — не спускает Лаврин глаз со старосты.

— Зачем тебе этот командир?

— Живое должно жить. Пусть его вылечат люди. — И ткнул пальцем в монету: — У меня еще есть это мертвое золото, забирайте его, а живую душу спасите.

Староста угрюмо глянул на нежданного гостя:

— Не шути, Лаврин, с недолей, когда есть у тебя хоть какая-то доля.

И Лаврин, не моргнув глазом, тоже перешел на «ты»:

— А ты, Семен, тоже подумай о главном — не подмени своей доли чужой. Тогда уже ничто не спасет тебя. Были у тебя нетрудовые деньги — понахватал их на темных торгах, — а долей не торгуй! Говорят, убежать от себя невозможно. Но теперь такое время, что тебе надо убежать от себя, вылузиться из шкур перебежчика.

— Ты кто такой?! — Хмель улетучился из головы старосты, и он уже со страхом посмотрел на Лаврина. — Кто ты такой?

— Человек, — как-то странно улыбнулся гость, а потом спросил: — Так отдашь людям красного командира?

— Уже не могу — он у полицаев.

— А ты выхвати его оттуда.

— Не могу...

— Теперь и через «пе могу» надо переступить. Это если твоя совесть навеки не уснула.

Староста сомкнул глаза и сжал губы, а потом рубанул:

— Так за это, если я скажу хоть одно слово, не дойти тебе до твоего брода.

А Лаврину хоть бы что, он снова усмехнулся, гордо поднялся из-за стола:

— Не пугай меня смертью. По-разному умирают птица и хорек... Да, идя за чужой головой, думай и о своей. И не советую тебе соваться на наш брод. А почему? Так, верно, сам догадываешься, — и он спокойно, неторопливо вышел из хаты, еще и дверью хлопнул.

И тогда страшная мысль забрела в голову старосты: если даже такие, как Лаврин, ударились в политику, то скоро настанет Судный день и для Гитлера, хотя тот уже и на Индию нацелился.

XXI

Ох и день же сегодня выдался, чтоб он в вековые дебри да болота провалился!

Не успел Магазанник проводить Лаврина, как к воротам нечистая сила приперла бричку с крайсагроном Гавриилом Рогиней. Этот ненасытный пока свое «угу» скажет, — полкабана с копытами съест: наверное, у него из живота дно выпало. И сам черт не разберет, чем дышит человек, которого Безбородько называет то мумиеведом, то латинистом.

Вот он, высокий, сухопарый, обметанный морщинами, которые увядшим укропом лежали даже на веках, поднимается в бричке, отряхивает ладонями и манжетами со своей костлявой фигуры пыль осени и строилом становится на землю, потом неторопливо подходит к калитке, обеими руками повисает на ней. Калитка трещит, волкодавы беснуются, а Рогиня, ожидая Магазанника, хранит на потускневшем лице бремя поминок. Кого же он похоронил или, может, кто хоронит его? Это теперь, при новой власти, стало обычным делом. Хозяин, приглядываясь к флегматичному гостю, встречает его со смешанным чувством угодливости и скрытой насмешки и принимается, не имел ли уже гость зубополоскания.

— А вы, пан, никак, с гулянки едете?

— С похорон, пан, с похорон, — хмуро говорит крайсагроном и так вперяет взгляд под ноги, словно всматривается в могильную яму.

— С чьих похорон, пан?

— Со своих, с твоих и всех поганных панов, какими теперь стали мы, — неожиданно разговорился агроном. С белой горячки, что ли?

— Такое вы скажете страшное, — попытался успокоить его Магазанник.

— То и говорю сегодня, что будет завтра, — ползая к хате Рогиня. Тут он перекрестился на золотую и серебряную пену образов, примостился у края стола, взглянул на Магазанника одной безнадежностью. — Нет ли у тебя, пан староста, какой-нибудь бешеной горилочки, чтобы приглушить дурной ум? — и постучал кулаком по тому месту, где его глупую голову прикрыли редко посеянные волосы.

— Это зелье найдется. Только зачем вам горилкой туманить разум?

Рогиня болезненно скривился.

— А что теперь, пан староста, остается делать, если все ходим под властью Люцифера?

— Не знаю.

— И я не знаю. За чечевичную похлебку пошли мы, отступники, на кайнову службу к фашистам. А они, знаешь, что пишут о нас: «Сейчас настало время биологического истребления славян». Слышишь: уничтожения не большевиков, не партийцев, не комиссаров, а всех славян! Вот на что замахнулись! — Рогиня рванул из кармана смятую газету и бросил ее на скамью. — Еще не победив славян в бою, фашисты уже думают об их физическом истреблении, только нас, пресмыкающихся дурней и разную труху, сегодня еще панами величают. А завтра и из этих панов кишки выпустят.

Магазанник, побледнев, огоропело слушал агронома.

— Когда вы узнали об этом?

— Вчера. Нацеди своего дурмана.

Рогиня сразу опрокинул чарку горилки и заговорил, обращаясь то ли к старосте, то ли к бутылке:

— Понимаешь теперь, староста, что такое баранья порода? Нас какие-то мелкие боли, мизерные обиды или выгоды ослепили, и мы стали обреченными баранами. Вот и погибнем, как бараны.

— Но ведь Безбородько говорил, что Украине немцы пожалуют протекторат, как Богемии или Моравии, и не тронут ее, пока она будет хлебным амбаром.

— Твой Безбородько — паршивый нечестивец, которому только хвоста не хватает, и запомни: кто черту служит, тому дьявол платит. Безбородько — это хитрец, который и на чужом, даже змеином, яйце сидеть будет. Он с националистами и протекторатом довольствовался бы, но дудки — фигу получит, а не протекторат. Почему тебе этот людоед не сказал, что говорят об Украине Гиммлер и Кох?

— А что говорит рейхскомиссар?

— Налей еще горилки.

Рогиня чокнулся с бутылкой, криво усмехнулся: «Пейте, жиля, пока живы», опрокинул чарку, потом достал из кармана записную книжечку, потряхнул ею, и из нее выпал густо исписанный листок.

— Вот послушай, пан, что глаголил недавно Кох

своему отродью: «Ныне над Германией реет знамя вечной Германии. И Украина не плацдарм для романтических экспериментов, о которых еще сегодня мечтают фантазеры без почвы и некоторые полуживые эмигранты. На Украине нет места для диспутов теоретиков о государственном праве, так как нет самой Украины: это название сохранилось только на старых географических картах мира, которые мы властно перекрываем своим мечом. Вместо Украины будет жизненное пространство, неотъемлемая часть немецкого рейха, которая должна стать житницей великой Германии. И нет украинцев. Есть туземцы. Они должны удобрить своими трупами эту землю или работать на этой земле на своих господ и повелителей, пока не придет время их полного уничтожения...

Всем могуществом нашей немецкой энергии мы раз и навсегда должны заглушить бандуру Шевченко. Железом и кровью обязаны мы утвердить наше господство. В бессловесный рабочий скот, в рабов, что дрожат от страха, мы должны превратить тех, кому пока что дарована жизнь...» Кажется, и дьявол не сказал бы такого.

— Вот это да, — съежился, растерянно пробормотал Магазаник и почувствовал, как на лбу, в бороздках морщин, едко пощипывает пот. — Пришли властители мира и освободители!

— Да они из тех, кто душу от тела освобождает! А тут еще и мы, безмозглая труха, безмозглое паиство, впряглись помогать погонщикам смерти.

— За кого же вы теперь? — не знает, что и подумать, староста.

— А думаешь, ведаю, за кого? После этих слов Коха я уже, считай, фашистам не служака, а к большевикам страшно вернуться — ведь не поверят. Так и повисла грешная душа без пристанища между небом и землей, — хмельные горести зашевелились на измятой сетке морщин и в пригасших глазах. — Нелегко мне было и в прежние дни сносить обиды — кто только не колол мне глаза половством, — а сейчас, даже не моргнув глазом, отдал бы жизнь за былые годы, только кому она теперь нужна? Налей, да выпьем еще за наши глупые головы, что сами полезли в петлю. Однако, когда придет мой Судный день, одно смогу честно сказать людям: на моих руках нет и не будет ни одной капли чужой крови.

Жутко стало Магазанику от этой страшной исповеди. А может, Рогиня узнал об аресте Човняра? И снова сквозь него прошли давние годы, а перед глазами встали Човняры — отец и сын. Он торопливо хлебнул самогона, остановил взгляд на Рогине, и вдруг зловещая догадка пронзила мозг: а что, если агроном стал провокатором и проверяет его? Теперь все может быть в этом зловещем, исковерканном мире, теперь невзвешенное слово забирает жизнь.

— Растревожили вы меня на весь день. И зачем вы это рассказали мне?

Рогиня словно заглянул ему в душу:

— Ты, пан староста, приножишься, не проверяю ли я тебя? Не опасайся. Видел при первой встре-

че, что ты не по доброй воле согласился стать старостой, вот и доверился тебе, а теперь тоже мозгую, не продашь ли меня. Видишь, какая жизнь настала. Сидим мы, двое сычей, которые почему-то не смирились с большевиками, не знаем, куда себя девать, а в это время не кто-нибудь, а те же большевики кладут головы, воюя с душегубами... Безбородько же о нашем разговоре ни гугу... У тебя найдется, где проспать от хмеля и тумана в голове?

— Разве что в другой половине хаты — в маленькой комнатке душно будет. Вам сена или пуховик под бока?

— Теперь сена, а потом — земли, а то люди пожалуют для нас досок на гробы. И правильно сделают.

Магазаник обозлился: «Вишь когда совесть заговорила. Видать, накаркаешь смерть на свою и чью-то голову. Не потому ли тебя и прозвали мумиеведом?»

Пощатываясь, Рогиня пошел на другую половину хаты, где под скамьями, кроватью и столом желтели покрытые жесткой скорлупой грецкие орехи и улежались груши-дички. По ним сонно ползали горячие, как на огне кованные, осы. Крайсагроном уставился в окно и вдруг с удивлением сказал:

— О, да к тебе, пан староста, красавица идет! Неужели и теперь может быть такое диво?

Глянул Магазаник — и не поверил своим глазам: у ворот стояла, как осенний луч, опечаленная Оксана, а к ней от проволоки тянулись и дотянуться не могли волкодавы. Почему он их не закрыл в конурах? И стыдно стало перед Оксаной за этих псов, что охраняли его, да и за свою жизнь, что как была, так и осталась бесплодной, словно горсть песка.

Магазаник провел ладонью по щекам, чтобы разровнять морщины, выскочил из хаты, цыкнул на волкодавов и пошел к воротам.

— Добрый день, Оксана!

— Нет теперь добрых дней, — даже не взглянула на него.

— Добрый потому, что ты пришла.

— Это горе мое пришло, — вздохнула Оксана, ожидая, пока он откроет калитку.

— Что там у тебя? — искренне забеспокоился Магазаник. — Не корову ли забрали?

— Если бы корову, дядько.

— И до сих пор это «дядько» не перегорело?

— Тогда — пан староста.

— Еще лучше! — надулся Магазаник. — Заходи, не часто у нас такой праздник бывает.

Женщина только плечами пожала и молча направилась к жилью. Вот впервые пришла к нему Оксана, а тут черт знает что делается: в хате не убрано, самогон и цибуля воняют, а на другой половине что-то бормочет тот бесов мумиевед. Хороши гости, да не ко времени! Это ж надо было ждать Оксану столько лет, чтобы вот так встретить.

— Ты извини за кавардак — принимал из крайса такого черта, который безбожно хлещет все, кроме кипящей смолы. Один может бутылку самогона выдуть. У меня французское вино есть, может, пригу-

бишь? — посуетившись, Магазаник с бутылкой становится против женщины, а та одним укором прожигает его:

— Неужели вам, дядько, в такое время до напитков и закусок?

— А почему? Война, прости, не укорачивает живот ни мужчинам, ни даже женщинам. Садись.

— Я и постою.

— Бойшья хату пересидеть? — «Боже, что я только плету?»

— Вашу хату никто не пересидит, она ведь на каменных бабах поставлена. — И словно ножом пронзает его: — Может, поэтому и все здесь каменным стало?

— Вон как ты заговорила! — зловеще понизил голос Магазаник. — Так можно не только до сердца, но и до чьих-то печенок добраться.

— И это может быть.

— Добирайся, добирайся. За этим и пришла?

— Нет, не за этим, — строго взглянула на него.

— Говори.

— Разные вы брали, дядько, грехи на душу, но не берите последнего.

— Это ж какого?

— Смерти командира. Отпустите его. За это вам многое простится.

— Кто тебя послал ко мне?! — вскрикнул Магазаник. — Подполье?

Презрение обметало лицо Оксаны:

— Не очень ли многого хочется знать вашей голове?

Магазаник уже спокойнее сказал:

— Не играй, Оксана, с огнем, ты, кажется, и до сих пор не знаешь, что такое жизнь.

— А вы будто знаете? Разве жизнь вас погнала в старосты?

«Вот тебе и встреча со своей недоступной...» Магазаник хмуро глянул на Оксану:

— А знаешь ли, молодница, что за такие идеи в гестапо и красоту бросают оолдатам на подстилку?

Оксана вздрогнула, но сразу же овладела собой:

— Тогда бегите, пока ноги есть, в гестапо. Там наградят и за командира, и за меня. Глядишь, за нашу кровь и хуторок вам достанется.

— Как ты говоришь?!

— Как умею.

— Ох, и ведьмочка же ты! Такое сказать! — напрасно хочет заметить во взгляде Оксаны хоть капельку тепла. Неужели и в ней война сожгла его?

— Еще раз и я, и женщины наши просим вас — отпустите несчастного. Подумайте и отпустите.

Она спокойно вышла из хаты, а он, проклиная сегодняшней день, бросился за ней, чтобы защитить от волкодавов.

— Оксана, подожди... Поговорим. Столько не виделось.

Но больше он не услышал от женщины ни слова.

С улицы Оксана повернула на огород, и он еще долго видел, как она шла между зеленой коноплей и последним золотом подсолнухов. Вот дошла она

огородами до самой церкви и до той колокольни, где хотела приворожить Ярослава. Теперь тут два полиция, высунув из окон головы, лузгают семечки, пока не увидят жандармского обер-ефрейтора, который муштрует их. Тогда ухватятся за винтовки, и одна бдительность застынет в их буркалах, да все равно от обер-ефрейтора получат свое «швайне».

Через какое-то время, после тяжелых раздумий, Магазаник все же пошел в полицию, решив сдать Човняра кому-нибудь на лечение. А там пусть и выкрадут его. Но было поздно: полиция как раз уложили на воз раненого командира, готовясь везти его в край.

«Последний грех», — вспомнил староста слова Оксаны. И почему он так сплеховал, когда увидел командира на чердаке у Василины? Разве нельзя было тогда заговорить зубы глупому Терешко?

— Чего вы так спешите с ним? — как бы равнодушно спросил коменданта полиции, который не очень твердо держался на ногах.

— Квасюк нас в шею гонит, говорит, этот командир даже в окружении подбивал немецкие машины. Раненый подбивал! Есть же такие неистовые..

XXII

Каким глуповатым ни был Терешко, а сообразил все же сказать в крайсе, что не он, а староста поймал Човняра, и уже через несколько дней за голову Човняра Магазаник получил желанный хуторок с садочком, сенокосом и ставком. Это был первый выданный немцами надел земли. Ох, как не хотелось, чтобы люди знали, какой ценой достался ему хутор! Но тут уже верховодил не кто-нибудь, а сам Оникий Безбородько, который поклялся выкорчевать в своем крайсе и корни, и семена «социалистического евангелия». А чем же его можно корчевать, если не оружием и частной собственностью? Сама история записала на своих скрижалях, что за святую земельку крестьянин и родному брату проламывал голову. Вот за эту же земельку не пожалеет он теперь головы партизана или подпольщика. Так думал и так всюду говорил Безбородько, сожалея, что новая власть положила малую пену за большевистские головы — от тысячи оккупационных марок до шести гектаров земли.

А Магазанику Безбородько вырвал хуторок у самого гебитсландвирта. Вручали ему грамоту на владение землей публично, чтобы еще кому-нибудь захотелось стать хуторянином. Село на сходку сзывали десятские и звоном колоколов. Ох, эти колокола старой звонницы, что и до сих пор пахнет зерном и воском. Не радость, а смятение и страх всеяли они в растревоженную душу старосты. Зачем вся эта комедия? Дали бы втихомолку хуторок, да и будь здоров. Ан нет, надо выставить тебя на людское бесчестие, чтобы кто-нибудь потом и угостил свинцом.

Получая грамоту от самого гебитсландвирта, возле которого неподвижным идиолом стоял комендант

гестапо, Магази́нник прятал от людей глаза, но не мог спрятать ушей и несколько раз слышал, как шелестела молчаливая сходка страшным словом: «Иуда... Иуда... Иуда...»

Такого позора и срама он еще не знал.

И тогда вдруг вспомнился рассказ церковных нищих об Иуде, Люцифера верном сыне, что сидит у него на коленях, а свой кошелек с тридцатью серебряниками держит в руке. И страх прошлого, и страх настоящего тисками сжали его сердце, а со лба начал скатываться холодный пот: и он не хотел держаться на новоиспеченном хуторянине. В оцепенении, словно сквозь вьюгу, доносились до него разглагольствования Безбородько, что теперь священный долг крестьянина — производить как можно больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов для нужд немецкой армии.

— Те общественные хозяйства, которые докажут нам свою надежность и трудовую честь, немецкое сельскохозяйственное управление превратит в хлеборобские союзы. А далее уже прямой путь к вековой крестьянской мечте — к собственному наделу.

И на это тут же откликнулся чей-то знакомый голос:

— Дождешься, полоумный, два метра личного надела.

«Кто же это? Неужели Лаврин Гримич?» Староста поворачивает отяжелевшую голову и встречает полный презрения и ненависти взгляд скирдоправа. Господи, откуда столько неистовства появилось в глазах такого смиренного человека?

После сходки гебитсландвирт, крайсландвирт и комендант гестапо сразу же уехали в крайс, а с Магази́нником остался Безбородько и весь незванный сброд, что притащился с ним на гульбище. Все они, кроме Рогини, которого насильно затащили на обед, шумно поздравляли хуторянина, желали ему богатства с земли, с росы да с воды, а хуторянину думалось об одном: рассеял он свои дни, как темную росу, и залез в петлю.

В хате шла гулянка, а в душе — похороны, и нельзя было их утопить ни в заморских винах, ни в домашнем самогоне. Вот бы забраться куда-нибудь, хоть на край света, чтобы забылось все...

Когда сытость смягчила жестокосердие начальника вспомогательной полиции Квасюка, он под грохот печной заслонки, валька и скалки станцевал трепака, а затем, поблескивая двумя обоями металлических зубов, начал просить Безбородько, чтобы тот спел лирическую, как когда-то, при большевиках, распевал на ярмарках и базарах. Проголодавшийся Безбородько, стараясь возле телятины, отмахнулся от пристава, даже блеснул ученостью:

— Мой желудок, наверное, желудок орла, ибо он больше всего любит мясо ягненка. Так говорил Заратустра.

— Так дайте работу не только желудку, но и голосу, — домогался своего начальник полиции.

Тогда Безбородько расстегнул суконную, с кожаной мережкой куртку, чтобы все видели орден «За

храбрость и заслуги», внимательно обвел желтыми печатями глаз сборище, взмахнул руками так, словно он держит лиру, сгорбился и низким басом умело повел старинное слово, которое сразу же запало печалью в пропащие души:

Зійшла зоря посеред моря —
Ой то не зоря, лишь свята Варвара.

До неї сам круль залицяв,
Святій Варварі подарунок обіцяв.

І казав він слугам злота накопати,
Святій Варварі подарунок післати.

Свята Варвара подарунка не брала,
Бо йому жоною бути не гадала.

А круль сказав слугам срібла накопати
Святій Варварі подарунок післати.

Свята Варвара срібла-золота не брала,
Бо йому жоною бути не гадала.

А круль сказав слугам скла надробити
І святій Варварі по тім склі ходити.

— Господи милостивий, стань мені до поруки,
Не дай терпіти невиннії муки.

Зіслав господь янгола з неба:
— Уступай, Варваро, на те скло, бо треба.

Свята Варвара на скло наступила,
А жодної краплі крові не вронила...

И вдруг мертвую тишину, которая воцарилась в доме, разорвало надрывное всхлипывание крайсагронома Рогини.

— Очнитесь, пан. Отчего вы так расстроились? — растерянно спросил его Магази́нник.

— Варвары мы, богом и людьми проклятые варвары! — вытирал рукой потускневшие глаза Рогиня. — Измученная Варвара ни одной капли крови не уронила. Мы же эту кровь ежедневно квартами цедим, а мозги заливаем вонючим самогоном. Так кто мы после этого?

— Скажи, скажи, злоязычник, кто мы такие?! — окрысился на него начальник вспомогательной полиции с приплюснутыми ушами и с плоским лбом, на котором сразу же от бровей ботвой топорщились волосы.

— Не клади руку на смерть, она сама положит на тебя свою, — не испугался Рогиня, когда полицейский рванулся пятерней к кобуре. — А кто мы, скажу. Начну с тебя. Должен был ты, страшилище, родиться человеком, а вылутился чертом.

— Замолчи, отступник, а то навеки заснешь! А перед этим и сукровицей зарыдаешь! — Квасюковой крови стало тесно в жилах, и они, набухая, начали пауками пробиваться на лицо.

— А я не хочу молчать, — очнулся, словно из оцепенения вышел, Рогиня. — Потому что страшны в мире тревоги и страшны печали.

— Вот сейчас ты и увидишь эти печали, — вытираив свои косые студенистые глазки, Квасюк схва-

тил агронома за шиворот и потащил из хаты. — Вот сейчас и узнаем, чей черт старше.

Рогиня, упираясь, не молчал, а еще и угрожал: — Ты, ублодок, окаянный, думаешь заслужить серебряный крест второго класса? Заработаешь, только дубовый.

— Я тебе дам и дубовый, и осиновый! До седьмого колена вырежу твоё отродье... — Осатаневший Квасюк вырвал из кобуры пистолет с инкрустированной рукояткой.

Но за Рогиню вступился Безбородько, не столько из любви к крайсагроному, сколько из ненависти к начальнику полиции, что перехватил у него место.

Пирушка была испорчена. Гости перессорились, переругались и вскоре уехали в город, оставив в хате чад табака, пота и поганных слов.

Вот и есть у тебя, хозяин, долгожданный хуторок. Не пойти ли хоть сейчас туда, а то завтра можешь опоздать. И, наверное, пошел бы, если бы не побоялся темноты и глаз Човняра, что всюду преследовали его. Не зная, куда девать себя, Магазанник послушался по подворью, заглянул в просторную клуню, где на току, словно деды, сивели тяжелые снопы жита, которые завтра лягут под цепи; пальцами прикоснулся к колоскам, нашел между ними крохотную головку дикого мака, которая уже рассеяла свои семена и вспомнил давний сочельник и опечаленного отца и услышал его необычные слова: не потерял ли сын любви к житу, к красному маку в нем? И вдруг страшные цепи неотвратимости забесновались над Магазанником. Он вцепился обеими руками в один, в другой, в третий сноп, словно они могли вернуть ему то, что было навеки утрачено, а потом выскочил из клуни и, забыв запереть жилище, отправился к отцу Борису.

Неласковым взглядом встретил его старый батюшка, который, возвратившись с церковной службы, уткнулся не в Священное писание, а в какую-то житейскую книгу. Вдыхая застоявшийся дух ладана, Магазанник растерянно остановился в дверях.

— Я к вам, отче.

— Чего вам, пан староста? Подати или налоги привели?

Это раньше он был для батюшки ребенком, отроком, юношей, Семеном, а теперь стал паном старостой. Даже поп отделяет его от людей.

— Прошу вас, преподобный отче, отслужить панихиду... — запнулся Магазанник.

— Панихиду? По кому? Неужели по сыну? — смягчился воск старческого лица.

— Да нет, не по сыну... По одному человеку... По Човняру.

— По Човняру? Которого ты отдал за хуторок? Магазанник безнадежно махнул рукой:

— Так уж случилось, батюшка. Не ты носишь корни — корни носят тебя...

— А кто-нибудь и подрубают корни людские, — снова уткнулся старик в книгу.

— Вот вам деньги за панихиду, — и Магазанник положил на стол чужие бумажки.

— Забери свои деньги, пан староста.

— Это почему же?

— Забери!

— Но...

— Забери! — как заклинание, в третий раз сказал отец Борис.

И Магазанник должен был забрать деньги.

— А как с богослужением?

— Отслужу.

Магазанник еще помялся возле стола:

— Вы, батюшка, презираете меня?

— Ты спроси у сельчан: кто теперь не презирает тебя? Дети наши бьются с василиском, но скорпию, а ты душегубством наживаешь землю. Не уродит она тебе ничего, кроме лиха.

У Магазанника пересохло во рту, пересохло и внутри. И тут наглотался позора под самую завязку.

— И что вы посоветуете?

— Почему же ты, пан староста, раньше у меня совета не спрашивал? А теперь скажу одно: сколько ни старайся, а вчерашний день не вернешь. И вчерашней воды не догонишь — со всеми грабителями и даже с самим Гитлером не догонишь.

Еще сентябрь мало думает об осени — под старыми придорожными липами жаром пышут золотые короны девясилы, а в дуплах лип не поселились ветры. Вот только на сенокосах и в низинах скошенные отавы пахнут не столько травой, сколько свезенным сеном. Этим, верно, осень и похожа на старость: дух прожитого более властно колышется над ней, чем дух нынешнего дня.

Как сама старость, идет себе шляхом отец Борис, прощается с летом или с летами и все же несет в торбе целительные травы, ибо кто теперь достанет людям лекарства? В молодости отец Борис мечтал стать лекарем, но родители силком заставили единственное чадо пойти в попы. Вот и прошел его век между церковью и кладбищем, и только целебные травы теперь утешают старческие руки, напоминают о тех далеких годах, когда мечталось сделать людям больше добра, чем сделано.

Слева блеснула петляющая речечка, возле нее на лугу, в отаве, пасется старый, отработавший свое конь; услышав шаги, он подымает рябую голову и синим глазом, в котором залегла умная, прощающая человека печаль, смотрит на старика, потом, вздохнув, снова склоняется к отаве, что пахнет свезенным сеном. Позади затарахтела подвода, на ней неподвижно сидит Семен Магазанник. Вот с кем не хотелось бы встречаться ни на этом, ни на том свете.

— Садитесь, батюшка, подвезу! — еще издалека крикнул он.

— Тебе же не с руки.

— Ну и что?

— Езжай уж, пан староста, куда собрался.

— Пренебрегаете мной?

Старик помолчал и только теперь заметил, что в зеленых глазах Магазанника еще больше стало

серого песчаника — тоже к осени идет. Уже миновав батюшку, староста вдруг остановил коней и ткнул кнутом в сторону притихшего хуторка:

— Батюшка, а что, если я отпишу хуторок церкви? Возьмете?

— Нет, пан староста, не возьму.

В голосе Магазаника зазвучала угроза:

— Смотрите, батюшка, чтобы не каялись потом!

— А ты не страшай меня, — чуть слышно ответил старик, — у меня уже вечерет в глазах, я прожил свой век и ничего не боюсь, кроме бога. Себя страшай и сам страшись.

— На что же вы надеетесь, батюшка, сегодня? — с нажимом вымолвил Магазаник последнее слово.

— Один бог знает, что будет завтра, — ответил на его слова отец Борис. — Ты лучше подумай, как в теле душу от черного духа спасти.

Староста еще что-то хотел сказать, но передумал, люто стеганул кнутом коня и исчез, словно черт, в облаке пыли.

Вот и его хуторок, его садочек, его ставок и отава. Стучат, падая на землю, яблоки, и стучит его растревоженное сердце, а сам он не знает, на каких жерновах, на каких мельницах можно размолоть свои грехи.

Когда-то давно такой сентябрьской порой он провозжал на хутор отца. Тот медленно шел возле старых печальнооких волов с полыми рогами, что гудели в непогоду. Эту скотину уже давно надо было продать мясникам, но Мирону жаль было ее: она тоже работала на хлеб. Старик, покачивая седой головой, прислушивался к тихим звукам предвечерья, к скрипу колес, к скрипу нагруженного на воз домашнего скарба и невесело радовался, что будет жить подальше от сына и его хитростей.

«И пусть живет отшельником — не будет каждый день мозолить глаза».

Из свежевыбеленной, что аж смеялась, хаты навстречу им выбежала разгоряченная от работы и печи Василина: молодость и задор чувствовались в каждом ее движении, а вокруг ее тугого стана витали клетчатая юбка, и витанцовывала возле нее молодая, с желтыми кукушкиными черевичками, отава. С головы молодницы соскользнул платок, и теперь затанцевали ее вьющиеся волосы золотой и поздней осени.

Василина недружелюбно покосилась на Семена и весело защебетала возле отца:

— Вот хорошо, что вы засветло приехали. Снимайте с волов ярма — да и к столу. Я уже вам чумацкую вечерю приготовила...

Для отца было кому приготовить и обычную, и чумацкую вечерю, а тебе теперь никто не приготовит; возись сам возле печи, как черт в пекле, толки беспрестанно страх в своей ступе, что когда-то была умной. Да куда подевался тот ум, погнавшись за лукавой копеейкой?.. Раньше он не раз подсмеивался или насмехался над теми, кто жил хлебом насущным, трудами праведными да разными, как ему казалось, устаревшими добродетелями и не имел за

душой ни копейки. И вот наконец что же вышло из его насмешек? Если бы только можно было вернуть утраченное время, вернуть отца, Василину — считай, и не надо ничего больше. А теперь хоть плыви, хоть бреди — все равно берега спасения нет.

Синей-синей чашей упал в глубину усадьбы ставок, а в нем расцвели по-весеннему белые облака. Из камыша выплыла та самая уточка, за нею завыюнился тихий след. А вот какой след оставишь ты? Не слишком ли поздно начинает человек думать об этом?..

В селе, как с того света, глухо ударил колокол. Кого и для чего сзывает или по ком печалится он? И пусть печалится с теми, кто в селе, а ему хочется побыть наедине с самим собой, с тишиной, с последним стрекотом кузнечиков. Сейчас распряжет коней, достанет удочку, да и сядет в маленький челн, что словно выплыл из детства. От этой мысли даже полегчало внутри.

И вот уже торчком на воде стоит поплавок, и в камыши урывает уточка, и за камышами стрекочут кузнечики, а из села, как с того света, все еще выплескивается медь колокола. Чего тебе, неугомонный? Кого ты хоронишь?

Зашевелился поплавок и пошел, и пошел, и пошел по воде! Магазаник дернул удилище — и в воздухе чистым серебром блеснула увесистая красноперка. А потом началось что-то невероятное: только закинешь немудреную снасть — так и тянешь или карпика, или красноперку, или плотву. Ох, и выдался же день! И уже не слышно ни стрекотанья кузнечиков, ни медной печали колоколов, ни пофыркиванья коней, а только раздается посвист орехового удилища.

— Пан староста! Пан староста! — запыхавшись, кричит позади него полицай Терешко.

Магазаник сначала бросает в челн рыбину, а потом неохотно оборачивается к верному служаке.

— Что там у тебя, придурковатый, горит?

— Пан староста, ой, пан староста... — словно раздувая мехи, тяжело дышит Терешко и пятерней размазывает на лице пот.

— Чего ты одним словом подавился? Говори же что-нибудь!

— Пан староста, горит ваша хата!

— Ты что?! — сразу оторопел Магазаник, бросая взгляд то на Терешко, то вдаль, а ноги сами хотят бежать и не могут.

— Ей-богу, правду говорю.

— Какая же хата? — не может оторвать ног от челна. — В лесу или в селе?

— В селе.

Господи! А там же под подоконником, в стене, схоронено его золото. Хотя бы только крыша сгорела.

И лишь теперь Магазаник выскакивает из челна на берег, вглядывается в ту сторону, где между деревьями пробивается дым. У Магазаника от страха онемело сердце и застучали зубы.

— Кто же это мог сделать?

— Было бы добро, а поджигатель найдется, — и несожиданно Терешко по-глупому усмехнулся. — Вот

ведь когда бежал к вам, слышал, что говорили старые бабы. Кто-то из них своими глазами видел, как из трубы вашей хаты сначала клубами повалила черная пылица, из нее на огненном помеле вылетела молодая ведьма, а уже потом загорелась крыша.

— Бежим, Терешко!.. Кто-нибудь спасает хату?

— Считайте, что никто — сами знаете, не доведи господи, какой пошел теперь народ...

Никогда в жизни Магазанник не видел такого пожара. Пылала хата, пылал возле нее орех, но никто из людей, кроме жандарма и трех полицейских, не прибежал на пожар. Вот так, на безлюдье, и сгорело жилье, сгорели и те дубы, которые должны были выстоять два века.

Долго, до самой ночи, Магазанник, вороша железным прутом свое пожарище, даже приподымал с земли покалеченных, почерневших скифских и половецких баб. Но спрятанного так и не нашел: или кто-то из полицейских выхватил его, или оно стекло в огне золотой слезой...

XXIII

Весь в пыли и копоти, обессиленный и озлобленный, Магазанник одиноко плетется с пожарища на дворик соседки серпастобровой Одарки, что овдовела молодой и всю свою нежность и любовь перенесла на чужих детей. С тех пор, как в селе открыли детский сад, в нем сияют и тревожатся карие, в золотой оправе, глаза вдовы. А захворает какой-нибудь малыш, — Одарка и днюет и ночует возле него, и что ей тогда своя хата, свой неухоженный огород, если надо облегчить чьи-то страдания?

Добротой ее бессовестно пользовались нечестивцы, и не раз бывало так, что к весне вдова оставалась не только без хлеба, но даже и без картофеля. Ну и что за беда?

— Бестолочь я, — посетует на себя, грустно усмехнется, да и снова к детям — несет им и радость, и заботу, и бархатный голос, что не только «Люлі, люлі» или «Журавку» выводит. Как запоет Одарка, бывало, на какой-нибудь гулянке «На добраніч та всім на ніч» или «Там на горі в Почаєві зоря ясна стала», так и старые, и малые заслушаются. Но и обрезать и взглядом, и словом могла, как бритвой, особенно некоторых назойливых. Тогда в ее глазах сверкала такая цыганская дерзость, что и самым отчаянным становилось не по себе.

Сватались к вдове добрые люди, да она зареклась больше не выходить замуж, считая, что человек один раз рождается, один раз и любить должен. Любила она — света не видела, и весь мир льнул к ней, когда был жив Петро Раздольский. А не стало Петра, осталась верной его памяти.

«Каких только причуд не бывает у женщин: одна всю жизнь верна мертвому, а другая всю жизнь обманывает живого», — черт знает что лезет в очумелую от чада голову Магазанника. Подойдя к хате вдовы, он несколько раз кланулся щеколдой.

Одарка, очевидно, уже спала, так как не скоро зашаркала по хате, застучала дверью и испуганно спросила из сеней:

— Кто там?

— Твой сосед. Открой, Одарка, — устало попросил Магазанник.

— Пан староста? — удивление и насмешка сливаются в ее голосе. — Чего вам ночью?

— Откроешь, тогда скажу.

Вдова отодвинула засов, открыла двери и стала на пороге. От расплетенных кос, что рассыпались вокруг женского стана, повеяло теплом сна или сновидным зельем. И хоть в темноте не было видно Одаркиных очей, но он все равно видел ее дугастые брови чародейки. Да жаль, линяют они.

— Смелая же ты. Видно, нет страха в душе, и никого не прячешь у себя.

— А вы, пан староста, ко мне на разведку пришли? — с издевкой спросила вдова. Куда и девался бархат ее голоса. — Чего вам?

— Какие-то злодеи сожгли мою хату, — начал говорить так, словно Одарка ничего не знала о пожаре.

— Огонь находит свое место, — загадочно сказала вдова. — Так чего вам?

— Разве не догадываешься? Хочу переночевать у тебя, а то куда мне деваться теперь?

Одарка ужаснулась:

— Что вы, пан староста, говорите! Разве ж можно вам остаться у меня?

Магазанник едва сдержал злость:

— Почему ж нельзя? Жалеешь свой топчан? Кровати уж не прошу.

— А вы подумали, какая обо мне завтра дурная слава пойдет?

— Одарко, мы же соседи с тобой! Да и кто о тебе скажет плохое слово?

— Сразу же найдутся такие песиголовцы, что начнут глумиться. Ведь что для злого языка женская честь? Идите, пан староста.

Магазанник понимает, почему чурается его Одарка, однако еще спрашивает ее.

— Так, значит, непустишь и на ночлег?

— До конца своей жизни!

И староста вспыхивает:

— А я, чумовая, кому-нибудь укорочу и жизнь, и язык. Сто болячек тебе!

— Болячки могут вскочить у того, кто ими разбрасывается, — ответила Одарка, крутнулась перед самым носом старосты, хлопнула дверью, грохнула засовом, и ее шаги затихли в хате.

«Погоди, ведьма! Завтра дождешься от меня отплаты! По-иному запоешь, когда погонишь свою коровушку в край», — лютая, он выходит на улицу, обходит свое пожарище, минует потревоженных каменных баб, что пахнут паленым, и не знает, к кому постучать; мало у него было приятни к людям, не было ее к нему и у них. Вот разве что зайти к деду Гордию? Тот, душа сговорчивая, и кого надо, и кого не надо приютит, даже цыгана ярмарочного.

Старик, не допытываясь, кто стучит, быстро от-

крыл двери, белея полотняной одеждой, стал на пороге.

— О, это ты, пан староста?

У Магазанника шевельнулось подозрение:

— А вы, дед, кого-то ждали?

Старик вздохнул:

— Ждал и не ждал, пан староста.

Магазанник не выдержал:

— Дед, какой я вам пан староста?

— Как и всем,— понуро ответил старик.

— А кого вы ждали?

— Да вот передавали люди, что внук Василь в лагере от истощения доходит. Так жена подалась туда выкупить его, может, он и донесет свою душу домой. А ты с какой же стати ночей недосыпаешь?

Магазанник почувствовал в голосе старика скрытую насмешку.

— Пришел вот к вам ночь досыпать.

— Это ж как? — насторожился дед.

— Просто мне теперь негде переночевать. Пустите?

— Нет, не пушу, пан староста,— решительно сказал старик.

— Почему же?!

— Потому, прости, что негде. У нас кровать стоит для старухи, топчанчик для меня, а тебя ж на полу, да еще и на лежалой соломе, не положишь, ведь ты пан староста.

— Я могу и на полу. Бросите камыша или соломы, застелете рядом...

— Эге, а что потом твой кормилец скажет? Зачем мне из-за этого ссориться с ним? Иди уж к кому-нибудь другому.

— Я пойду, но завтра вы придете ко мне в управу,— угрозой зазвучало каждое слово.— А не придете, насильно приведут.

И вдруг, совсем неожиданно, Гордий попросил:

— Сними-ка, Семен, сапоги.

— Это ж для чего? — вытаращился Магазанник.

— Когда снимешь сапоги, я гляну, что у тебя, ступни или копыта.

Мотнув полотняным одеянием, старик исчезает в сенях, а Магазанник еще какую-то минуту стоит у порога. Ненависть волнами разливается по его телу, туманит голову, и к нему по-кошачьи крадется испуг. Что же случилось за эти дни?..

Он хорошо знает: село еще и до сих пор не оправилось от страха. Подавленное, ошеломленное фашистским нашествием, оно теперь сторонилось всех и всего, и, кажется, каждый живет в нем сам по себе. Наверное, так и надо фашисту: жестокостью и страхом загнать каждого в собственное дупло, чтоб не ронлось общественное. Разве не помнит он, как люди выбирали его старостой? Молча, без единого слова, словно это были тени, а не люди. А вот выдал он Човняра — и тени начали оживать. Выходит, и у страха есть свои границы и свой конец.

Магазанник медленно ковыляет из Гордиевого подворья на улицу. Он снова подходит к пожарнице, бьет сапогом ненавистных каменных баб, ворошит головешки и неожиданно слышит, как что-то зазвене-

ло. Господи, неужели это нашлось его золото? Согнувшись, он запускает руку в пепел, но находит не золото, а обгоревший кусок цепи. Только цепи и не хватало ему!

От пожарища он медленно идет к своему дубовому рубленому амбару. Тут возле порога стоят новые, еще не окованные колеса, а под стрехой сушатся связки отборной кукурузы. Она тоже пропахла дымом. Мамалыги из нее уже не сварить. При воспоминании о мамалыге ему сразу захотелось есть. Он отпирает дверь и входит в привычную теплоту амбара, в котором кроме жита-пшеницы хранятся невыделанные кожи, свежие семена конопля, мака, льна и стоит несколько оплетенных лозой бутылей с подсолнечным маслом.

Когда-то, еще в молодости, бывали у него в этом амбаре по вечерам и волнения, и хмель любви. Тогда тут с девичьих кос опадали цветы подснежника, ромашки, чернобрицев — это уж какая пора стояла на дворе. Эх, давно выветрился запах тех подснежников, той ромашки, чернобрицев, а сейчас слышен только дух подсолнечного масла, что пойдет на продажу.

Может, снова, как когда-то, переночевать здесь и хоть во сне вернуться в далекие годы? А кто-нибудь запрет снаружи амбар и подожжет тебя и твой запасец? На ум некстати приходят полузабытые слова: «И нет злomu на всей земле бесконечной веселого дома». Ох, уж эта литература и все ее сантименты! А разве не злые властвуют сейчас во всем мире? Если же у тебя пустота в душе, и вся земля становится пустыней.

Магазанник на всякий случай внес в амбар колеса, запер его и огородом подался к сапожнику Максиму Калюжному, который никогда не вылезал из долгов. Как прижмешь его, он рысцой побежит из хаты в хату собирать новый долг, чтобы отдать старый. И до сих пор Максим должен ему триста рублей за телку, которую взял под залог. Но разве вчерашние триста рублей сравнить с сегодняшними?

Еще со двора Магазанник слышит в хате Калюжного приглушенный гомон. Он осторожно подкрадывается к окну каморки и сквозь него чувствует запах дыма и горилки. Так и есть, глупый голоштанник Калюжный гонит самогон, который ждет уже целая капелла.

— Ваше здоровье, люди добрые,— дрожит приятный тенорок мягкосердечного Максима.— Хотя и теплый он, но настоящий.

— Память им отшибешь, так все меньше будут жать...

— Пейте, кум, без политики, а то политика пропашнее дело.

— Какая же это политика? Вот сказал один дядько при немце, думая, что он не понимает по-нашему: «Ох, и жмут так жмут!» А немец и окрысился на него: «Кто тебя жмет? Новая власть?» — «Нет, новые сапоги», — ответил дядько. «Так ты же босой!» —

«Потому и босой, что жмут»,— вовремя спохватился дядько.

— Ха-ха-ха!

— Выпьем же, люди, как на сочельник, за тех, кто в дороге. Пусть им легонько икнется.

— Господи, когда только возвратятся они?!— невыразимой тоской зазвучал женский, со слезой, голос.

— Не надо, жена. В слезах горя не утопишь.

Зазвенели чарки, и тишина надолго воцарилась в каморке: видно, каждый думал о своих сыновьях. Магазаник подошел к дверям, постучал раз, второй, третий и только тогда откликнулся дрожащий теиорок Максима:

— Это кто так поздно?

— Я, Максим.

— Кто «я»?

— Семен Магазаник. Уже не узнаешь?

— Теперь и родного батьку не узнаешь. Такое время... Чего вам?

— Так и будем разговаривать через дверь?

Максим вздохнул, что-то тихонько сказал в каморку и начал открывать двери. Вот он и стоит против Магазаника, низенький, взлохмаченный, сникший.

— Не думалось и не гадалось, чтобы ко мне так поздно сам пан староста заглянул.

— Почему же не прийти к хорошему человеку? Как тебе живется?

— Да...— не знает, что ответить, хозяин.— Уже и не сапожникаю. Вот сегодня подпорками укрепил хату, а то в лес теперь и не сунешься.

— Ну, а капает хорошо?

— Вы откуда знаете?— еще больше смущается Максим.— Наверное, полицай Терешко пронюхал. Он, бисова душа, почему-то придирается и придирается ко мне. Может, и вы первачка хлебнете?

— Спасибо, попробую твоего добра. А я пришел к тебе переночевать.

— Переночевать?!— даже глаза вылупил Максим.— Как же это?

— А так, как слышишь, потому что нет у меня уже хаты. Найдется у тебя какой-нибудь топчан?

— Я, пан староста, и не против, да ко мне как раз родня наехала, по доброй чарке выпили и тоже ночевать устраиваются,— явно врет и даже не заикается Максим.

— Зачем же родня съехала к тебе?

— А кто же им смастерит постолы, как не я?

— Загордился ты, загордился.

— Такое выдумаете. А ночлег поищите где-нибудь в другом месте, такое уж дело с родней вышло.

— И где ты посоветуешь поискать этот ночлег?— едва сдерживает злость Магазаник.

— Где? Да хотя бы у Терешко. У него места много: и жена сбежала от него, и винтовка при нем. Да и вы уже будто родней стали при новой власти.

— Я тебе, голодранец, припомню и ночлег, и родню, да так припомню, что ты и детям закажешь насмехаться. А пока что утром принеси свой долг.

Смотри, только утром, а то днем будет поздно! Слышишь?

— Не оглох еще!— так наершился должник, словно кто-то подменил его.— Не оглох!— и закрыл двери.

Надо же такого дожидаться от какого-то злыдня! И снова Магазаник идет мертвыми улицами и огородами, на которых пробивается осень. Проходя мимо колокольни, он слышит, как скрипят от ветра ее косточки, как тихой жалобой на кого-то звеют колокола, и второй раз думает о похоронном звоне по своей душе.

Позади слышались шаги: кто-то догоняет его. Магазаник прижался к чьему-то опутанному огородами плетью тыну, выхватил пистолет.

— Пан староста, это я,— запыхавшись, задрезжал голос Максима, и Магазаник остановился.

— Чего тебе?

— Вот вам долг!— и Калюжный презрительно протянул руку, в которой сжимал несколько бумажек.

— Где так быстро наскреб денег?— удивился и даже растерялся Магазаник.

— Люди скинулись в шапку, то есть родня моя.

Магазаник сердито засовывает деньги в карман и молча удаляется в темноту.

Подвыпивший, с засаленными губами Терешко, что как раз уплетал поросенка, и вправду встречает Магазаника словно родню, только удивляется, почему пан староста не пошел ночевать к Одарке.

— Не пустила.

— Не пустила?!— выпучил глаза Терешко.— Вас— и не пустила?

— Еще и норов показала. Завтра надо забрать ее корову за неуплату податей.

— Утром я возьмусь за нее, анафемскую! Я ей пришью и прилатаю. Дешево не откупится она,— веселится Терешко, который почему-то имеет зуб на вдову, и ставит на стол бутыл с самогоном, режет свежую грудинку, хлеб, сам жарит яичницу и все горюет, что не напали на след поджигателя.— Я бы его живого освежевал. Поднимаю чарку за то, чтобы утихли все ваши боли.

— А не слишком ли много ты этого питья уничтожаешь?

— При нашем деле иначе нельзя,— уставился Терешко в чарку.— То ты идешь в гости, то сам гостей встречаешь, то за партизанами охотишься, то допрашиваешь какого-нибудь типа до полусмерти. А что же за вопрос без горилки? И чью-то кровь надо залить горилкой, чтобы не стояла в глазах...

Утром Магазаник проснулся от нестерпимого звука. Закатав рукава, он увидел на руках пятнистую россыпь красных бугорков.

— Почесуха,— сразу определил Терешко.— Видать, на нервной почве. Начешетесь теперь вволю.

— А чем ее можно лечить?

— Лекарств много, только толку мало,— и Терешко снова начал ставить на стол бутыл, чарки, миски с салом, огурцами и капустой.— Извините, что у меня по-простому, никаких сластей нет, потому как жена сбесилась и сбежала к родителям, не хочет с

полицаем жить. Еще и она, дуреха, в политику лезет. Вот и кручусь одиноким. Вы и на обед приходите. Я из общественного хозяйства притащу кабанчика, вот и полакомимся свежениной. — Чавкая, Терешко приглядывается не столько к старосте, сколько к горилке.

Не успели выпить по второй, как на крыльце забухали шаги, затем открылись двери и в хату вошел хмурый, с десятнзарядкой на плече, полицай. Магазаник, не веря своим глазам, поднялся и не то вскрикнул, не то застонал:

— Степочка!

Перед ним стоял его сын, с обветренным лицом, злой и постаревший. На шее у него морщинился шрам.

— Сам, своей собственной персоной, добрел до вас, — невесело заиграл мельничками ресниц Степочка. — Так мы, тато, стали погорельцами и вообще?

— Беда! — вздохнул Магазаник, обнял сына, посадил за стол. — Видишь, у чужих людей уже ночью.

— И не нашли поджигателей?

— Нет.

— Сегодня же перетряхнем все село, как пучок соломы, и у кого-нибудь заиграет шкура, словно бубен! — хищным стало лицо Степочки.

— Что верно, то верно, — охотно согласился Терешко. — Так я пошел организовывать нашу братву.

Когда Терешко вышел, Степочка настороженно поглядел на отца:

— Кроме домашней утвари, у нас ничего не пропало?

— Если бы так... — перешел на шепот Магазаник. — Все золото погибло.

— Все?! — даже замер Степочка и недоверчиво поглядел на отца. — И то, что возле барсуков закопали?

— И то... — Магазаник уронил голову на руки, словно в отчаянии, в то же время думая, какой у него пронырливый сын: все-таки выследил один тайник.

— Тато, выходит, вы не рассовали золото по разным тайникам?

— Рассовал было, а потом собрал вместе в хате. Лучше бы и я с ним сгорел. Всю жизнь собирал тебе копеечку.

— Не надо так убиваться. — Степочка верит, а больше не верит отцу, потому что знает, какой тот хитрец и скупердый: всегда тайлся от него с богатством. — А вы хорошо переворошили пепелище?

— Целый день, до самой ночи ковырялся.

— Поковыряюсь и я. А потом, тато, надо снова нацеливаться на золото, ведь при любой власти оно капитал.

— Как же ты думаешь нацеливаться?

— Способы найдутся, пока мы у власти, и вообще.

«Степочка у власти», — с интересом, по иному, взглянул Магазаник на сына, который в это время набивал рот едой и работал челюстями, как жерновами. Что-то новое, нетерпеливое, жадное появилось на его лице, а жидковатая синька глаз стала более

хищной. Да кто не становится хищным из тех, что хочет разжиться золотом?

— А как ты, сыну, в полиции оказался?

— Бежал от дыма, а попал в полымя, — презрительно махнул рукой Степочка, но погода добавил: — И, думаю, правильно сделал, а то самого бы полиция затаскала как бывшего активиста. Когда принимали на новую службу, сказал, сколько сотворил бумаг в тридцать седьмом году.

Магазаник скривился: был у Степочки не ум, а умишко, умишко и остался.

— Вот этого и не надо было говорить: что родилось в темноте, пусть и погибнет в темноте.

— Не бойтесь, тато, надо показать свои заслуги перед новой властью. Немцы такое любят. Ну, так пошли в старостат?

— А что у тебя на шее?

Степочка сразу скривил рот:

— Это у меня память от Бондаренко, уже, слава богу, подсохло. Еще где-нибудь встретимся с ним.

Когда Магазаники вышли на Терешково подворье, к ним бросилась взволнованная Одарка:

— Пан староста, у меня полицай корову забрали. За что такая напасть?

— Вот тебе нá! Почему же они у тебя забрали корову? — Семен делает вид, что ничего не знает.

— За невыполненные поставки.

Магазаник беспомощно развел руками:

— Тогда ничем помочь не могу.

— Но еще ни у кого не брали.

— С кого-то надо начинать, хотя бы в назидание, ведь немецкая власть дело серьезное.

— Так я выполню свое. Заберите подтелка.

— Об этом надо было раньше думать, — и Магазаник выходит на улицу, отмахиваясь рукой от женщины.

Степочка, остановившись, придерживает вдову возле калитки, воровато оглядывается, подмигивает и поучающе говорит:

— Хотя перед богом рыдай, но и он знает, что слезы — вода. Сама виновата, получила за свою гордость. Теперь главное: сгибайся, тогда не сломишься, и вообще. А чтобы облегчить твою долю, сейчас же рассчитайся с податями да еще отцу какую-нибудь взятку принеси. Вот тогда и будешь пить молочко.

Он спокойно кладет пятерню на блузку женщины, та бьет его по руке, шипит: «Жеребец». Но полицай, не сердясь, гогочет, греховно ощупывает женщину похотливым взглядом.

— Чего, бестолковый, вытаращился? — приходит в ярость Одарка, вспыхивает ее острый цыганский взгляд. — На какую-нибудь уличную тарашу буркалы!

— Не будь, Одарко, такой привередливой, в войну и на женскую красоту упала цена. А ты, если подумать, не нагулялась в девках, и вообще... Бросай свою мороку да прижмись к моему боку.

— Паскуда! Каков отец, таков и сын, из черта черт и вылупится.

И вдруг на жидкую синьку Степочкиных зенок напозла сизость злости.

— Замолчи, горластая!

Он отступил, сорвал с плеча винтовку. Одарка вскрикнула, отскочила к воротам. Прогремел выстрел. На придорожной вербе застрекотала сорока и, теряя перья, начала падать на землю.

— Вот, запомни: первый раз бью по стрекотливой, а второй — по горластой! — угрюмо поглядел на женщину, повернулся, хлопнул калиткой и подался догонять отца, который видел и заигрывания, и гнев сына.

«Степочка у власти...»

XXIV

Если сам Гитлер обозвал всемогущего Германа Геринга свиньей, то почему жандармский обер-ефрейтор Ганс Шпекман должен церемониться с туземцами-полициями, которые так и норовят вместо службы что-то стащить или надуться самогона? Потому полиция только и слышит от него «швайне» и еще раз «швайне», а иногда и исковерканный мат, который у них вызывает не страх, а добродушный хохот. За постоянное «швайне» полиция прозвали Шпекмана Кабанусом, в чем, может, и был какой-то смысл, так как, лютуя, обер-ефрейтор истекал слюной, как вышеозначенный вид парнокопытных.

Неведомо почему обер-ефрейтор во вверенном ему селе и до сих пор держит полицейскую стражу под куполом колокольни. Чего он боится, если немцы, как заверяет радио, уже подошли к Москве? Полиция на колокольне тоскливо до чертиков: там не с кем перемолвиться словом, негде размять ноги, нельзя и в дурака сыграть, и чарку выпить, чтобы не схватить от обер-ефрейтора резиновой дубинки. Единственное развлечение — семечки. Потому на окружающих огородах и откручены головы чуть ли не у всех подсолнухов. Если же какая-нибудь хозяйка поднимает шум, ее сразу успокаивают Терешковым словом:

— Нечего жалеть подсолнухов, лучше пожалей глупую голову, ибо она у тебя одна.

Хозяйка что-то проворчит — и скорей в хату.

Вот и сейчас торчат двое служак на галерее колокольни и в руках держат не винтовки, а головы подсолнухов. По улице проходит молодича, и полиция толкает локтем под бок:

— Посмотри, Калистрат, какие ножки!

— Это, Мусий, только нам и остается, что смотреть на чужие ножки, — вздыхает гусаковатый Калистрат.

— Отчего же так мало?

— А разве ж теперь хоть одна девушка захочет постоять с нами?

— Пожалуй, нет, — соглашается Калистрат. — Были мы когда-то для них парубками, а стали голово-резами. И что имеем за это? Удары дубинкой и «швайне» от обер-ефрейтора. И зачем мы пошли в

полиция своего хлеба искать? О, кажется, несут черти овера!

Полиция мгновенно бросают прямо на землю головы подсолнухов, хватаются за оружие и становятся с ним возле окна, приглядываясь к улице, по которой, поблескивая полумесяцем бляхи, на трехколесном мотоцикле мчит с переводчиком обер-ефрейтор. Вот он поворачивает свою таратайку к погосту, останавливает ее у дверей колокольни и по пересошим ступенькам топает к полиция, за ним осторожно плетется желторотый, с петушиной шеей переводчик Ксянда, который где-то научился болтать по-немецки и так густо одеколонит свои прилизанные волосы, что даже полиция чумают от этого.

— Гутен таг! — переводит дух обер-ефрейтор, взойдя на верхнюю ступеньку, он поправляет свою бляху, с которой напрасно пытается взлететь вдаленный в нее орел.

— Вам обер-ефрейтор говорит «добрый день», — черт знает для чего переводит Ксянда и широко расставляет палки ног, чтобы быть похожим на своего повелителя.

Полиция по-ефрейторски, винтовками, приветствуют насупленное начальство, и оно остается довольным, что-то говорит Ксянде, а тот сразу же по-воробыному чирикает:

— Герр обер-ефрейтор спрашивает — не было ли чего-нибудь заслуживающего внимания на вашем посту?

— Ничего такого, извините, не было на нашем высоком посту, — отвечает Калистрат, — а вот на земле мужики, извините, не хотят идти на работу.

Ксянда переводит, обер-ефрейтор брезгливо морщится, едва перебрасывает слова через отвислую губу:

— Пусть крайсландвирт меньше сидит в своем кабинете да меньше интересуется картинками.

Этих слов Ксянда не переводит полиция, а только лихо поправляет немецкий высокий картуз. Вот если бы еще серебряные позументы к нему, то и Ксянда сошел бы за начальство: вся одежда у него ненашенская, и даже кобуру он носит на впадлом животе, как пан обер-ефрейтор. Обер-ефрейтор подходит к окну, еще шире расставляет упитанные ноги, а к вечно недовольным глазам прикладывает массивный бинокль. К нему приближаются безграничные поля этих скифов, которые должны покориться рейху. А потом всех их надо поставить подряд и одному рубить голову, а другого оставлять живым, иначе из них не выкорчуете большевизма. Что такое большевизм, Ганс Шпекман не очень понимает, но знает, что население большевистской страны надо уничтожить наполовину, даже этих полицияев нужно стрелять через одного, чтобы остальные верно служили.

Второе окно приблизило лес, но обер-ефрейтор недолго смотрел на него, так как недавно едва унес голову из этого проклятого места. Из-за него три дня животом болел, — и невольно коснулся рукой ремня, стягивавшего живот.

А из третьего окна увидел болото, куда еще надо

поехать поохотиться на уток. В прошлый раз он целую коляску настрелял их, пришлось Ксянде пешком идти в крайс. И вдруг обер-ефрейтор забеспокоился, повторяя одно и то же слово:

— Миколка! Миколка! — и передал бинокль Калистрату.

Тот приложил его к глазам, покрутил колесики, удивился:

— Правда, Оксанин Миколка.

— Зачем он там снова ходит? — начинает гневаться обер-ефрейтор.

— Наверное, извините, корову пасет — он же подпасок.

— Корову! Корову! — передразнивает обер-ефрейтор. — Свины вы! Я и на охоте видел его с полной торбой, и теперь с полной. Что там может быть?

— Извините, наверное, харчи, — разводит Калистрат клешнеобразными руками.

— Этих харчей на десять человек хватит. Он, свинья, наверное, партизанам еду носит.

— Ворон лóвите! — ругнул полицаяв и Ксянда.

— Сейчас же к нему! Догоняйте нас на конях! — и обер-ефрейтор так и загромыхал по ступенькам, а за ним никак не мог угнаться тщедушный Ксянда.

Пыльными дорогами они доехали до татарского брода, на пароме переплыли на другую сторону, а потом по лугам да низинам добрались до краешка болота. Дальше ехать было небезопасно. Соскочив на землю, начали внимательно осматривать местность, а Миколка будто сквозь землю провалился. Подъехали на конях и полицай. Они тоже не увидели мальчика.

— Где же его корова?! — набросился на них обер-ефрейтор. — Свины вы, пьяные свины и еще раз свины! Вот здесь будете ждать его хоть неделю. Должен же он выйти из болота!

— Извините, наверное, выйдет, — глубокомысленно изрек Калистрат. — А если попадет в трясину, то не выйдет.

Замаскировав мотоцикл под кустом волчьих ягод, обер-ефрейтор выбрался на более сухое место и приказал полицаям подстелить ему осоки из одинокой копенки, а сообразительный Ксянда догадался даже примоститься на ней: тут он не проворонит мальчика, если только тот появится. И не прозевал: часа через два на болоте появилась фигура Миколки. Мальчик осторожно петлял между кустами ольхи, крушины и зарослями болотной травы. Ксянда довольно хихикнул, так как он, а не полицай, первым увидел мальчика, еще и заметил, что торба теперь была пустая. Куда же он девал харчи? Неужели и вправду на болоте скрываются партизаны? Ксянда еще раз хихикнул, на сухощавом огузке съехал с копын, лег животом на землю и торопливо пополз к своему началству, от которого тоже не раз схватывал «швайне». Он так привык к этому слову, что ему и свинья теперь стала казаться благородным животным.

— Пан обер-ефрейтор, преступник идет прямо-хонько в ваши руки, — ткнул пальцем вперед и вытя-

нул из кобуры пистолет, которым наловчился владеть.

Обер-ефрейтор поднялся, увидел Миколку и упал на землю, схватившись руками за автомат. Потом Ксянда передал приказ жандарма полицаям, и те поползли по траве, чтобы отрезать Миколке путь к отступлению.

А мальчонка идет себе, глядя под ноги, и не догадывается, какая опасность подстерегает его. Вот уже закончилось гиблое место. Миколка усмехнулся, рукавом вытер лоб, снял картузик, и золотистые кудри зашевелились под солнцем. А в это время возле него словно из-под земли выросли забрызганные грязью, измотанные полицай:

— Руки вверх!

Миколка вскрикнул, рванулся назад, в болото, но было поздно — через мгновение он птицей забился в сильных руках полицаяв, а к нему уже шли и обер-ефрейтор, и Ксянда с пистолетом в руке. Крепко держа мальчика за плечи, полицай поставили его перед обер-ефрейтором. Вперед, пряча пистолет в кобуру, вышел Ксянда. У предателя от радости вздрагивали ноздри и странные губы — одна навеки подскочила до самого носа, а вторая, разгневавшись, вывернулась книзу. Он вытаращился на Миколку точнехонько так, как обер-ефрейтор таращился на полицаяв.

— Куда ходил? Говори одну правду! Мы все знаем, — и наступил ботинком Миколке на ногу: надо сразу выжать показания.

Мальчик не по-детски сурово посмотрел на прислужника, не по-детски ответил:

— Чего ж говорить, если вы все знаете? Не наступайте, дядько, на ногу, ведь и ваша не вечная.

— Подлец! — сразу возмутился и покраснел Ксянда. — Как ты, мерзавец, со старшими разговариваешь?! Где был?!

— На болоте.

— А кому еду носил? Партизанам?

— А разве партизаны в болоте сидят? Они в лесу орудуют.

Ксянда перевел слова Миколки обер-ефрейтору. Тот взвился и ударил мальчика по щеке. С уголка рта Миколки потекла кровь.

— Говори, где партизаны?

Миколка презрительно взглянул на своего мучителя.

— Я ничего не знаю.

Обер-ефрейтор еще раз ударил Миколку по лицу, а потом заорал на полицаяв:

— На колокольню, свины!

Таща Миколку за руки, он метнулся к мотоциклу, втолкнул мальчика в коляску, а потом туда забрался Ксянда, намертво обхватив Миколку руками. Обер-ефрейтор тут же погнал мотоцикл к татарскому броду, а за ним на конях помчались полицай.

В приселке Миколку с жандармами и Ксяндой увидела тетка Олена и оцепенела возле плетня.

— Тетушка, скажите маме, что меня поймали на болоте! — крикнул мальчик.

Ксянда ударил его и закрыл рот руками, что то же нестерпимо пахли дешевыми духами...

Над селом зазвонил большой колокол, а по улицам забегали полицаи, созывая людей на сходку. Когда погост заполнили мужчины и женщины, на галерею колокольни, держа за руку окровавленного, в изорванной одежде Миколку, вышли Ксянда и обер-ефрейтор, за ними из дверей выглядывали притихшие Калистрат и Мусий. Жандарм платочком вытер ладонь и, разъяренный, выкрикнул какие-то гневные слова, из которых люди поняли только одно: «швайне».

Ксянда начал переводить, уменьшив при этом количество свиней:

— Паны хлебобобы, сегодня наш обер-ефрейтор поймал на болоте преступника, который имеет связь с партизанами, но не хочет в этом сознаться, как мы его ни допрашивали и на болоте, и вот здесь, на колокольне, возле святых колоколов. Поэтому обращаемся к вам: скажите, где скрываются партизаны. Если не скажете, обер-ефрейтор сам сбросит преступника с колокольни, а уже внизу и костей его никто не соберет. Приговор герра обер-ефрейтора твердый и окончательный.

Толпа вздрогнула, заплакали, заголосили женщины, а жандарм еще что-то гаркнул и взглянул на часы.

— Наш высокоуважаемый обер-ефрейтор сказал, что он ждет ровно десять минут. Люди, не проявляйте легкомыслия, спасайте мальчика, он ведь малый, глупый. Мать его, значит, Оксана Артеменко, тут есть?

В толпе послышался вскрик:

— Я скажу!

Люди расступились, давая дорогу побелевшей, как снег, Оксане.

— Мама!.. — закричал Миколка, бросаясь к поручням галереи, но Ксянда рванул его к себе и обеими руками зажал мальчику рот.

Словно тронутая, бежала и падала на ступеньки колокольни Оксана. День померк в ее глазах, на них наплывали и наплывали тени, она все наталкивалась то на стены колокольни, то на перила. В изнеможении поднялась к колоколам, возвела на них померкшие глаза и увидела тот колокол, который когда-то напоминал ей деда Корния. Нет уже деда, нет Ярослава, уже и ее час пришел.

— Какая красивая женщина! — удивился обер-ефрейтор, даже немного вытянулся, что-то прикинул в уме и снова начал платочком вытирать руки, которые щемило после пыток Миколки.

— За незаконные ее можно законно и в край отправит, — угодливо и цинично улыбнулся жабым ртом Ксянда.

Пошатываясь, Оксана подошла к Миколке, обняла его, крепко прижала к себе, и мальчик ощутил все материнское горе, боль, любовь, отчаяние и словно забыл о себе.

— Не надо, мама, не надо! Молчите, мама, вы же такая хорошая у меня, — уткнулся в ее грудь и заплакал.

— Ой, дитя мое, хоть ты не добивай меня. Пусть эти убьют... Прощай, сыну, — опустила голову на его кудри. — Беги домой, беги к тате, иначе нельзя... — Она толкнула сына к ступенькам, и он застучал по ним вниз. Обер-ефрейтор рванул за Миколкой, но передумал, прогибая доски галереи, подошел к женщине и спросил:

— Я понял, что пани нам скажет, где партизаны?

— Герр обер-ефрейтор спрашивает: не покажешь ли ты место, где скрываются партизаны?

Оксана, не помня себя, поднимает голову, взгляд ее ищет и не находит Миколки.

— Слышишь, что говорит обер-ефрейтор?

— Чего тебе, ублюдочный? — с болью спросила одними губами.

Ксянда вспыхнул, но сдержал себя.

— Спрашивают: не покажешь ли место, где партизаны?

— Должна показать.

— Много их там? — восторженно спросил Ксянда.

— Двое, и те раненые.

— Почему же ты раньше об этом не сказала полиции?

Ксянда перевел обер-ефрейтору, тот быстро затараторил, показал пальцем на проем, из которого начинались ступеньки.

— Веди!

— Веди! — повторил Ксянда.

Оксана вытерла слезы, подошла к ступенькам и, держась за поручни, падая на них, начала спускаться вниз. За ней по пересохшим ступенькам бухал сапожищами обер-ефрейтор, за ним спускался клешненогий Ксянда, а потом помрачневшие полицаи. Старая колокольня вздрагивала от их шагов и потрескивала ветхими бревнами, а из глубинных отсеков ее пахло застарелым воском и зерном, как и тогда, когда был жив Ярослав...

И две ночи, как два крыла, налетели, обвили Оксану: первая ночь встречи, а вторая — прощания... Разве жизнь наша не встречи и прощания?

На челие принесли его в ту страшную ночь, а теперь пришел страшный день, вгоняющий ее в дерево колокольни, а потом — в сухой, исшарканный грунт кладбища. Людские глаза вскинулись на женщину, следили за ней, а ей хотелось упасть на землю, заголосить, зарыдать на весь мир. Да что наши слезы в час прощания?..

Запекшиеся уста сами прошептали: «Деточки мои, дети», а глаза искали Миколку, Стаха, хотя уже не узнавали никого. Только шумом отозвались ей кладбищенские деревья, что вырастают из праха людей...

Дойдя до болота, Оксана оглянулась на приселок, на село и ничего, кроме колокольни, не увидела. Обер-ефрейтор приказал ей идти впереди, сам с автоматом в руках шагал за нею, далее семеня Ксянда, а позади неохотно плелись полицаи, ибо понимали, что настанет час — и их спросят, за кем они охотились.

— Там ведь только раненые. Зачем они вам? — еще раз попыталась вымолить чью-то долю Оксана и в ответ услышала то же самое:

— Веди. Раненые и к раненым приведут.

Топкая земля сначала дурманила голову запахами болотных трав, потом зачавкала, покрываясь то желтой, то черной водой, потом начала расползаться и стонать изнутри. Казалось, что это подавали голоса те, что ищли себе тут могилу. Теперь даже проворный Ксянда притих, отстал от полицейев, с огорчением приглядываясь к забрызганным сапогам и щеголевым, из чужого сукна, штанам. А Оксана шла, пошатываясь от горя, изредка оборачивалась, рукой показывала, где надо обойти опасное место. И это вызывало не только удивление, но и доверие. Если они найдут партизан, то не покарают ни ее, ни ее ребенка.

Вдруг Ксянда вскрикнул, по пояс погрузившись в болото. Полицаи выхватили его и наорали: какого черта отошел от следа!

— Так надо ж было... — тихо пояснил им Ксянда.

— Прислушивайся, дурень, как смертью чавкает болото.

Через какое-то время вышли на более сухое место, с крохотными рахитичными ростками ольхи, и у всех притупилось чувство опасности. Теперь обер-ефрейтор повесил автомат на шею и пошел за Оксаной.

— Еще далеко? — задыхаясь, спросил обер-ефрейтор и надушенным носовым платком начал вытирать пот со лба.

— Еще далеко? — перевел Ксянда, удрученно глядя на свою обувь и одежду.

Оксана молча шла дальше, обходя провисшие прогалинки топей и кое-как залатанные зелеными нитями полыньи смерти, над которыми даже комары не мельтешили.

— Еще далеко? — повторил жандарм, уже ошалевший от дурманящих испарений топей.

— Успеешь, — не оборачиваясь бросила Оксана.

Вот на нее с ярко-зеленой скатерти мха голубыми глазами глянули незабудки. Женщина будто хотела нагнуться к ним, но внезапно отступила в сторону, а обер-ефрейтор шагнул прямо. И вдруг неистовый крик разорвал тишину над болотом. Провалился мох, на котором выросли незабудки, провалились и незабудки, жирно чавкнула черная, как деготь, грязь, и жадно начала засасывать жандарма. Он руками хватался за края своей могилы и с визгом умолял «свиней», чтобы они спасали его. Трухлявый торфяник обваливался под руками, и полицаи не решались подойти к своему начальнику, не подошел и Ксянда. И последним словом обер-ефрейтора было: «Свиньи!» Только теперь, когда над трясинной, поглотившей жандарма, осталась лишь его фуражка, спохватившись, полицаи увидели, как удаляется от них Оксана. Ксянда первым крикнул:

— Стреляйте, стреляйте! — и выхватил из кобуры пистолет.

Полицаи, подняв винтовки, выстрелили вверх, да

не вверх выстрелил Ксянда. Оксана вскрикнула, обернулась к приселку, к селу, к своим бродам, но не их увидела она, а только верхушку колокольни, на которую почему-то падало солнце. Затем и солнце, и день померкли в ее глазах...

XXV

Два дня над лесами кружила «рама», ощупывая их светом ракет. Два дня длился ожесточенный бой партизан с карателями. Два дня не было покоя ни деревьям, ни людям, ни коням. Мучительнее всего умирали кони: на их молчаливые слезы не могли смотреть и бывалые воины, которые не раз глядели смерти в лицо.

За эти дни карателям удалось гаубицами и пушками искалечить немало леса и добраться до линии обороны, которая окружала партизанский лагерь. И тогда внезапно им в спину ударили из «максима» близнецы Гримиши и те засады, которые устроил Сагайдак со стороны заболоченной местности, куда не решился полезть враг. Попав между двух огней, каратели замесались, разбились на группы и, оставляя на поле боя оружие и убитых, бросились на опушку. Не спасли их и танки, которые двинулись было вперед: самодельная мина системы «ДБ» (Данило Бондаренко) порвала первому траки, и очумевшие танкисты, открыв люк, начали из дыма и чада прыгать на землю. Тут они и нашли свою смерть.

В этом бою уцелели только автомашины, которые не сунулись в леса, а стояли в поле по обе стороны дороги. На них живые положили мертвых и, съжившись под дождем, помчались в крайс. Нелегко было, особенно молодым солдатам, смотреть на убитых, лежавших в кузовах. Их подбрасывало на выбоинах, и они, казалось, оживали и разбрызгивали из глазниц слезы дождя.

— Это Германия плачет, — обхватив голову грязными руками, пробормотал молоденький сизоглазый фаненюнкер.

— Замолчи, ты, баба! — И кулак лейтенанта поднял ему голову, да не вышиб растерянности из души фаненюнкера.

— Это Германия плачет, — снова повторил он, и теперь лейтенанту стало жутко от этих слов. А может, и вправду Германия плачет по своим сынам, которые неведомо зачем пришли сюда? И он испуганно оглянулся: не догадался ли кто-нибудь, о чем он подумал?..

А в это время партизаны, простившись с товарищами, что легли в бою, выстроились на поляне, недалеко от землянок. На правом фланге под красным знаменем стоял Михайло Чигирин, за ним вытянулись бойцы с автоматами, ручными пулеметами, винтовками — своими и трофейными; у одних вместо поясов были пулеметные ленты, у других с ремней свисали гроздьи гранат, с которых падали и падали капли дождя. А заключала строй одинокая, девичья фигура Мирославы Сердюк с карабином на плече и

санитарной сумкой за плечами. Губы ее припухли, а ресницы и до сих пор не просохли от слез: сегодня впервые на ее руках умирали раненые, то шептавшие ей «сестричка», то просившие воды. Но какая она сестра, если только и умеет, что забинтовать или смазать йодом рану.

В тишине взволнованно звучит первое слово Сагайдака: «Товарищи!» И замирает строй, особенно те, что недавно пришли из сел и города, где паскудное «пан» и «герр» отравляло душу.

— Спасибо вам, что так мужественно держались в этом бою, где на одного партизана шло десять карателей. Я вернул, мы под прикрытием леса проучим их, но и побаивался, что кто-нибудь из новеньких может растеряться и с перепугу занять у зайца ноги. Все вы, все как один выдержали испытание. Мать Родина, люди, дети и внуки ваши будут гордиться вами. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Слава и вам, верные побратимы!..

Возле командирской землянки устанавливается знамя партизанского отряда, напоминая всем о боях. Отсюда, из глубины леса, отправляются дозоры на опушку, а партизаны разводят костры и вешают на сошки таганы, а вот там тихо-тихо, словно реквием из души самого леса, встрепенулась песня про того партизана, что навеки заснул под дубом.

Сагайдак и Чигирин обошли все заставы, все подразделения и постучали в дверь девичьей землянки. Через какую-то минуту отозвался голос Мирославы:

— Кто там?

— Это мы, доченька, — тихо сказал Чигирин. — Не спишь еще?

Застучал деревянный засов, Мирослава открыла дверь и пригласила к себе поздних гостей. В ее жилье не пахло ни землей, ни табаком, ни сыростью, в нем поселился дух тысячелистника и пижмы.

— Ждешь Данила?

— Жду, Зиновий Васильевич. Как ему там, на железной дороге?

— Будем надеяться на партизанское счастье, — сказал Сагайдак и поморщился.

— Рука? — сочувственно спросила Мирослава.

— Она. Эти дни было не до нее, вот и начала каверничать.

— Дайте хоть перебинтуют.

— Да мы с Михайлом Ивановичем сами поколдуем возле нее.

— Послушай девушку! — хмурится Чигирин и продолжает уже с сожалением: — За боями забылось о ранении.

— Раздевайтесь, — приказала Мирослава.

Сагайдак снял китель, закатал рукава нижней сорочки. Мирослава осторожно размотала бинт, и Чигирин и ее сразу же встревожили подозрительные пятна вокруг раны.

— Как оно? — с надеждой спросил Сагайдак.

— Немедля же надо ехать за хирургом, — испуганно сказала Мирослава. — Немедля!

— Где же его взять, того хирурга? — задумался

Сагайдак, искоса поглядывая на руку: «Вот напасть с тобою».

— Надо проскочить в район, к Попову. Это человек! — поглядел вдаль Чигирин.

— Кто же сможет проскочить сейчас?

— Только близнецы. Им удалства и находчивости не занимать.

— Пусть будет по-твоему, — махнул раненой рукой Сагайдак и снова поморщился...

Вскоре, чертыхаясь, Роман и Василь нацепили на рукава полицейские повязки, вскочили на тачанку, и добрые кони пошли размашистой рысью. За какие-то час-два близнецы домчались до шлагбаума, который преградил дорогу в темный, без единого огонька, город.

— Поднимайте, служивые, свою дубину! — крикнул Роман, размахивая кнутом.

Из будки, подняв фонарь, вышел полицейский, за ним, позевывая, появился и второй.

— Кто там такой нетерпеливый? — поднял выше фонарь.

— Полицейский из Майдана.

— Пароль.

— Зад твой непоротый! — рассердился Роман. — Какой же дурень дает в села городской пароль? Хочешь, чтобы партизаны перехватили его? Пропускай без проволок!

Это объяснение вполне удовлетворило полицейского, он развязал веревку на конце шлагбаума, поднял его и, выворачивая челюсти от зевоты, поинтересовался:

— Куда же вас черти несут?

— Именно черти, — согласился Василь. — Нужен доктор, потому что такое дело... — И погнал коней к первому перекрестку, от которого вела дорога к больнице и к одноэтажному дому для врачей.

Василь и Роман знали, где живет знаменитый на всю округу хирург Попов, который лет двадцать уже работал в их районе. И кто и когда бы ни стучал в его дверь или окно, он сразу спешил на помощь.

Подъехав к оштукатуренному дому, Василь вожжами остановил коней, соскочил на землю, подошел к знакомому боковому окну и на миг заколебался: жаль было сна, а может, и жизни доктора. Но что делать? На его стук долго никто не отвечал. Это не похоже было на чуткого врача, который сразу же подымался с кровати. Да вот наконец в окне мелькнула тень, испуганный женский голос спросил:

— Кто там?

— К Александру Ивановичу приехали. Просим помочь больному.

— Александра Ивановича нет, — сквозь слезы ответила женщина.

— Где же он?

— Позавчера гестапо арестовало, — и залилась слезами...

На рассвете близнецы приехали в отряд и, решив не будить Сагайдака, прождали возле командирской землянки, пока из нее не вышел Чигирин. Он полицейским хлопцев понял, что их постигла неудача.

— Не захотел ехать к нам хирург?

— Хуже, Михайло Иванович: его арестовали.

К разговору присоединился Сагайдак. Он молча выслушал Романа, вздохнул, о чем-то подумал и сказал:

— Придется вам, хлопцы, вечером ехать в Балин.

— В Балин! — даже замутило близнецов — вспомнили историю с паскудным Кундриком. Очень-то им нужен этот Балин!

А Сагайдак спокойно продолжал:

— Там, за мостиком, на краю села, возле самого луга, одиноко стоит хата Ткачуков, в ней живут мать и дочь, Ольга. Она медсестра. Скажите, что я прошу ее приехать в отряд. К ним лучше подъехать с луга, через ворота, что выходят на выгон.

Близнецы только сокрушенно переглянулись и, нахмурившись, пошли к лесному озерку.

В сумерках они неохотно выехали на розыски какой-то загадочной медсестры. Им снова придется проезжать через мостик, за которым стоит та верба, где они покарали гнусного предателя.

— Погоняй, брат, погоняй, ничего не поделаешь, — подбадривал Василь Романа, который всегда любил ездить так, чтобы вожжи горели в руках.

— Нужен нам этот Балин, как зайцу бубей, — буркнул Роман и тронул коней.

По обе стороны дороги пролетали деревья, которые так хорошо просеивали осенними решетками крон серебро месяца. А вот и поля закачались, и к притихшей дороге подошла вся в чистом золоте дикая груша. А может, это сама осень остановилась в своих невеселых мыслях? Вот бы приехать домой, к отцу-матери, поставить лошадей в конюшню — и мигом на вечернюю улицу. Неужели это будет когда-нибудь? Неужели и к ним, «старым парубкам», прильнет девичье доверие и звездами засияют чьи-то очи? Глупые же они глупые, что до этого времени не poznали тех чар, которые дарит только молодость... Нашел время думать о таком! Василь завозился возле пулемета и не заметил, как они подъехали к селу. Правда, близнецы не ожидали встречи с полицией: несколько дней тому назад их отряд разгромил группу полицаев, в которую входили и полицаи Балина. Во время этой операции шальная пуля и ранила Сагайдака. Видать, хуже стало человеку.

Под колесами прогремел старый деревянный мостик, под ним отдалось эхо и покатилося в сторону, а глаза и душу начали тревожить старые вербы: среди них была и та, что на всю жизнь запомнилась им.

Увидев одинокую хату, Роман повернул на луговую дорогу и по ней подъехал к подгнившим воротам, выходившим на выгон, раскрыл их, и тачанка легко подкатила к стойке сена, игравшему с луной и ветерком. Тут близнецы настороженно осмотрелись и плечом к плечу подошли к окну. На их стук не скоро отозвался перепуганный женский голос:

— Ой, кто это?

— От Зиновия Сагайдака.

— Правда, от Сагайдака?

— Ну конечно.

Вот заскрипели двери, стрельнула деревянная задвижка на дверях сеней, и на пороге встала немодная женщина, из-под ее платка выбивался вечный снег. Она пристально посмотрела на близнецов, на тачанку и, будто давно знакомым, сказала:

— Заходите в хату, а я у коней ностою.

Близнецы на ощупь нашли щеколду, открыли двери и, пораженные, остановились у косяка: к ним то ли из сна, то ли из сказки, оберегая подсвеченной рукой шаткий лепесток огонька, шла не девушка, а сама краса. Как она глянула на них, как повела испуганными ресницами, как заиграли ямочки на смуглых щеках! А они, олухи, еще не хотели ехать сюда! Близнецы переглянулись и, растеряв все слова, снова вперили глаза в молодую хозяйку, которая босиком идет к ним и идти опасается.

— Здравствуйте вам, — вполголоса поздоровалась она, вскинула на хлопцев доверчивые глаза, остановилась, оберегая уже не лепесток огня, а разрез сорочки. — Так вы от Зиновия Васильевича? Ему что-то нужно?

— Наш командир просит, чтобы вы приехали в леса и осмотрели его рану, — насилу выдавил Роман.

— Зиновий Васильевич ранен?! — вскрикнула Ольга. — И тяжело?

— Наверное.

— А куда?

— В руку.

— Так я сейчас оденусь.

Ольга поставила каганчик на шесток, а сама, застывшись, бросилась в каморку, там оделась-обулась и быстро вернулась в хату. А братья следили за каждым ее движением и изредка переглядывались между собой да покачивали чубатыми головами. Наконец Ольга вынула из сундука две сумки с медикаментами и сказала:

— Теперь можно ехать. — Взглядом прощания она окинула свое жилище и первой вышла из него.

— Судьба! — вздохнул Роман.

— Судьба! — согласился Василь.

Возле тачанки мать простилась с дочкой, вскрикнула и попросила близнецов:

— Вы ж смотрите, дети, за ней, ведь она у меня одна-единственная, — и перекрестила их, и коней, и тачанку, и даже пулемет.

Близнецы наклонились к матери, один поцеловал ее в одну щеку, другой в другую, вскочили на тачанку, на которой уже сидела поникшая Ольга.

— Прощайте, мама!

Тачанка потянула за собой материнский вопль и начала наматывать на колеса раздавленную росу, увлажненную пыль и лунную грусть.

За всю дорогу лишь несколькими словами перемолвились близнецы с Ольгой, веря и не веря, что они везут ее в леса. А слово «судьба» звучало и звучало в душе и Романа, и Василя. Это ж надо вот так неожиданно!

На рассвете утомленные кони подъехали к командирской землянке, возле которой, сгорбившись, сидел

старый Чигирин. Недоброе предчувствие не давало ему спать, а в глазах стояли те зловещие пятна, которые видел он на руке Сагайдака. Поддерживая Ольгу, Чигирин осторожно спустился с нею в землянку, где возле стола уже сидел осунувшийся Сагайдак. Увидев Ольгу, он поднялся, радостно улыбнулся.

— Спасибо, доченька, что не побоялась ехать сюда.

— Я же сама набивалась к вам,— с тревогой взглянула она на командира. — Как ваша рука?

— Да не очень, чтобы очень.

Ольга сдержала вздох и стала раскладывать на столе свои медицинские принадлежности. Затем тщательно вымыла руки, протерла хлораминном, спиртом и осторожно стала разматывать бинты на руке Сагайдака. Вот они упали на стол, оголив рану и зловещие красно-синие пятна. Глянул на них Сагайдак и поднял глаза на Ольгу — та, кусая губы, ответила на немой вопрос:

— Гангрена. Надо немедленно ампутировать руку. Немедленно! — И к Чигирину: — Как же привезти сюда хирурга?

— Нет у нас, доченька, хирурга, и не знаем, где взять. Придется тебе самой стать хирургом.

— У меня же нет никакого инструмента,— застонала Ольга.

И тогда Сагайдак положил здоровую руку на плечо Ольги:

— Крепись и, если нет другого спасения, режь руку.

— Чем же, Зиновий Васильевич? — задрожала, заплакала Ольга.

Сагайдак подумал, внимательно посмотрел на нее.

— Если сможешь, орудуй обыкновенной ножовкой. Протри ее чем надо и пили. А мне, чтобы легче было, Михайло Иванович отпустит из своих запасов стакан горилки. Только плакать не надо — ты уже партизанка. Михайло Иванович, принесите ножовку.

Чигирин, согнувшись, вышел из землянки, и караульный с удивлением заметил, что он почему-то вытирает рукой глаза...

Прошло несколько дней. Роман ночью охранял командирскую землянку, из которой теперь почти не выходила Ольга. После дежурства он пошел не в свое лесное жилье, а стал бродить по дубравам. Неподалеку от озера его разыскал Василь и удивился, и встревожился: таким сникшим и осунувшимся он никогда не видел брата.

— Что с тобой, Роман? Может, захворал?

— Эх, лучше не спрашивай.

— Может, что-то с Ольгой?

— С Ольгой.

— Говори, брат.

— Что ж говорить? — чуть не застонал Роман.

— Все.

— Сегодня она призналась Сагайдаку, что любит его. Это ж надо, чтобы я такое услышал...

После долгого молчания Василь глухо спросил:

— А как на это командир?

— Он назвал ее маленькой и сказал, что это у

нее не любовь, а великодушная женская жалость, что не меньше стоит, чем любовь.

— Нелегкие он весы нашел для нас и для себя.

— А ей, думаешь, легче?.. Вот и разберись теперь, что такое судьба.

— Не разберешься, брат.

— И все равно мы ее будем любить...

Не отставая друг от друга, они уже молча брели по опавшим листьям и примятым травам. На них обрушивались и обрушивались лесные шумы и стоны деревьев, обрушивалось золото солнца и осени. Да светило братьям не золото осени, а просвечивало из темени то трепетное, прикрытое женской рукой зернышко огня, с которым босиком шла к ним Ольга. И откуда ты взялась, на нашу беду? И все равно мы будем любить тебя... Да нужна ли ей наша любовь?

А зернышко огонька колеблется и колеблется и уже, кажется, поднимается из лесной земли, словно цветок папоротника. И что этот цветок папоротника и все сокровища под ним против испуганных ресниц, которые оберегают женскую тайну, женскую привлекательность? И откуда ты взялась, на нашу беду?..

Неожиданно близнецы натолкнулись на Данила Бондаренко, который с поникшей головой сидел на вырванном буреломом дереве. Что это с ним? Не случилось ли чего-нибудь с Мирославой?

Данило, увидев близнецов, медленно, словно после болезни, поднялся с дерева, молча кивнул братьям примятым чубом, в котором дрожал сухой листок.

— Что с вами, Данило Максимович?

— Не спрашивайте, хлопцы, — поморщился и с отвращением отпихнул от себя носком черную полицейскую шинель, которая почему-то лежала у его ног.

— Как же не спрашивать, когда печаль съедает вас?

— Не ест — пожирает. Такой еще не было. Вы знаете, была у меня злая година, а сейчас еще горше... — И умолк.

— Рассказывайте! — забеспокоились братья и стали с двух сторон возле Данила.

— О чем же рассказывать?! — вдруг на кого-то обозлился человек и снова сапогом пнул полицейскую одежду. — Ведь я должен напугать на себя чертову шкуру и стать полицаем. Весело?!

— Не очень, — переглянулись братья. — За что же вам такое наказание?

— Спросите у Сагайдака. Он заварил эту кашу. Лежит, со смертью борется, а всякую всячину выдумывает.

— Если сказал Сагайдак, то, выходит, так надо, — потупились братья.

— А мне легче от этого «надо»? Я лучше бы в самое пекло пошел драться с чертями, лишь бы только не надевать чертовской шкуры. Как на меня в ней посмотрят и что подумают люди?

— Да хорошего не подумают, — согласился Роман, перед глазами которого и до сих пор не гасло зернышко огня. — И все равно хорошо, что посылают вас, а не нас,

— Вот так так! — даже вздрогнул Данило и уже воедино добавил: — Благодарю за искренность.

— Да вы не так нас поняли, — заволновался Василь. — Мы бы тоже пошли, если бы нас послали, но от этого было бы меньше толку: увидели бы какого-нибудь фашистского чина и сразу бы вогнали в него порцию свинца. А вы человек с выдержкой, вы скорее съедите этот свинец, чем прежде времени выпустите его. Сагайдак — голова.

— Спасибо и за это, — не прояснилось лицо Данила. — Вы ж... невыдержанные, когда буду возвращаться в леса, смотрите не изрешетите эту чертову шкуру, которую мне сейчас надо натягивать на плечи. Пособляйте, хлопцы, а то сам не смогу.

— Очень нам нужны эти хлопоты, — будто недовольно забубнил Роман. — Давайте сожжем чертову шкуру.

— Как сожжем? — удивился Данило.

— Обыкновенно, — прячет глаза от него Роман. — Я разведу костер, Василь бросит в него это тряпье, а вы будете зрителем.

— Что же потом зрителю скажет Сагайдак?

— А это уже его дело. Мы сожжем, а вы отчитаетесь.

— Болтун! — махнул рукой Данило и наконец улыбнулся и снова нахмурился: — Все равно пойду сейчас к нему.

— Если не жалеете ног и гонора, то идите, — деланно вздохнул Роман. — Но уже ничто не поможет вам. Как мы только ни просили не посылать Яринку в ту задрипанную корчму, все равно ничего, кроме стыда, не вышло.

— Чему быть, того не миновать, а худшего не прибавится, — и Данило, махнув рукой, пошел к землянке Сагайдака.

— А шинель? — крикнули близнецы.

Данило обернулся, с ненавистью глянул на черный, с раскинутыми рукавами ком.

— Пусть лежит, окаянная.

Возле землянки Сагайдака его радостно встретил Петро Саламаха, обхватил ручищами.

— Чего такой велевый? — буркнул Данило.

— Потому что привез полную подводку мин, — Саламаха глазами показал на крытую лубом повозку, где из-под сена выглядывали противотанковые мины. — Когда вез по бездорожью, душа дрожала, как заячий хвост, ибо, не зная, думалось: стоит одной из этих жестянок проснуться — и разнесет она Петра на кусочки. А ведь у меня женушка словно солнышко. Я ее дома на руках ношу.

— Такими ручищами и повредить можно.

Вот не думал такое услышать от вас. А вы меня персонально уважать должны!

— Это ж по какому случаю даже персонально?

— Потому как я скоро буду вас как пана старшего полция возить на мотоцикле!

— Вот как! Когда же это «скоро» будет?

— Как только разбудут по мне полицейскую шинель, пока на мои плечи ни одна не налазит.

— Это все выдумки Сагайдака?

— А чьи же! Вот голова у человека! Так что, Данило Максимович, погуляем по тылам! Да как погуляем! — радостно улыбнулся Саламаха.

После этого у Данила сразу отпала охота идти к Сагайдаку, однако в сердцах он кольнул Саламаху:

— Погулять-то мы погуляем, а как же будет с твоей женушкой?

— Ну что ж, подождет немного. А может, когда-нибудь ночью и приедем к ней. Вот будет и пisku, и визгу, — и засмеялся.

XXVI

С железной дороги Михайло Чигирин возвратился не скоро, так как своего поезда партизаны дождались только на рассвете, когда туман из невидимых кувшинов затопил молоко и долину, и лес. Это одно. А другое — хотелось выхватить из горящих обломков железа и дерева какие-то трофеи, а главное — оружие. Но с оружием не повезло — со станции, рассекая прожекторами туман, против них шел бронепоезд, и уже под его огнем Чигирин наскочил на ящички с душистым, как мед, табаком. Ох, и обрадовались хлопцы, что разжились такой роскошью, а не каким-то там эрзацем, и сразу же, под обстрелом шрапнели, закурили длиннющие сигарки.

В лагере Сагайдак поблагодарил всех подрывников, а Григорий Чигирин расцеловал отца, но потом все же не выдержал характера, тряхнул кучерявым снопом гороха, что буйно разросся на его голове, прищурил глаз и съязвил:

— И так уж вам, тато, не терпелось в ваши лета на железную дорогу топтать?

— Я не топал, а ехал на возу, потому что жаль было своих сапог. И не делай меня таким старым. После войны сделаешь. Это тогда я буду отлеживать бока на печке и командовать мамой, чтобы она проворней из печки подавала на стол. Как тебе правится такое благоденствие?

Григорий засмеялся, снова тряхнул всеми стручками своего гороха:

— Да уж вы как раз из тех, кто улежит на печке! Сразу броситесь в огонь — в председатели.

— Если доживу, то пойду, — согласился старик, — кто же должен землю поднимать, как не мы? — И обернулся к той прикатной стороне, где лежало его село. Отсеялось ли оно старыми руками? Да какой теперь сев? На левом плече мешок с зерном, бери зерно в правую руку — и сейся, родись, жито-пшеница, как сто лет тому. Такой сев из сентября перевалит на октябрь, а поздний ничего не родит, только зря хлеб изводит.

Григорий, верно, понял, что колобродит в голове отца, пригасил свои насмешки.

— Вы, тато, сейчас отдыхайте да сил набирайтесь. Я тоже скоро пойду в землянку, а то вечером у меня работа, — и поклонился, то ли в шутку, то ли всерьез.

Старший Чигирин ласково посмотрел на сына.

— Не могу я днем заснуть, не научился за свой век. А вечером должен навестить маму.

— Снова чего-нибудь цыганить? — И Григорий показал в улыбке все свои зубы и щербинку.

— Без этого не обойдешься, интендантов у нас нет.

Легкая грусть легла на загорелое лицо Григория. Он оглянулся вокруг и тихо сказал:

— Вы поцелуйте маму. Скажите, что мы ее очень любим. И пусть не горюет без нас.

— Так она и послушает тебя, — хмыкнул Чигирин. — Еще мало ты знаешь нашу мать. — И пошел в леса, в которых уже играли осенние шумы. А больше всего нравилось им разгуливать в осиннике, где каждый лист теперь чеканился, как золотой дукат.

Под стволами осин то тут то там красовались бархатные, подернутые свежей влагой шапки подосиновиков, а по пням венками высыпали первые опята; они, как детвора, были густо усыпаны мелкими веснушками. Значит, завтра можно сварить хлопцам суп с опятами. Не забыть бы взять перцу у Марины. Как она там? — вздохнул Михайло.

Пройдя осинник, Чигирин, изумленный, остановился возле кудрявых дубков, между которыми ровно горели свечки берез: он увидел с десятков подснежников, которые наклонили к земле задумчивые головки. Из-под их верхней одежды проглядывали нижние, с зеленой подбивкой, рубашечки. Что-то трепетно-беззащитное было в этом весеннем цветке, который неведомо почему расцвел осенью.

«К счастью», — говорят о таком позднем цветении люди. Да разве ж можно даже подумать о счастье в эту осень и зиму?

Эти осенние подснежники перенесли Чигирина к тем далеким весенним, когда он впервые встретился с Мариной. И защемило сердце у него, как в молодости щемит. Вот он нынче и принесет их своей жене.

Небо сегодня целый день терпеливо держало в своих торбах отяжелевшие тучи и только под самый вечер лениво начало рассеивать из них мелкий дождь. Да это даже и к лучшему: меньше будет разной погани слоняться по селу.

Снова лощинками, левадками да огородами пробирается Михайло Чигирин к своей хате, к своей Марине, которой несет небольшой букетик осенних подснежников. Как, наверное, удивится она, ведь мало кому приходится в сентябре видеть этих первенцев весны.

Вот уже и конопля их кадит терпким настоем, вот и изгородь, на которой от дождя раскисла привянувшая живица, вот и столб с надетыми на него кринками — они словно радуются, что в хате нет никого чужого.

Чигирин осторожно подходит к окну боковой стены, рукой успокаивает колотящееся сердце, прикасается к подснежникам, а потом той же рукой стучит в окно. Как долго тянется минута ожидания! Пора бы уже услышать шорох Мариных ног, увидеть платок на ее и теперь еще черных волосах.

Да не слышно шагов в хате, нет и платка в окне. Верно, намаялась за день, крепко уснула. Он снова стучит в окно. И снова молчит хата, а в сердце змеёй вползает недоброе предчувствие. И на третий зов жилище не ответило.

Не зная, что и думать, Чигирин пошел вдоль завалинки к дверям, осторожно коснулся щеколды — дверь сразу открылась. Он сначала испугался, а потом обрадовался: значит, Марина дома. Но почему она не заперлась на ночь?

Мертвая тишина стоит в хате.

— Марина, Марина! — зовет он, потом подходит к постели жены, на которой чуть ли не до потолка подинаются подушки, тут же лежит темный платок.

В отчаянии Чигирин бросается в другую половину хаты, но и там никого нет, только старые кадушки тихим гулом отзываются на его голос.

«Что же случилось?!»

Страх охватил Чигирина, но тут же блеснула крохотная надежда: не ушла ли Марина ночевать к матери? Может, захворала старуха, так кому же присмотреть за нею?

Заглянув еще в сарай, Чигирин снова огородами пробирается к тещиной хате, которая когда-то была похожа на веселое ласточкино гнездо. Здесь, радуясь, жили приветливые, добрые люди, и добрыми, красивыми и благожелательными были их дети, любящие труд и песню.

Чигирин долго прислушивается и присматривается, потом подходит к тому окну, возле которого когда-то стояла девичья кровать Марины, и трижды стучит в окно. Тут он сразу услышал чьи-то шаги, потом, приподняв одеяло, к окну приникла старая Докия, Чигирин удивился: почему это из хаты пробивается свет? Что они так поздно делают? Мать как-то безнадежно кивнула ему головой и пошла открывать двери. На пороге он обнял старуху и шепотом спросил:

— Мама, Марина у вас?

— Ой, у меня, сыну, — зашлась она в рыданиях. — У меня и уже не у меня.

— Что с нею?! — От ужаса холодом сжало его сердце.

Докия на это ничего не ответила, а пропустила его в хату, где тусклый свет тревожно сходил с тьмой, в которой виднелись несколько женщин со скорбными лицами.

И тут Михайло увидел свою Марину. Она лежала в свежей темной одежде на двух рядом поставленных лавках, а у ее изголовья в скрещенных руках горели восковые свечи.

Какая-то невидимая сила, темнота ударили Чигирина в грудь раз и другой. Он пошатнулся, застал, впервые в жизни у него подкосились ноги, потому и не поднял рук к глазам, а опустил их к коленям. Прихрамывая, пошатываясь, он с трудом подошел к скамьям.

Вечный покой застыл на смуглом лице его жены, смерть выровняла ее неровные брови, под которыми залегла печаль. И вдруг в волосах жены он увидел

седина, которой не было еще несколько дней тому назад. Выходит, не всю ее он забрал себе.

За окнами шелестел дождь, и, как дождь, падали слезы и слова матери:

— Приехали сегодня каратели из крайса. Ворвались в хату, схватили Марину и начали о тебе допрашивать. А она и не вздрогнула, и не заплакала; только одно им сказала: «Вы, изверги, такие мне ненавистные, что ничего не услышите от меня». Тогда фашист с бляхой на груди и застрелил ее из автомата. А поседела она уже мертвой, на моих руках...

Кусая губы, чтобы не заплакать, Чигирин поцеловал жену, поцеловал мать, припал головой к столу и, сдерживая стон, прижал руку к сердцу. Тут пальцы коснулись чего-то нежного, беззащитного. Это были осенние подснежники. Он вынул их из кармана, наклонился над Мариной, а с них на лицо ее слезой упала капля дождя или росы.

XXVII

Раньше скотину гнали пастухи, а теперь полиция. Одни из них люто переругивались с женщинами, а другие молча проклинали свою судьбу, что сделала их погонщиками зла.

— Куда же вы, оканные, тянете ее? Погубить хотите моих малых деток? — припадала к своей кормилице молодая чернобровая женщина. В ее глазах стояли слезы, в глазах коровенки поблескивала влажная непостижимость.

— Отойди, отойди, плаксивая, а то размозжу тебе макитру! Как-нибудь обойдутся твои некрещенные без молока, — замахивался на женщину прикладом спившийся Терешко. И, нагоняя страху, вертел полтинниками буркал.

— Чтоб хоть один из вас еще до вечера отошел! Пан староста, вступитесь хоть вы! Прекратите это незаконное!

— Вон лучше жандармам скажи! — Магазанник поднял голову на неподвижных, с бляхами на груди, жандармов, которые присматривались к стараниям полиция, потом, чтобы не слышать причитаний, переглянувшись с Терешко, пошел к сельской управе, а оттуда задворками выскользнул на другую улицу. Но и тут его догнал женский крик и плач. Да разве они теперь удивят кого-нибудь?

Проходя мимо виселицы, он брезгливо взглянул на нее и, пораженный, остановился: тут, наклонив голову, сидел его старый хромой ворон. Чего он прилетел из леса? Или виселица напомнила ему старое, или почуял чью-то смерть? Ворон, очевидно, узнал Магазанника, проржавленно каркнул и переставил хромые ноги.

Суеверный страх вцепился в пана старосту, он выхватил из кармана темный, как галка, пистолет и выстрелил в птицу. Та снова, но уже испуганно, каркнула, подняла крылья, черным шматком платка взлетела в небо и растаяла в выси. Кому ты, вещун, понес недолю? Казалось бы, все это глупость, не стоя-

щая никакого внимания, да еще для человека, который знает и вес жизни, и не в одну книгу заглядывал. Но суеверия еще держатся, чтобы неожиданно взбаламутить нутро или мозг.

В школе, куда теперь перебрались жить Магазанники, возле парты сидел Степочка и чистил разобраный затвор. И руки, и лицо Степочки лоснились от жира.

— Куда-то собираешься?

— В крайс, вызывает мой начальник.

— Не знаешь зачем?

— Слышал краем уха, что хотят перебросить на железнодорожную станцию, поближе к бангофжандармерии.

— Эта бангофжандармерия и станция очень нужны тебе? И тут все есть для пропитания.

— Там, батьку, шире размах: и склады разные, и люди разные. Там, поговаривают, за один день может приплыть в руки столько, что тут и за год не приплывет, а какой толк от моей зарплаты — от моих теперешних девятисот оккупационных марок?

— Только остерегайся жадности. И упаси боже красть: у немцев за это сразу расстрел.

— Красть я не пойду, а культурненько брать можно, на станции полиция словно пампушки в масле катаются. — Степочка тряхнул патлами, засмеялся. Смех у него теперь стал каким-то деревянным и неожиданно обрывался. — А я, тато, недавно видел на виселице нашего ворона. Верно, и ему скучно стало без нас.

— Несешь черт знает что, — буркнул Магазанник, а внутри снова болезненно отозвалось суеверие. — Ты когда же пойдешь в крайс?

— Завтра.

— Тогда я загляну на хутор. Может, какого-нибудь карлика поймаю на вечерю.

— Толком бы их наглушить и засолить в бочке на зиму.

— Подождем еще с толком. — Он подошел к сыну, положил ему руку на плечо.

— Чего это вы? — у Степочки удивленно затрепетали желтые ресницы.

— Не хочется, чтобы ты ехал на ту станцию. Вот проснусь ночью, услышу, что ты дышишь за стеной, — и уже как-то легче становится на душе.

— Видали! — не поверил Степочка. — Что-то такого никогда не замечал за вами.

— Года, Степочка, года.

— И, наверное, страх, — подумав, сказала чачо и успокоило отца: — Но бояться вам нечего. Москву уже немцы взяли, Ленинград тоже. Сам Гитлер сказал, что России... слышите — не Москвы, не Ленинграда, — России уже больше не существует.

Магазанник оглянулся, будто их кто-то мог подслушать.

— А это не брехня, Степочка?

— Разве ж вы газет не читаете?

— Никто так не распускает брехни, как газеты. — Семен вынул из внутреннего кармана вчетверо сложенную листовку, протянул сыну.

Степочка молча прочитал ее, разорвал на мелкие кусочки, бросил в печку.

— Вы, тато, осторожнее с такими документами. Никто ее не видел у вас?

— Никто.

— Теперь сам себя остерегайся и сам себе не верь. Вон какой ни придурковатый Терешко, а и тот следит за вами.

Эти слова ледяной волной обдали Магазанника.

— Сам догадался следить?

— Да нет, Безбородько приказал. А вы же, кажется, еще в гражданскую дружили с ним. Вот вам «пан» и «благодетель», — передразнил председателя райуправы.

— Когда ты разузнал об этом?

— Вчера вечером. Сроду не поверил бы в такое, но это сказала Терешкина сестра.

— Она тебе нравится?

На губах Степочки обозначилась плутоватая улыбка.

— Я ей нравлюсь. Пристает — спасу нет.

— Дела! И чем я ему не угодил? — как в тучу входит Магазанник. — Что ж, махну на хутор, хоть там отдохну от всякой суетни.

— Вы бы уже лес завозили туда, — посоветовал Степочка.

— Пожалуй, каменный дом будем строить. А тебя еще раз предупреждаю: не зарься на бешеные деньги, — словом, и бога бойся, и черта остерегайся.

Сегодня солнце выпорило у осени еще один погожий день, и он не знал, куда ему унести серебряные паутинки «бабьего лета». Когда-то именно в такой день Магазанник в лесах встретился с Оксаной, которая собирала грибы, и пригласил ее к себе. Да мало было радости от той встречи. Обошла тебя краса, и все доброе обошло. А могло бы и по-иному быть!

«Не ты носишь корни, корни носят тебя», — хотел утешить себя Священным писанием, да ничего из этого не вышло. Могли бы еще утешить золотые тайники, но не будешь их теперь выкапывать. Может, один показать Степочке? Да успеется. Еще неизвестно, что ждет его на тех станциях, где соблазн и смерть на одних весах лежат.

Вот уже и ставочек поднял стрелы камыша, вот, цепляясь за корни ивняка, зазвенел ручей. Как в детстве, протекало время, очищались воды и наполнялся ставок. А как здесь когда-то по весне, красиво распутив крылья, падали и плыли дикие гуси! Теперь уже не садятся, стороной летят — боятся, да и все теперь как-то идет стороной...

Но кто это сидит в челне?

И почему-то холод пробежал по спине, и почему-то вспомнился ворон на виселице. Рванув рукой карман, где лежал пистолет, он пошел к ставку. Незнакомый медленно поднимался и соскочил с челна на берег. Магазанник, с удивлением остановился — перед ним, сомкнув золото ресниц, стоял Лаврин Гримич.

Но почему он такой хмурый, такой неприступный, чужой?

— Лаврин, ты что, рыбу ловишь?

— Нет, браконьеров, — хрипло ответил Лаврин, а его ресницы затрепетали.

— Каких браконьеров?

Лаврин полным ненависти взглядом смерил Магазанника:

— Тех браконьеров, которые подняли руку на людскую жизнь.

— Что-то ты очень умно начал говорить, — встретился Магазанник и, услышав сзади чьи-то шаги, обернулся. К нему подходил Стах Артеменко с наганом в руке.

— Ты чего, Сташе?! — не вскрикнул, а застонал, догадываясь о чем-то страшном.

— Ничего, — и Стах тут же намертво обхватил старосту могучими руками.

— Ты что делаешь?! — изо всех сил рванулся Магазанник.

— Ничего, это не работа, — и Стах выхватил у него «вальтер». — А теперь, пан староста, стань прямо перед людьми и послушай последнее слово.

Две стены страха стиснули, сжали, прошли сквозь Магазанника и сразу обескровили его лицо и, верно, вынули кости, так как тело начало оседать.

— Почему же последнее?! — с трудом выдавил, не в силах совладать со своими губами — они дергались и каменели одновременно.

— А что же ты думаешь, помилюем тебя? — спросил Лаврин, тот медлительный, добродушный Лаврин, который в своей жизни никого и пальцем не тронул. — Стой, если можешь, прямо.

И Магазанник, уже раздавленный страхом, стал прямо, только что-то внутри билось в нем и лихорадило его, а веки начал жечь невидимый огонь или слезы. Неужели пришел тот час расплаты, о котором ему лет двадцать тому назад говорил отец? Магазанник глянул в свое далекое прошлое и затрясся мелкой дрожью.

Это, верно, разжалобило Лаврина, он опустил голову, а Стах стал перед старостой и словно по писаному огласил приговор:

— За измену Родине, за прислужничество фашистам, за выдачу полиции и гестапо командира Ивана Човняра партизанский отряд имени Котовского приговорил старосту Семена Магазанника к высшей мере наказания — расстрелу.

Магазанник непослушной рукой потянулся к глазам, которые жег невидимый огонь. Зная уже, что его расстреляют, он еще не мог понять, как упадет на эту осеннюю, с «бабьим летом», землю, как для него навсегда померкнет свет и не станет ни этого хутора, ни этого ставка, где и сейчас подает голос ручей, и полнятся берега, и перечищаются воды в берегах. Вот из камыша выплыла та самая уточка, которую он видел раньше. Неужели и ее никогда не увидит он? Что ж это делается на свете?

— Люди добрые, неужели вы отнимете у меня жизнь? — Семен вскинул побелевшие глаза на пар-

тизан. — Я еще, бросив все, могу вам послужить, ей-богу, могу...

— Поздно, — не глядя на него, сказал Лаврин. — Ты сам подменил свою судьбу. Может, что-то хочешь передать сыну или родне? Так мы передадим.

— Передать? — переспросил Магазанник, так как все медленно доходило до него. Он вынул из кармана печать, бросил ее на землю, потом достал кошелек, зачем-то взвесил его на помертвелой руке. — Если сможешь, Лаврин, передай Степочке. И скажи ему мое последнее слово: пусть выпишется из полиции. И скажи, чтоб он не забыл старое барсучье место.

— Это ж какое?

— Он знает. — Хотел еще напомнить о месте, где стоял угловой улей, но тогда бы все стало понятным. В мирное время Лаврин видел этот старый улей, что перешел к Магазаннику еще от его отца; когда-то ведь и он был ребенком. Господи, неужели он в самом деле был ребенком? Его что-то начало душить; расстегнув воротник, он ощутил на груди тельце золотого крестика и с силой, до боли в руке, ухватился за свое последнее золото, словно оно могло спасти его.

Лаврин поднял голову и глухо спросил:

— Может, имеешь последнее желание?

— Жить хочу, жить, — сказал безнадежно.

— Верю, Семен. Да об этом надо было раньше думать, — сурово ответил Лаврин. — Поднимайся на свой хутор.

И вот он, обессиленный, измученный страхом и болью, стал посреди той земли, которую ему нарезали за черную измену. Не зная, куда деть руки, сунул их в карманы и нащупал огарок самодельной восковой свечечки.

— Есть у меня, Лаврин, последнее...

— Что?

Магазанник вынул огарок.

— Пусть погорит святой воск за упокой души.

— Что ж, зажигай.

Магазанник зажег свою свечечку, но она выпала из непослушных рук раз и второй, тогда он воткнул ее в землю, и взгляды трех пар скрестились на кротком огоньке, что и теперь пахнул медом и летом. Почему же судьба не сделала его пасечником хотя бы на это беспокойное время?.. И в последнюю свою минуту он винил не столько себя, сколько свою форту, хотя понимал, что не она виновата...

Когда свечечка догорела до половины, Магазанник снова взглянул на ставок, услышал, как на берегу вдруг по-осеннему зашумел камыш, услышал говор воды, услышал хлопанье птичьих крыльев. А далеко-далеко за ставком, где глубоко вдавилась в мягкую землю дорога, замаячила одинокая фигурка девочки. Она шла к ставочку и что-то раскачивала в белом платке. Вдруг он содрогнулся. Неужели это Оленка? Неужели это его Оленка?!

Он протянул руки к девочке, вскрикнул... И это был его последний крик.

XXVIII

В декабре ударили такие морозы, что трескались деревья, трескалась земля и лед на реках и ставках и замерзала вода в криницах. Даже у терпеливых, изморозью обвешенных верб обламывались руки, и тогда на старых ноздреватых стволах краснели промерзшие раны.

Из-за холодов прибавилось разного люда в пристанционной корчемке «фрейлейн» Ярины. Тут всегда можно было усладить душу ароматной сливянкой, бешеной горилкой, а закусить холодцом с хреном, кручениками, домашним рубцом, кровяной колбасой, солониной и теми, с нежной корочкой, пампушками, что сами в рот просятся. Даже обычные, квашенные в рассоле листья капусты с подсолнечным маслом и тмином приносили похвалу приветливой хозяйке, на которую больше чем надо глазели разные проходимцы.

Но нынче ни один немец — ни «оседлый», ни «транзитный» — не заглянул в корчемку, что в патенте на торговлю, выданном городской управой, пышно имевалась «таверна». Да и на перроне сегодня фашисты растеряли чванливость и смех. То ли от холода, то ли по какой-то другой причине?

Охваченная неясными предчувствиями, Ярина проводила из кафе двух балагуров, которые не столько заглядывали в чарку, сколько ели глазами «фрейлейн», оставила сторожить по другую сторону дверей миловидную булочницу Зося, а сама бросилась в чуланчик, где в квашне спрятан плохонький приемник и наушники. Но как раз в это время тетка Зося открыла дверь и кашлянула. Яринка выскочила из своего закутка, начала возиться возле осточертевшей стойки, что насквозь пропиталась водкой. Да тетка Зося уже через какую-то минутку успокаивающе посмотрела на нее, улыбнулась теми беспокойными губами, в уголках которых года обозначили гнездышки, покачала головой. Жаль этой Яринки, как своего дитяти. Разве ж девушка, когда пришла ее пора, должна угождать разным развращенным пьянчужкам, что только и видят в женщине вертихвостку? Яринке бы как раз слушать самые красивые слова о любви и на всю жизнь осчастливить суженого, что не сводил бы глаз ни с ее личика, ни с ее ножек. А как это бывает, тетка Зося хорошо знала. Да война не пощадила и ее семьи...

А как красиво на девушке расцветает черный, в ярких красках платок и красный козушок! Его недавно принес из-за татарского брода дед Ярослав. Ярина долго хвалила работу старика, еще дольше о чем-то шепталась с ним, а он, зайдя за стойку, что-то осторожно высыпал из своей кобзы в торбу. Подумав только — из кобзы.

В корчемку стремительно входит раскрасневшийся, улыбающийся Иваш Лимаренко, у которого на голове не чуприна, а крылья.

«К кому они только прилетят?» — покачивает го-

ловой тетка Зося, переводит взгляд на Яринку и вздыхает.

Ивась молодцевато срывает с головы шапку, встряхивает чубом, кланяется хозяйкам:

— Добрый вечер, пани Закревская, добрый вечер, Яринка!

— Если я для тебя пани, то и Яринку называй панночкой,— с вызовом говорит тетка Зося и забивается в угол, чтобы молодята перебросились несколькими словами.

— Яринка! — сияя, подходит к девушке хлопец. — Яринка, милая! Любимая!

— Что у тебя? — замерла она, так как еще не видела Ивася таким. — Что?

Он наклоняет к ней голову и шепчет:

— Наши разбили фашистов под Москвой. Слышишь?

— Правда! — восторгалась девушка, а глаза вспыхнули, как зарницы. Неужели пришло то, чего так долго ждали, на что так долго надеялись?

— Истинная правда! Сам слышал, Яринка! Разбили и гонят на запад! Ты понимаешь, что это такое? — Он берет девушку за руки и прижимается к ней.

— Спасибо, Ивасы! — и Ярина тоже прильнула к нему, целует в щеку.

— Теперь я не буду семь дней умываться.

— Наконец-то... — вздыхает в углу тетка Зося, думая о своем.

— Тетушка Зося, просим к нам! По рюмочке поднимем! — радостно восклицает Яринка и рукой вытирает ресницы.

«Вот и дождалась девушка своего красавца!» — думает о том же тетка Зося и подходит к молодым.

— Как я рада за вас.

Яринка наклоняется к ней:

— Тетушка, это радость для всех — наши под Москвой разгромили фашистов.

— Ой! — из натруженной руки женщины падает и разбивается рюмка. — Это на счастье, это на счастье! Святая дева Мария, так, может, и мой Станислав там бьет минами фашистов! Он же минометчик у меня, — в который раз рассказывает об этом и Яринке, и Ивасю. — Налей, дочка, в другую чарку самого крепкого спотыкача. Святая дева, есть-таки правда на свете.

А в это время за дверями бухают чьи-то сапоги и в корчемку сначала вваливаются полотняные торбы, потом голова нищего, а затем и он сам. В своих одеждах он похож на чучело с бахчи, однако глаза и язык у него далеко не дедовские. Тетка Зося сразу отворачивается от нищего: она чувствует, что в его слове таятся гадина.

— Здравствуй, красавица, здравствуй, миленькая! — медово-здоровается с Яринкой, а сам вскачь пускает взгляд по всей корчме. Так можно и глаза испортить.

— Здравствуйте, пан нищий, — сдержанно отвечает Ярина, ничем не обнаруживая своей неприязни к пришельцу.

— А я у тебя не первый раз вижу этого парня-гу, — сверлит тот глазами Ивася.

— И он вас не впервые видит у меня. За чаркой разные гости сходятся.

— Эге-ге-ге! — так загоготал нищий, что аж содрогнулся и ходуном заходил у него широкий, жабий подбородок. — Умеешь ты, красавица, и сказать, и за напитки-наедки не заламывать. Тебе бы только в златоглавых да в среброглавых венцах ходить. Может, к этим трем чаркам и четвертую поставишь?

— Эта горилка, пан нищий, вам будет не по вкусу. — Ивась опрокинул чарку и ринулся к дверям.

— А деньги! — кричит Яринка и незаметно перемигивается с теткой Зосей.

— Простите, с холода забыл. — Парень возвращается, вынимает кошелек, вытягивает оккупационные марки, а Ярина вполглаза поглядывает на нищего.

Когда за Ивасем закрылась дверь, нищий снова рассыпал по корчме свое «ге-ге-ге», оперся локтем о стойку.

— Какая забывчивая молодежь пошла, все на дурняка норовит! — и ласково смотрит на Ярину. — Налей мне, рыбонька, такой, чтобы в животе лягушки заквакали. — Выпил он и доньшко чарки поцеловал. — Где ты ее только берешь? Я лишь один раз у партизан Сагайдака вот такое зелье пробовал.

— Пан нищий, — ужаснулась Яринка, — не говори о партизанах, а то у меня сразу мороз по коже пошел.

Нищий понизил голос:

— Не такие они, голубушка, страшные, как их малюют фашисты.

— Пан нищий, не несите всякого вздора. Если вы еще будете болтать вот такое непотребное, я кликну старшего полиция Степочку, он тут недалеко ходит. И садитесь уже за столик. Что вам подать? Горилки? Солонины?

Старик укоризненно покачал головой:

— Неразумна ты еси. И тебе надо думать о спасении души не только перед богом, но и перед теми, кто придет после гитлеровцев. Постигни это душой.

И впервые у Яринки шевельнулось доверие к нищему. А может, и вправду человек он, хотя у него и язык подозрительный, и сверла вместо глаз?

Тетка Зося поняла состояние Ярины и с гневом набросилась на нищего:

— Чего это кое-кто раззявил рот, как вершу? Чтоб ему язык из пасти выкрутило. Вишь какой праведник нашлся: то он у партизан горилку хлещет, то почему-то из полиции несется.

— Нищему всюду подают, — пронзил тот колючим взглядом свинцовых глаз женщину и так стиснул зубы, что на скулах вспухли желваки. — Чего ты с дурного ума обо всех языком трепешь? Или тебе помела не хватает?

— Того помела, что по спине шута и шептуна походило бы. Если побираешься, так побирайся, а язык держи в кармане, как кошелек. Или ты, изувер, онемечиться захотел? — Тетка Зося, косо поглядывая

на бродягу, надела козушок, повязалась платком, попрощалась с Яринкой и вышла из корчмы.

— Вот так лучше, — буркнул нищий. — Яринка, налей еще одну покрепить душу.

Предостережение тетки Зоси насторожило девушку, и она уже спокойно ответила:

— Пан нищий, ваша душа пьяницей станет.

— Лучше пьяницей, чем изменником, — обиделся нищий и неожиданно спросил: — Ты сколько марок платишь за литр?

— Пан нищий хочет корчмарем стать? — удивляется Ярина, а в душе тревожится: для чего это выпытывание?

— Так сколько платишь за литр? — долбит, как дятел, нищий.

— Теперь пятнадцать марок, а осенью цены были ниже.

— Так-так, — что-то прикидывает на морщинах старикан. — Налей самой лучшей, бешеной, — я сегодня на радостях хочу напиться.

— Какие же у вас радости?

— Большие! — поднял вверх желтый, как свечка, палец. — Разве не знаешь: вчера на рассвете у самого моста слетел эшелон с танками. Это уже седьмой на счету у одного человека. Седьмой!

— Одного? — не поверила Яринка.

Нищий то ли с удивлением, то ли со скрытым подозрением посмотрел на девушку.

— Неужели ты не слыхала о партизане Морозенко?

— Не слыхала ни о морозенках, ни о холоденках, и слышать о таком не хочу.

— Не похвально. Гляди, возвратятся наши, этого не простят кое-кому.

Яринка возмутилась:

— Пан нищий, не пугайте меня сегодня, а то я вас могу напугать завтра, — и взглянула на дверь.

Она тихонько-тихонько раскрылась и закрылась. И на пороге в клубах зимнего тумана вырос Степочка Магазанник; он теперь в форме шуцполиция, только на голове у него не гитлеровка, а баранья шапка размером с квашню — в ней утопиться можно. Степочка молча трет очолевшие руки и прислушивается к разговору нищего и Ярины.

— Я не пугаю тебя, — тянет свою нитку нищий, — а учу, как кое-кому надо жить на свете, кое-кто о великом должен думать.

— Кое-кто доволен и малым: наливать горькую тем, для кого она сладкая. Еще одну?

— Еще одну за победу советских войск.

И тут Степочка рванул с плеча карабин, бросился к нищему.

— Руки вверх, старый дурак! Вишь, ничтожество, как разинуло рот, словно старую халюву! Увидим, как она затрясется в шуцманшафии. — Степочка рванул нищего за бороду, и неожиданно... она осталась в его руке. — Это что за обман и кино?! — оторопел Степочка, вытаращив глаза. — Ваши документы, и вообще...

— Молчать, бревно неотесанное! — Нищий гордо

выпрямился, выхватил из кармана жетон агента тайной полиции, сунул его под нос растерянному Степочке, быстро пошел к дверям.

И только теперь очнулся полицейский, что-то промычал, потянулся к нищему с его бородой в руке.

— Пан Басаврюк! Многоуважаемый пан...

«Пан Басаврюк! Сатана в людском обличе... — содрогаясь, Ярина вспомнила страшный го-голевский образ. — Был ты в черные дни прошлого, не сдох и до настоящего времени — фашистам пригодился».

— Возьмите, пан, свои вещественные доказательства...

Но разъяренный Басаврюк даже не оглянулся, сапогом открыл двери, а потом так хлопнул ими, что в корчемке задребезжали стекла. Степочка очумело посмотрел вслед нищему, затем безнадежно махнул рукой, понюхал бороду, поморщился:

— Эрзац...

— Степочка, кто же это? — удивляется и зябко пожимает плечами Ярина.

Полицейский вытянул шею, которую подпирал высокий серый воротник шинели, оглянулся.

— О, это такой вездесущий губитель, от которого не только у меня становится темно в глазах. Чего он с эрзац-бородой вертелся возле тебя? Что у него на уме?

— Откуда же я знаю?

Степочка, что-то прикидывая, кривится, морщится, лезет рукой к кучерявому затылку, а потом пристально всматривается в дверь и бормочет неизвестно кому — дверям или Яринке:

— Налей мне чего-нибудь такого.

Девушка сердито бросает:

— Воды?

— Я воды не люблю ни в сапогах, ни в животе, — сразу отвечает Степочка. — Горилочки налей, холодца подай, и вообще...

Ярина, покачивая головой, подала ему графинчик с горилкой, чарку, тарелку холодца, хрен и вилку. Степочка со всем этим засеменил к столику, что стоял в самом углу, повернулся спиной к стойке и набросился на дармовщину, все думая об одном: чего тут появился бесов Басаврюк и что он имеет к Яринке? Не запахнет ли в этой корчемке жареным? А?..

А девушку охватила тревога: выходит, неспроста уже который раз к ней навешивается песоголовец в обличье нищего. Где же он, этот леший, служит? И что он пронюхал о Даниле Бондаренко, которого люди прозвали Морозенко? Надо, чтоб он больше не появлялся тут, да и самой пришлось время бросать эту чертову корчму, раз кому-то начала мозолить глаза.

Снова подошел Степочка с пустым графинчиком. Хмель уже выступил румянцем на его лице. Она молча налила ему, а он молча поблагодарил, поднял вверх большой палец, — мол, все у тебя хорошо, — да и, пошатываясь, поплелся к своему стулу. Не горилки, а гноивки бы тебе! И снова мысли закружи-

лись вокруг Данила, Мирославы и всей партизанской родни, по которой так соскучилась она.

За своими мыслями и тревогой она не услышала, как в корчму вошел заснеженный, окоченевший и оборванный человек. А когда он приблизился к стойке, Яринка узнала его — это был Ступач. Но как изменилось, состарилось его вымороженное лицо, как резко обозначились морщины под глазами, из которых исчезла та жестокость, что угнетала когда-то чуть ли не каждого. Видно, суровое время и невзгоды не щадили его. Узнал и Ступач девушку, в изумлении остановился:

— Яринка, это ты?!

— Это я, пан Ступач.

Душевная горечь выразилась на озябшем лице Ступача.

— Какой я тебе, девушка, пан? Не называй меня таким паскудным словом.

— А разве вы не для панства остались тут?

— Злая судьба оставила меня: под Яготинином в окружение попал. Вовек не забуду того яготинского болота и пекла заодно. Вот теперь и качусь, как перекати-поле, по свету. А как же ты очутилась здесь?

— Тоже злая доля заставила.

— А твоя подруга Мирослава жива?

— Жива.

Ступач хотел еще о чем-то спросить, но передумал, вздохнул, а в глазах проклюнулся голод.

— Кусок хлеба найдется у тебя?

— Найдется.

И в это время с пустым графином и тарелкой к ним подошел уже хорошо подвыпивший Степочка.

— С кем ты, Яринка, шепчешься? — И вдруг от удивления у него отвисла челюсть. — О-о-о! Кого я вижу! Пан Ступач! Наше вам, и вообще!

От неожиданности Ступач качнулся к дверям.

— Степочка! Ты — полицейай?

— Пан старший полицейай! — даже каблуками стукнул и тихо засмеялся. — Это вас удивляет?

— Нет... Не удивляет. Я думал, ты выше поднялся, — и горькая морщина легла между бровей Ступача.

Степочка гордо усмехнулся.

— А я медленно, по ступенькам: сначала тут набыю руку — и в гебитскомиссариат, набыю там руку — и выше!

— Так и до виселицы можно подняться.

Чего-чего, а такого удара Степочка не ожидал. Он схватился рукой за карабин, но передумал и начал подбирать слова:

— Выходит, вы и до сих пор из товарища не превратились в пана? Ваши документы!

— Зачем они тебе, Степочка?

И полицейай взорвался злостью:

— Я Степочка для своих любовниц, а для вас я пан старший полицейай! Ауевайс!

— Нет у меня ауевайса.

— Тогда руки вверх! Выше, выше! Я должен

обыскать вас, и вообще, — и начал не ощупывать, а выворачивать карманы Ступача.

Яринка не выдержала, возмущенно бросила:

— Зачем тебе, злоязыкий, обыскивать его?

— Это вопрос несведущей. Откуда я знаю, кто он теперь, товарищ Ступач или партизан Морозенко, который целых семь эшелонов пустил под откос, а полиция успела сфотографировать только его плечи. Повернитесь!

Ступач повернулся. Степочка вынул фото, сличил его с плечами Ступача и остался недоволен.

А тем временем открылись двери и возле них остановился заснеженный Данило Бондаренко. Он тоже был в форме полицейая. Глянула Яринка на Данила, испугалась, сделала какой-то знак рукой, да партизан не понял ее, улыбнулся и начал прислушиваться к словам Степочки.

— А ну, товарищ Ступач, садитесь вот здесь и хорошенько расскажите, как и откуда притопали на территорию рейха?

— Не скажу.

Степочка пренебрежительно оттопырил губы.

— Скажете! Если людскую душу поставить на колени, она все скажет!

Ступач с изумлением воскликнул:

— Мои слова!

— Теперь они мои, вашего ничего нет. — И тут Степочка увидел Данила, вытаращился на него. — А-а-а...

— Бе! — Бондаренко насмешливо взглянул на полицейая. — Здорово, «венец природы». Узнал, может? «Венец природы» скривился.

— Узнать узнал, — Степочка невольно коснулся рукой шеи, — но откуда ты взялся, как очутился в полиции и вообще?.. Говори!

— Это у пана Ступача спроси — он мне помог.

У Степочки глаза полезли на лоб, он с перепугу сразу обмяк.

— Пан Ступач помог?.. Ой, простите, пан Ступач! Я так и догадывался, что вы в тайном начальстве, как пан Басаврюк, и вообще. Но по долгу службы должен был проверить даже вас. Простите, может, чарочку выпьем? Ярина, горилки на две персоны! Как вы гениально сыграли свою роль!

И Ступач не выдержал, с презрением глянул на полицейая.

— Замолчи, шут гороховый, я был и до смерти останусь советским человеком.

Степочка сначала растерялся:

— Советским? Как это понимать?.. А-а-а! А ну, к двери! Увидим, как на допросах заиграет твоя шкура. Мы из тебя быстро сделаем тень! Видишь, немцы везут в Москву мрамор для монумента победителям и навалом везут железные кресты, а тут кто-то о советском думает.

Бондаренко насмешливо перебил Магазанника:

— Подожди о мраморе и крестах. А ты случайно не подумал, что я имею больше прав на Ступача?

— Э, нет, это мой трофей.

— Я тебе, Степочка, за этот трофей дам откупного. По рукам?

Полицай задумался, потом махнул рукой:

— Где уж мое не пропадало, давай тысячу и делай с этим приبلудным что хочешь.

Но теперь завопил Ступач:

— Степочка, не отдавай мою душу ему! Ты знаешь, он без соли съест меня.

— А меня личные счета не интересуют, я человек государственный.

Ступач в отчаянии обхватил руками голову, сел на стул, безысходность сгорбила его, как нищего. Бондаренко же вынул из кармана деньги, отдал их Степочке, и тот спокойно начал их пересчитывать.

— Все верно. И хорошо, что деньги новенькие. Так бывай. Яринка, я позже расплачусь с тобой. — И Степочка бесшумной походкой мелкого хищника вышел из корчмки.

Данило не то с сожалением, не то с насмешкой взглянул на того, кто искалечил его лучшие годы. Научила ли тебя хоть война чему-нибудь? Ступач поднял припухшие веки, под которыми вспыхивала ненависть.

— Теперь твоя взяла. Вот только жаль, что в свое время я не добрался до твоей души.

Данило поморщился, устало посмотрел на Ступача.

— Когда-то самодуром вы были, кем стали сейчас, не знаю. Идите с глаз долой.

— Как это идти?! — остоленел, растерялся Ступач и поднялся со стула. — Куда идти?

— Хоть ко всем чертям, если не хватит ума найти лучшей дороги. Только таким, как Степочка, не попадайтесь. Идите!

Ступач вскрикнул, прикрыл рот рукой и будто сквозь туман посмотрел на Бондаренко:

— Данило Максимыч, так вы?..

— Так я... Идите! Тут небезопасно.

Ступач хотел броситься к Данилу, но засомневался, вздохнул, пошел к дверям и исчез за ними. А к Данилу приникла, уткнулась ему в грудь Яринка.

— Данило Максимович, родной, бегите, а то здесь уже три раза был Басаврюк из тайной полиции.

— Басаврюк? — настороженно взглянул на дверь Данило. — Тогда, Яринка, сразу же уходи отсюда.

— Куда?

— К тетке Зосе и вместе с нею — к партизанам. Что-нибудь для меня есть?

Девушка бросилась в каморку, вынесла оттуда кожаный чемоданчик.

— Вот вам.

— А теперь беги. Я сам запру твою корчму. Ох, и ресницы у тебя, Яринка! От таких ресниц, верно, и векам тяжело.

— Нашли время подсмеиваться, — вздохнула девушка.

Они обнялись. Яринка второпях оделась, выбежала из корчмы и бросилась в пристанционную по-

лутьму. Данило же подошел к дверям, над которыми висел пучок красной калины. Калина и тут напоминала Яринке и добрым людям о бессмертном красном знамени, под которым родилась их доля и доля их земли.

Погасив свет, Данило вышел из корчмки, запер ее и, пригибаясь от ударов ветра, заспешил к привокзальной площади, где стоял его мотоцикл. За станцией Данилу догнала яркая вспышка, а затем и взрыв.

«Восьмой!» — обернувшись, сам себе сказал человек и быстрее пошел к мотоциклу, в коляске которого неподвижно сидел заснеженный Петро Саламаха.

— Слыхали? — повел тот шапкой и снегом в сторону станции и усмехнулся. У этого белявого великана с черными стрехами бровей была по-девичьи трогательная улыбка.

— Слыхал, Петро.

— Значит, не зря гнали ворованного «коня». — Саламаха прищелкнул снег на коляске и начал бережно вынимать из-под колушка автомат.

Когда они, преодолевая черный ветер, выехали с площади, наперерез им бросились несколько железнодорожных жандармов, гестаповцев и полицаяев с собаками, среди них были Степочка и какой-то нищий в лохмотьях.

Саламаха, почти не целясь, прострочил все это отродье очередь из автомата, а Данило выхватил из кармана гранату; как и в первый раз, возле далекой степной станции, зубами сорвал кольцо, и лимонка, разрывая смертоносную цепь, освободила дорогу. За спиной раздавались вопли и визг. На полном ходу они проскочили контрольно-пропускной пункт и, слыша за собой погоню, вырвались в поле, где еще сильнее бушевала непогода. И тут, рассекая черный ветер, их начал догонять колеблющийся, неровный свет. Вот он уже захватил всю дорогу, вот уже засвистел свинец и возле них засновали красные, желтые и нежно-зеленые пунктиры трассирующих пуль.

Данило крикнул Саламахе:

— Наклони, Петро, голову!

Тот прижмурил глаза, усмехнулся:

— Не перед кем склонять голову. Летите!

— Лечу!

Запрыгали, словно хотели выскочить из своих гнезд, придорожные, с белыми рушниками на стволах деревья, из темноты вздыбливались и с шумом отлетали комья заснеженной земли, а дорогу все рассекали и рассекали мечи погони. Навстречу тяжело поднималась грузовая машина. Когда она, ослепляя, поравнялась с ними, Саламаха ударил из автомата: может, развернет ее на дороге. Наверное, развернуло, ибо на какое-то время прекратилось снование трассирующих пуль и мечи погони отстали, но потом снова начали прощупывать дорогу.

Но вот что-то ударило Данилу между плеч, из груди пошла кровь. Он не мог остановить ее: надо

было одолевать черный ветер, и Данило молча, без слов, без стопа, одолевал его, все ниже и ниже склоняя отяжелевшую голову к ручкам мотоцикла. Еще немного, еще немного — и он доберется до журавлиного брода, а потом устремится по льду на татарский. По льду немцы побоятся вести машины. А за татарским бродом уже и до леса рукой подать — до пшеничных волос Мирославы, до Сагайдака, до Чигрина, до близнецов, до всей доброй родни, среди которой прошли его годы. О чем-то заговорил Саламаха. Только о чем? Он хочет пересадить его в коляску? Так это ж займет, может, самую дорогую минуту...

Нельзя показывать, что бессилие уже входит в руки. Вот так и наступает неминуемое. Он почувствовал, как слабеет все его тело, и жаль стало тех дней, что не придут больше к нему, и того дела, что уже не сделает он... и любви жаль... Еще болезненно билась мысль, что кому-то он должен был помочь, но не помог. Но кому? Неожиданно почудился запах землянки, послышался девичий голос, и он вспомнил...

Когда мотоцикл вслепую проскочил через овраг и спустился к речке, Данило почувствовал какое-то облегчение. Он чуть повернул голову к Саламахе:

— Петро, мы должны были привезти в отряд Ганнусю Ворожбу. Теперь привезешь ее сам. Не забудешь?

— Не забуду, — вздохнул Саламаха и потер рукой глаза.

— Кажется, оторвались, — уже не сказал, а прошептал непослушными устами Данило.

Черный ветер сменился калиновым ветром, который, раскачивая, наклонял созревшие гроздья. А от туда, где начинался или заканчивался калиновый ветер, вышла Мирослава с ребенком на руках. А они же и свадьбы своей не играли... И вот к нему начали приближаться, оживать свадебные рушники, что были развешаны на стволах деревьев, а из брода слышались песни подружек невесты:

Ой думай, думай,
Чи перепливеши Дунай...

У Данила еще хватило силы свернуть на журавлиный брод, хватило силы улыбнуться всему миру, ибо не зря жил в нем и, как мог, очень нелегко, но честно переплывал свой Дунай...

— Вот уже и татарский брод! — воскликнул Саламаха, чтобы как-то поддержать Данила.

Да, татарский. Тут осенью и зимой никогда не дышат ни продольные, ни поперечные ветры, тут весна бьет в бубны челнов, тут чистыми лилиями и девичьей красой расцветает лето. А за татарским бродом кони топчут ярую мяту и туман. За татарским бродом из сивого жита, из алого мака рождается месяц, а на казачьем кургане, словно из поверья, как изваянный, встает старый ветряк, что весь век работал ради хлеба и добрых людей.

А возле брода на ладонях бережков подснежниками взойшли хаты-белянки и ждут, и ждут, и ждут

своих детей с войны и слезами матерей, и слезами поникших верб допытываются: когда же вернутся сыновья, ибо жизнь держится на сыновьях...

Ой, броне татарский, два берега, два солнца тут, а жизнь одна — да и та неполная. Почему же?

Почему?!

XXIX

«Разве это жизнь? Со страхом и болью лежишь, со страхом и болью встаешь, и даже во сне нет от них спасения».

Изменился мир, изменились и люди. Одних так прибило горе, что они стали словно тени в облике людском: мы никому ничего... А другие, гляди, будто из-под грома да грозы вышли. Вот такими стали и ее дети, и ее спокойный Лаврин. Да что Лаврин? Он еще в германскую возле пулемета возился, привез ей с войны вместо подарка длинные пулеметные ленты. От этого подарка у нее закипели слезы, а он вытирал их и ворковал, что она горlinka, лебедушка и голубка вместе. От «голубки» и просветлела: знала же свой характер!..

Что уж говорить о муже, если даже у деда Ярослава есть своя тайна. Вот ведь недавно начал собираться вроде куда-то в гости. Олена принесла ему противень коржиков из пшеничной муки да кусок сала, завязала их в узелок, а старик взял кобзу, чтобы уложить ее в большую заплечную торбу. Олена заметила, что кобза стала тяжелее. А когда он поставил ее стоймя, из кобзы выскочило медное тельце патрона.

Старик нагнулся за ним и так, словно бы ничего и не случилось, снова бросил его в кобзу, а потом пристально посмотрел на Олену, да еще и усом повел.

— Видела?

— Видела, — покачала головой она. — И зачем это вам?

— Выходит, надо.

— Это и понесете в гости?

— Подарок неплохой.

— А почему вы его в кобзе прячете? — не нашла ничего лучшего спросить.

— Потому что полиция еще не додумалась обыскивать кобзы, а людей обыскивают, — добродушно улыбнулся и доконал ее ученым словом: — Конспирация!

— Ой, тато, тато, — опечалилась она, — весь наш род уже перешел на конспирацию, кроме меня. И все вы, даже Яринка, обманываете меня, будто маленькую.

— А ты для меня, доченька, и до сих пор маленькая, — неожиданно растрогался старик и прикрылил ее руками точнехонько так, как Лаврин в ту давнюю ночь вишневой метелицы. Не из поколения ли в поколение это у них передается? Да и была ли на самом деле та тревожная метелица вишневого цвета? Наверное, была. Потому что и свадьба, и

крестины прошли после нее, потому что на чердаке и до сих пор лежат колыбели Ярины и близнецов. Только ни Ярины, ни близнецов нет возле нее. И будут ли? Какая теперь жизнь? И расплакалась она из жалости к ним, из жалости к себе.

— Вот чего не надо, того не надо,— начал ее успокаивать старик, затем подошел к сундуку, поднял крышку, и из-под рушников, сорочек, скатертей неожиданно вынул черный шерстяной платок в красных, с росой, розах, развернул его на узловатых руках. — Это ж я тебе, доченька, перед самой войной купил. Очень понравилась тут роса, хотел подарить в твой полные сорок пять лет. — Он платком вытер ее глаза. — Возьми и считай, что я первым тебя поздравил с днем рождения...

— Спасибо вам, тато, за платок... за росы. Только ж берегите свои лета. Пусть молодые ходят с патронами. Закопайте их в огороде.

— Придет, доченька, время — и саму смерть закопаем, но сначала ее надо сломать. Посидим перед дорогой, — сказал, да и сел под богами, седой, красивый в своей мудрой старости.

Потом поднялся, коснулся ее плеч высохшими руками и прямо и решительно пошел к кому-то в гости. Или туда, что называл непонятным словом «конспирация»? А ей теперь придется ждать не только Лаврина, Яринку, Романа и Василя, но и старика. Не такой и малый у них род, а хата опустелой стоит; вот и говори теперь не с родом, а с немymi стенами и с припрятанным зерном, с подмороженными гроздьями калины под окнами, с голубыми в соломённых голубятнях и думай о всех и вся...

С улицы послышался натужный скрип груженых саней. Олена встрепенулась, подбежала к окну, полураздетая бросилась во двор и там облегченно вздохнула. По-над плетнем, держась за выбеленную инеем лошадь, медленно шел ее Лаврин, с его золотых усов свисали ледяные сосульки. Вот он остановился возле ворот, широко раскрыл их, и утомленная кляча втянула на подворье сани с голубым, как небо, срубленным грабом.

— Лаврин! — крикнула и бросилась к нему.

— И чего бы это раздетой выбегать на мороз? — усмехнулся тот, пошевелив клешнями льда, нарощенными на усах. — Беги в хату.

— А детей ты видел? — понизила голос и замерла.

— Видел.

— Ой!

— Не ойкай, а беги в хату.

И она побежала, прикрывая рукой грудь.

Как же долго Лаврин распрягает да заводит в конюшню покалеченного войной коня, как медленно задает ему корм! Наконец с былинками сена на кирее муж идет в хату, а она открывает ему двери.

— Говори же, Лаврин, говори.

— Повремени минутку. — Он снимает шапку, рукавицы, кирею, ломает на усах льдинки и начинает мыть руки. И хотя бы в одном движении поторо-

пился. Потом он вытирается красными петухами на рушнике и поеживается от холода. — Замерз. В лесу от мороза деревья так стреляют, будто тоже воюют с кем-то. Никак мороз не сдает.

— Говори же, Лаврин, — уже простонала она.

— Вот сейчас и начну, — становится напротив нее. — До леса доехал спокойно — ни полицаев, ни другой погани не встретил. А уже в лесу остановили партизаны и отправили к командиру. Поговорили с ним, затем сам Сагайдак повел меня к той землянке, где наши дети живут. Спустился я туда, а там железная, из бочки, печка топится, старый партизан дровишки в нее подбрасывает и что-то мурлычет под нос. Осматриваюсь, а на деревянном полу, разбросавшись, спят наши дети — ночью они в дозоре были. Сел я возле них на сундучок с патронами, смотрю, а они такие чубатые, такие молоденькие, такие красивые! И такая тоска меня взяла: разве ж мы для войны растили их? А тут шевельнулся Василь, приподнялся на локте и замер, а потом, не веря себе, спрашивает: «Это вы, тато, или сон?» — «Я, сыну. Вот приехал, сижу и насмотреться не могу на вас», — сказал, да и лезу к торбе. Тогда он засмеялся, бросился меня обнимать и тут же о тебе спросил: «Как наша мама?»

— Что значит меньшенький! — вздохнула и потянулась рукой к ресницам Олена.

А Лаврин только хмыкнул: странно делить близнецов на младшего и на старшего, да матери виднее.

— Говори же, Лаврин.

— Потом Василь разбудил Романа, сели они возле моих плеч, да и погломонили немного... Сказал им, что завтра пойдут на них каратели, а сыновья только усмехнулись: «Встретим как надо». И встретят... Очень хвалил их Сагайдак, подарил и меня, и тебя... — и надолго задумался, не замечая, что с усов уже начала скапывать вода.

— О чем ты, Лаврин?

— Думаю себе.

— О них?

— О них и о нас. Что завтра будет?.. — Человек смежил потемневшие от влаги ресницы, склонил голову к жене и сказал одно слово: — Жизнь...

Еще сизой изморозью лохматились-дымились по-над бродами яворы, вербы и калины, когда к лесу на танкетках, на бронемашинах, на грузовиках, на мотоциклах, на лыжах и даже на велосипедах двинулись каратели. И только одни полицаи с какими попало винтовками пешком догоняли и догнать не могли своих господ и начальников. Они в черных шинелях, словно воронье, неровной волной замыкали колонну гитлеровцев. Но почему они такие беспечные? Даже разведки нет впереди. Наверное, герр полковник и новый комендант города надеются одним ударом уничтожить партизан. Уже ведь пробовали так, правда, меньшими силами. А теперь, не пола-

гаясь на отряды крайса, перебросили из области два армейских батальона.

Гулкое морозное утро еще долго доносило до татарского брода нутужное урчание машин, фыркание коней, голоса карателей и лай собак. А когда ступенное солнце разлило по снегам свою разреженную кровь, из лесов или возле лесов один за другим прогремело несколько взрывов.

«На мины напоролись!» — определил Лаврин, что теперь повис на воротах, прислушиваясь ко всему. Он видел, будто они были перед ним, все три дороги, что вели к лесам, видел на них чужие машины и чужих вояк, видел в густом молодняке, за которым начинался настоящий лес, заставы Сагайдака с пулеметами и автоматами и самого Сагайдака. Тяжело ему теперь орудовать одной рукой, потому и заменил маузер на более легкий пистолет. И детей своих видел Лаврин: притаились где-то на фланге, чтобы в нужный момент ударить в лоб или в спину фашистам. Что ни говори, «максим» да добрые кони зимой великое дело.

А вот после взрывов забухали пушки. Бухайте, бухайте, леса у нас большие.

— Лаврин! — позвала Олена, став возле порога на мельничный круг.

— Чего тебе?

Жена грустно посмотрела на него:

— Боюсь за тебя.

Он неохотно пошел в хату, сел возле окна и погружился в свои мысли и раздумья, а через некоторое время снова надел кирею, надвинул шапку на лоб и вышел на подворье.

Издаലെка, уже от леса, заурчали машины. Вот они, буксуя, подъехали к приселку и начали поворачивать на лед. На них грудой лежали тела убитых фашистов. Затем заскрипели сани, они проехали мимо его хаты, на них корчились от холода и стонали кое-как перебинтованные солдаты. А за немцами, неся головы не на шеях, а на груди и скособоенных плечах, пошатываясь, горбясь, хромя и падая на снег, плелись раненые полицаи. Для них у господ и начальников не хватило ни машин, ни саней. Теперь изуродованные служаки проклинали свою судьбу, и немцев, и их сапоги с низким подъемом, что калечили ноги. В приселке наглухо начали закрывать ворота, калитки и двери. Чтобы не встретиться с песиголовцами, проклятыми недобитками, люди затаились по клуням и амбарам.

Лаврин не стал прятаться, а все слонялся и слонялся по двору, прислушиваясь к отзвукам боя. Хотя бы одним глазом посмотреть, что там делается.

Несколько раз к Лаврину выбегала Олена, присматривалась к лесу и тянула мужа в хату. Он вроде бы и слушался ее, да через какую-то минуту снова оказывался во дворе, где с деревьев нависало голубое убранство инея. И снова в лесах бухали пушки, а на татарском броде трещал и трещал лед. Мороз! Хотя бы в такую стужу не отказало оружие его сыновей, ведь такое случилось у него.

И только подумал об этом, как увидел на без-

дорожье, в полях, поднявшуюся снежную пыль. Облако, разбухая, приближалось к приселку. И защемило сердце у Лаврина. С чего бы это?

Вскоре из снежной пыли показались кони, их огненные гривы взлетали, словно пламя. За лошадами мчатся, раскачиваясь на ходу, легкие санки. Только почему же никого не видно на них? Вот кони исчезли в овраге, затем замелькали между деревьями, выскочили на улицу и, вырастая на глазах, понесли прямо на него взлохмаченные огни грив.

Что же это происходит?.. И Лаврин, ужаснувшись чего-то, отступает от ворот. А кони добегают до них, как вкопанные останавливаются и тревожно смотрят на человека покрасневшими глазами. Им очень хочется что-то сказать, но они не знают людской речи, а человек тоже забыл свою и только хватается рукой за грудь — разглядел уже, что на санях, уткнувшись головами в пулемет, лежат, припорошенные снежной пылью, его сыновья.

— Лаврин! — будто из далекой дали слышит он окрик Олены, но не оборачивается к ней, а, пошатываясь, идет к воротам.

Кони кладут ему головы на плечи, и за ними он уже не видит сыновей. Пригнувшись, руками и грудью он открывает ворота настежь.

— Лаврин!..

Сразу постарев, молчит муж, только рукой тянется к шапке, вытирает ею лицо.

Мимо него с пригасшими огнями грив проходят кони, поскрипывают сани, где голова к голове, чуб к чубу лежат его окровавленные дети. Потемнело у Лаврина в глазах, и теперь он не знает, где лежит Роман, а где Василь.

И вдруг страшный вопль разорвал тишину, приглушил далекий грохот пушек:

— Сыны мои, сыночки... Сыны мои, сыночки... Лебедята мои...

Рыдая, Олена крестом упала на детей, ища их руки, их головы, их чубы.

— Сыночки мои, сыночки...

Лаврин, как потерянный, какое-то время молча смотрел на детей, на жену, потом подошел к саням и начал от них и от детей отрывать Олену.

— Еще наголосишься в хате, — пробормотал он, кусая губы. — А детей надо занести в тепло.

Олена качнулась, головой упала на сани, а он бережно взял на руки Романа или Василя и, пошатываясь от этой самой тяжелой ноши, пошел в хату. Там положил свое дитя на широкий стол, за которым прежде сидело столько людей и все желали ему здоровья. Потом пошел за Василем или Романом — все теперь перепуталось в голове.

Под причитания Олены он снял с детей сапоги, кожушки, шапки, только не решился снять изморозь с их бровей и глаз. И впервые в его хате забились жена, заголосила, все дотрагиваясь и дотрагиваясь до сыновей. А он молча стоял возле них и только изредка проводил рукой по глазам. И неожиданно спросил:

— Олена, где же Роман, а где Василь?

Сначала ужас мелькнул в глазах жены, да, поняв все, она положила полуживую руку на неживую.

— Вот старшенький наш,— и снова заголосила.

А в хату сквозь раскрытые двери прорывались и прорывались отзвуки битвы.

Лаврин слышал их, и душа его была не только возле детей, но и там, в лесах. Он вытер ладонью лицо, наклонился к столу, поцеловал Романа, потом Василя, поклонился им, положил отяжелевшие руки на плечи жены, поднял на нее дрожащие ресницы.

— Олена, родная, прости меня раз, и второй, и третий...

— Куда же ты, Лаврин?! — ужаснулась она.

Лаврин повел глазами на окна:

— Туда, где были наши дети. Еще раз прости. Иначе нельзя, иначе не могу. — Он обнял ее, три раза поцеловал запекшимися губами.

— Лаврин, а как же я? — воскликнула жена. — Ты подумал?..

— Подумал,— твердо сказал он. — Зови отца, аю людей, и ждите меня. Догорит бой — непременно приеду. — И вышел на подворье.

Тут он руками стер изморозь с коней, поправил упряжь, наклонился к пулемету, открыл крышку, проверил, нет ли перекоса, затем заглянул в коробку с патронами и только потом вскочил в сани. Стоя на них, выехал со двора. Еще кивнул головой Олене, что застыла на мельничном жернове, который словно ожил и перемалывал ее. Кони понеслись галопом и потянули за собой не только столб снежной пыли, но весь приселок, все броды, всю ее душу, всю ее жизнь.

Фигура Лаврина все уменьшалась и уменьшалась, пока ее не поглотила снежная пелена и даль.

Она в иступлении оглянулась и увидела возле изгороди старый заснеженный челн. Тот челн, в котором когда-то, не успев дойти с поля до дому, родила Романа и Василя, и ужаснулась: что их ждет сегодня?.. Неужели кладбищенская земля?.. И челн, и кладбищенские кресты, и вздыбленные броды — все пошло кругом...

Не ногами — одной болью, что терзала, разрывала, разламывала ее всю, она вошла в хату, в безысходности хотела опуститься перед детьми и вдруг

увидела, что с ресниц Романа скатывается на висок слеза. Снег ли растаял или это вправду живая слеза?

— Дитя мое! — вскрикнула она, тряся его плечо.

Слеза с виска Романа скатилась вниз, а на ресницах появилась вторая.

— Роман, Романочку мой...

И у старшенького едва-едва шевельнулись обмерзшие губы.

— Мама,— не сказал, а вздохнул.

И мать, припадая к сыну, так обхватила его, как обхватывала в грозу, когда он был еще маленький. А затем прикоснулась к Василю, вслепую ища его сердце. Отзовись же, сыну, говори... И тебя, и долю твою умоляю — отзовись...

И она уже не слышала, как шло, останавливалось, каменело и снова просыпалось время; и не заметила, как стал оживать приселок, не видела, как его начали заполнять партизаны, как всюду металась люди, открывая двери, ворота, как женщины, прикикая к стремянам, плакали и зазывали в жилища почерневших от боя и мороза бойцов.

Вот и на ее подворье влетели кони с развевающимися огненными гривами. Позади Лаврина на легкокрылых сайках сидела незнакомая девушка или молодница. Она первой соскочила на землю, придерживая рукой сумку с красным крестом, кинулась к жилищу, вдруг оступилась, поскользнувшись на мельничном жернове, и чайкой влетела в хату. То, что увидела она с порога, на какой-то миг остановило ее. Но вот она овладела собой, бросилась к близнецам, склонившись над Романом, пальцами сжала его запястье, стала прислушиваться к жизни или небытию. И вдруг ожили, от удивления поднялись брови партизана:

— Ольга... Оля... Это ты или сои?..

— Я, Романочку. Только молчи.

И тогда чуть-чуть улыбнулись его уста, прошептали:

— А кто же тогда скажет за меня, что мы тебя любим?

— Молчи, Роман.

— Уже молчу. Василя спасай, а я, наверное, сам оживу...

— Сыны мои... Сыночки...

РОМАН-ПЕСНЯ

Существуют смешанные в какой-то степени, в той или иной пропорции — жанры литературного творчества. Произведение, которое вы только что прочитали, хочется назвать романом-песней.

В творчестве его автора оно представляет собою естественно возникшее звено, закономерный этап.

Новый роман Михаила Стельмаха «Четыре брода», с которым вы познакомились сейчас, также займет, как вы могли убедиться, достойное место среди того, что создано и создается советской литературой. Значительно в нем многое. Сюжет охватил жизнь украинского села в давние и недавние годы. Художник развернул широкую панораму, картину эпического наполнения. Ему кровно близки, его глубоко волнуют судьбы изображаемых им людей. Его герои — труженики, созидатели.

Немалое достоинство книги состоит в том, что писатель не обошел сложных тем, а раскрыл их с гражданской мудростью и художественным тактом.

Те, кто читал другие произведения Стельмаха, хорошо знают, что народность — определяющая черта в его творчестве. И здесь, в новой книге, главное — раздумье о судьбах народных, о путях истории, о характерах, которые сама история, народ выковывали на этих путях. Как и в других — во всех! — книгах Стельмаха непримиримо противостоят правда и кривда, а романтический взлет столь же полярно противопоставлен бескрылости.

Надеюсь, что вы ощутили, как уже запевка произведения, первые его вступительные аккорды погрузили вас в поэтический мир эпических былинных сказаний, простых и возвышенных дум кобзарей и бандуристов:

«О память и грусть Украины! Дано ли вам быть забытыми? Еще доньше седеет от печали жито над Ханским и Черным шляхами, еще доньше живы и татарский брод, и казачьи курганы. Это — прошлое, наше горькое, как полынь, прошлое, затерянное в старых книгах и все реже звучащее в думах слепых кобзарей. Но и по сей день в хатах-белянках, что, будто подснежники, взошли на опушках лесов и степей, печалются матери котовцев и червонных казаков, и по сей день в купанных солнцем и грозами полях глазами, полными слез, нет-нет да и поглядывают матери из-под серпа на мглистые пути-дороги, по которым пролетали и взлетали в жаркий вихрь истории кони, кони вороные...»

Выддки здесь слова и мысли о романтике подвига, романтике битвы за народную долю, за счастье трудиться на родной земле, добывать людям хлеб — насущный и духовный.

И сразу проводит автор резкое размежевание. Если то были мысли, верования автора и его героя Данилы Бондаренко, то такой их антипод, как Семен Магазанник, клеймит подобные суждения, усматривая в них нечто вредное, некий «чад» романтики. И видны здесь не только противоположные взгляды на романтику... Над Магазанником тяготеет его злое, грязное прошлое — служба под началом Безбородько у гетмана Скоропадского: служба в палачах. Борьба правды против кривды — постоянная тема Михаила Стельмаха. Писатель показывает, какие тяжелые удары способна наносить кривда. Но неизменно свидетельствует он и о торжестве правды.

В романе силы правды — это и Данило, и агроном Ярослав Хоролец, и добрый богатырь Стах Артеменко, и секретарь райкома Виктор Мусульбас, и военный комиссар Зиновий Сагайдак, и директор школы Диденко, и Терентий Шульга, и лейтенант Василий Гарматюк, и Микола Константинович, старый мельник... А с каким чувством уважения и любви выписан портрет славного семейства Гримичей: степенного мастера-хлебороба Лаврина, пасечника деда Ярослава, счастливой матери Олены, «той непоседы, той метелицы, того щебета, той усмешки», что зовется Яринкою, ее братьев-близнецов Романа и Василя.

Им враждебны силы, которые получили воплощение в образах обоих Магазанников, отца и сына, давнего матерого мерзавца — Оникия Безбородько, лавочника Власа Кундрика, страдавшего в прошлом своими левацкими заскоками прокурора Прокопа Ступача, сверхбдительного, бездушного, полагающего, что лишь в гражданскую войну было время романтики, а теперь настало «время реализма, которое за фантазии обламывает крылья»...

Совсем по-иному чувствует самый вкус жизни, смотрит на мир Данило. Он твердо, радостно убежден, что это сам народ, мечтая о будущем, сказал: и хлеба надо, и неба надо! Данило, делясь с любимой мыслями, которые исповедует, говорит ей, что, какую бы работу ни исполнял человек, он должен думать о крыльях: иначе серенько, осенним туманцем, пройдет его жизнь.

Когда на Данилу обрушилось несправедливое обвинение, когда над его головой нависли тучи, он в своей горькой беде познал множество друзей. Не верили они в его вину перед честными людьми, поддерживали его, помогали укрепить духовные силы, выдержать жестокое испытание. Волнуют сцены, в которых Данило на путях своей селянской одиссеи встречается с Василем Гарматюком, с председателем колхоза Михайлом Чигириным, с Шульгой и Диденко, с верной своей Пенелопой — Мирославой.

Ярко и убедительно показывает писатель, что Великая Отечественная война стала бескомпромиссной проверкой истинной ценности каждого. Закономерны пути любого из персонажей книги.

Иной раз выявлялось подспудное, обнажалась изнанка души. Черные души пришли к прямой измене, к предательству. Безбородько стал у гитлеровцев председателем «украинской районной управы», Степочка Магазанник — старшим полицаем, на службе в полиции оказался

и подонок Терешко. Открылось, что Кундрик — агент гестапо. На людском горе пытался нажиться староста Семен Магазанник, выдавший палачам советского командира. Бесславен конец предателя — гибель от руки партизан.

Данило Бондаренко не корил судьбу за то, что пришлось ему хлебнуть горькой несправедливости, он чужд был дурным помыслам, никогда не забредали они в его голову, он «до последней капли крови будет биться с недолей», ибо он «сын своей земли». Доблестен его путь партизанского воина-подрывника, велик его «личный счет» уничтоженных врагов. Партизанским командиром стал Зиновий Сагайдак, надежным помощником партизан — Стах Артеменко, подпольной группой руководил добрый парубок, жених Ярины, Ивась Лимаренко, у партизан увидели мы и Махайлу Чигирину, и Мирославу, эту «хрупкую вербочку с карабином на плече». Не один и не одна из них отдали свою жизнь за Родину. Высок подвиг Оксаны, которая завела полицаяв-карателей в трясину. Как верная подруга мужа, надежный его соратник, приняла смерть Марина Чигирина.

Беет былинно-песенной романтикой от описания лихих подвигов разудалых Романа и Василя Гримичей, этих неустрашимых народных мстителей.

Порою автор ищет словесные краски, призванные выразить мудрость векового народного опыта. Тогда слог повествования естественно стремится к емкости афоризма. Так, к примеру, сказано о том, как страшно человеку, когда некому отворить ему дверь; о том, что красивым судьба не спешит отпустить счастье; о том, что годы никогда не возвращаются к человеку, но человек всегда возвращается к прожитым годам; о том, что судьба не говорит человеку о своих путях...

Образность, задумчивая живопись и тонкая поэзия окрашивают многие главы романа.

Хотелось бы, чтобы читатель вернулся хотя бы к некоторым страницам. Уходящий день в этой книге складывает свои белые крылья, а ночь поднимает черные и посылает на землю сон. В глазах Оксаны слезы — синие, как росы в расцветшем льне. О нарядных сапожках сказано, что в них можно и горе топтать и на людях щеголять. О глазах людей, видящих красавицу: словно удивленные звезды. Шесть лет любви Ярослава и Оксаны прошли как один нескончаемый блаженный день. Есть тут прудик, в котором вечером купаются девочки и звезды, а ночью — одни русалки. Мирослава — златокосый комочек крестьянской судьбы. Это о Мирославе, чьим лейтмотивом служит недоумевающая радость Данилы: с какого ты поля? Из какой мечты?

Если читать эту книгу медленно, рассматривать ее как вышивку народных искусниц, — тогда образы, рожденные народной песней и сказкой, обступают вас, ласково прикасаются к вашей душе.

Как поэт, воспел автор любовь. Светлой лирикой проникнуто в книге все, что посвящено этому чувству. Разве не прекрасен символ, возникающий в завершении романа-сказания о людской доле? Юная медицинская сестра Оля Ткачук возвращает к жизни тяжелораненого Романа Гримича. Разве не трогает своей поэзией то, как открываются друг другу их горячие, любящие сердца?

Написан роман. Сложена песня. Словно бы самим народом пропетая — о победе над недолей, о красоте добытого счастья.

В одной из телевизионных передач о творчестве Стельмаха, в которой мне довелось участвовать, Михаил Афанасьевич, отвечая на вопрос, чьи произведения имели наибольшее влияние на его индивидуальность как художника слова, назвал имя Максима Рыльского. И добавил, что мечтает написать такую книгу, которую смог бы посвятить его памяти.

И вот вы видели, что прочитанная вами книга открывается посвящением: «Максиму Фадеевичу Рыльскому — моему доброму учителю и старшему другу».

Думаю, что объективная ценность романа вполне отвечает такому ответственному посвящению.

Юрий Лукин

Михаил Афанасьевич Стельмах

ЧЕТЫРЕ БРОДА

Роман

(Окончание)

Редактор Л. ХАНДРУЕВА

Художественный редактор С. Гераскевич

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Л. Овчинникова и Т. Филиппова

© Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 07.01.82. Подписано в печать 02.03.82. А04054. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 10,92. Уч.-изд. л. 13,8. Тираж 2 340 000 экз. (2-й завод 500 001—2 340 000 экз.). Заказ 253. Цена 1 р. 21 к.

Адрес редакции: 107892, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов Московской области. Зак. 748

Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

**В девятом номере
«Роман-газеты»
читайте
повести
ВЛАДИМИРА ЛИЧУТИНА
«ВДОВА НЮРА»
и
«КРЫЛАТАЯ СЕРАФИМА»**

Суровая северная земля поморов — место действия повестей Личутина. Здесь живут его герои, здесь жили их деды и прадеды. Автор щедр на живые подробности деревенского быта, но все-таки не внешняя, видимая сторона жизни интересует писателя, а прежде всего — жизнь внутренняя, тайна человеческой души.

Лучшие качества самобытного поморского характера, нравственные и духовные, наследуют Серафима и Нюра Питерка — героини повестей Личутина.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ (заместитель главного редактора), Олесь ГОНЧАР, Даниил ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ

115-15

Читатели, покупающие «Роман-газету» в розничной торговле, обращаются в редакцию с просьбой публиковать по возможности произведения в одном выпуске. С учетом читательских пожеланий, а также технических условий и объема произведений, редакция предполагает издать в этом году несколько сдвоенных номеров. При этом годовой объем журнала останется неизменным.

В одном из таких выпусков, объединившем два номера, будет опубликован роман Михаила Алексеева «Драчуны».